НИКОЛАЙ
УШАКОВ

БИБЛИОТЕКА
ПОЭТА

НИКОЛАЙ УШАКОВ



БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия

Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

НИКОЛАЙ УШАКОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

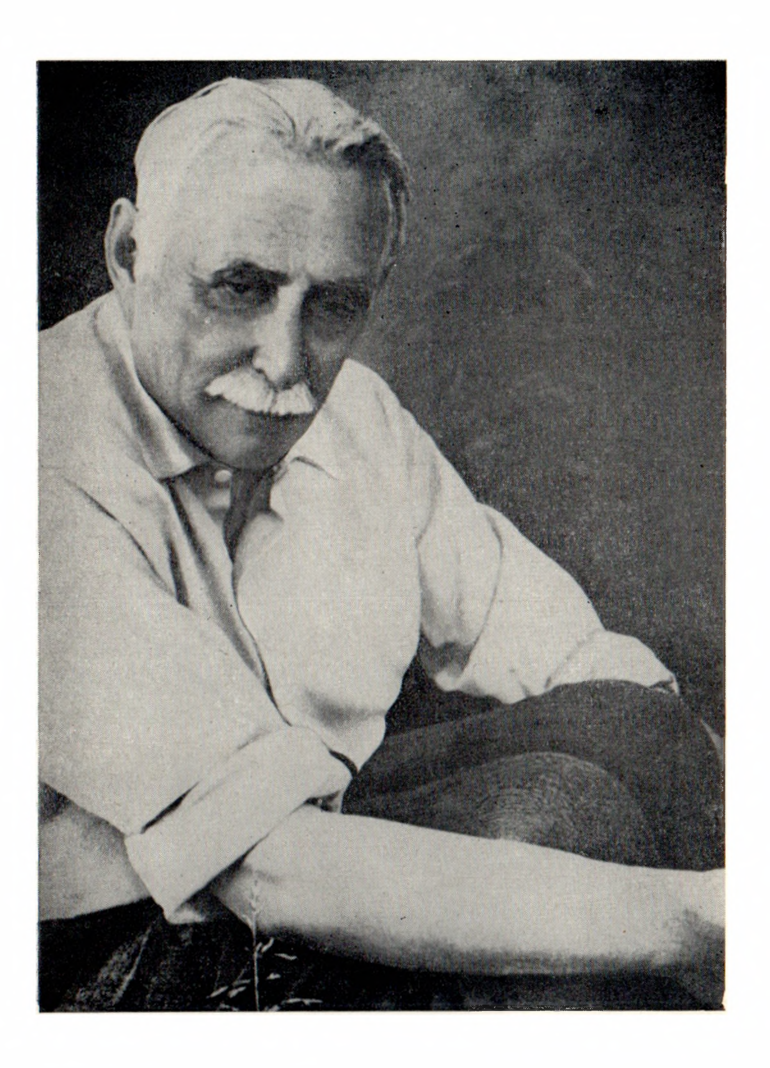
Вступительная статья
Е. Г. Адельгейма
Составление, подготовка текста
и примечания
Е. Г. Адельгейма, И. Е. Гитович,
Т. Н. Ушаковой-Белогорской

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1980

Замечательный мастер стиха и художественного перевода, Н. Н. Ушаков (1899—1973) принадлежит к числу тех советских поэтов, чей творческий почерк отличает неповторимо индивидуальное своеобразие. Вместе с тем стихи Ушакова являют собой поэтическую летопись полувековой истории Советской страны, посвященную мирным и ратным подвигам народа, хозяина социалистического отечества.

Настоящий сборник — наиболее полное издание стихотворного наследия Ушакова, в которое вошли многие забытые и вовсе не публиковавшиеся стихи поэта, а также избранные переводы.

У $\frac{70401-071}{083(02)-80}$ 442—80 4702010200



НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ УШАКОВ

Ушаков склонен был причислять себя к поколению поэтов, вошедших в литературу в начале 20-х годов. Вспоминая комнату литературного отдела «Комсомольской правды», он не без гордости за это, как он считал, *свое* поколение пишет:

И реплики,
　　　　и шутки,
и спор,
　　　как пир горой...
Меж нами юный Уткин,
Багрицкий молодой —
романтики сторонник,
седая голова...
Обсела подоконник
безусая братва.

Внизу Черкасский Малый,
Никольская у ног.
Мы все провинциалы,
но дайте песням срок.

И эти песни надо
недолго ожидать, —
светловская «Гренада»,
дементьевская «Мать»!

(«В газетном комбинате»)

Вместе с тем принадлежность Ушакова к определенному поколению — второму после революции, как мы привыкли обозначать, — значительно условнее, чем ему самому представлялось: слишком

различен был социальный и эстетический опыт тех, кого поэт считал своими литературными сверстниками, не говоря уже о том, что само понятие поколения, в котором оказывались Багрицкий и Николай Дементьев (возрастная разница между ними — двенадцать лет), весьма относительно.

Значительно ближе стоял Ушаков к предшествовавшему поколению поэтов — Маяковскому, Асееву, Пастернаку, Есенину. Хотя сам он и отрицал свои непосредственные связи с двумя последними, но зато подчеркивал и даже преувеличивал свое поэтическое родство с Велимиром Хлебниковым.

Несмотря на то что поэт любил вспоминать о своей «лефовской молодости» и зачастую самой интонацией фразы или графикой стиха как бы напоминал о том, что он многому учился у Маяковского, разрушительные тенденции ЛЕФ'а были ему органически чужды. В рецензии на третий сборник поэта «Тридцать стихотворений» (1931) Давид Бурлюк, изнутри знавший историю русского футуризма, очень верно сказал, что Ушаков перебрасывает мост между ЛЕФ'ом и классическими традициями, против которых ЛЕФ восставал.[1]

Но был ли это мост *от* ЛЕФ'а к классическим традициям, как бы возвращение к ним, или мост *от* классических традиций к ЛЕФ'у, мост, рассчитанный в своей конструкции так, чтобы соединить эти классические традиции с теми тенденциями революционного новаторства, которые были не их отрицанием, а продолжением и преобразованием? Вопрос этот важен, и для самого Ушакова он решался так: от классики через ЛЕФ, отбрасывая его нигилизм, к новому синтезу.

С самого начала в стихах поэта легко определить их глубокие связи с поэзией Державина, Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Блока, которые ранние критики Ушакова рассматривали как влияния. На самом деле это были не влияния, а сознательно подчеркнутые реминисценции, которые говорили не об эпигонстве, а о поисках нового качества. В известной мере это была позиция над схваткой, позиция не только поэта, но и хорошо образованного человека, знающего, как протекает смена поэтических школ и что в конечном счете навсегда, как живая традиция, сохраняется в литературе в итоге ожесточенной борьбы взаимно отрицающих друг друга «архаистов» и «новаторов».

Тема гражданской войны главенствовала в поэзии поколения, к которому Ушаков себя причислял. С нею были связаны лучшие

---

[1] См.: Давид Бурлюк, Это не стекло, а бриллианты. — «Русский голос» (Нью-Йорк), 1931, 22 ноября.

стихи Светлова, Голодного, Сосюры, Бажана, Уткина, во многом — Багрицкого. С высоты героической эпохи шла нравственная оценка другого времени, наступившего с введением нэпа. Во всяком случае, эта поэзия, испытывавшая романтическую ностальгию по огненным дням первых лет революции, шла к ее новым дням с этической меркой недавнего прошлого. Исключение, пожалуй, представлял один Безыменский.

Стихи Ушакова, в которых гражданская война также занимала большое место, своей исходной точкой имеют все-таки не ее события и критерии, а время лозунга «техника решает все». В них господствуют не романтические отсветы недавнего прошлого, а романтика нового, которая не отрицает того, что отшумело, а продолжает его в буднях восстановления и строительства.

Конечно, поэт видел «гримасы» нэпа, с тревогой спрашивал: «Весна, а чем дышать у рундуков на Хитром рынке?» («Музыка», 1926), но этот вопрос естественно — это слово следует подчеркнуть! — заглушался музыкой «железных струн», гудевшей по всем «кузницам и горнам» страны, победившей «смерть, и голод, и таборы, и нищету». Даже вглядываясь в недавнее прошлое, Ушаков вглядывался в наступившее настоящее и через него — в будущее, сулившее, как ему мечталось, новый «золотой век» человечества:

Еще деревни, может, хмуры —
течет в ночные облака
от Волховстроя
и Шатуры
голубоватая река.

Так пусть,
дома и домны видя
и синее сиянье то,
в рабочем фартуке Овидий
о веке мыслит золотом.

(«Этот год»)

В начале 20-х годов, когда впервые стали печататься стихи поэта, и даже в середине десятилетия, когда он вышел на московскую арену и сборник «Весна республики» практически уже сложился, лирика была если не отброшена, то, во всяком случае, достаточно третировалась, как «чуждый жанр». «Нами лирика в штыки неоднократно атакована», — писал Маяковский, а Асеев, сам, по существу, чистейший лирик, открывал свое «Лирическое отступление»

характерными строками о лирике как о некой запретной для революционной поэзии зоне:

Читатель, стой! Здесь часового будка.
Здесь штык и крик. И лозунг. И пароль.
А прежде здесь синела незабудка
веселою мальчишеской порой.

Конечно, все эти добровольно налагаемые на себя запреты не означали смерти лирики и, в сущности, вся наша поэзия 20-х годов — от Есенина до Асеева или Багрицкого — в основном оставалась лирической, лишь с отдельными, хотя и существенными, такими, как «Семен Проскаков» или «Дума про Опанаса», выходами в эпос.

В «Весне республики» Ушаков предложил как раз тот вариант субъективной лирики, который представлялся особенно неприемлемым для поэзии новой эпохи, — лирики, опиравшейся на фетовскую и тютчевскую традицию — чувство природы, пейзаж — и неожиданно доказал, что такая лирика может, ничуть не пострадав, вобрать в себя прозаические приметы нового и преобразовать их в приметы глубоко поэтические.

Читатель, особенно молодой читатель, желал увидеть в стихах новое, и вместе с тем ему слишком часто не хватало чистого воздуха высокой поэзии. Сблизив далекое и, казалось бы, навсегда разъединенное, «Весна республики» попала в самый нерв этих назревших требований.

Острое ощущение исторического момента, высокая культура стиха, вобравшего в себя опыт классической русской лирики, свое дыхание, выразившееся в ни на кого не похожей интонации, неожиданная свежесть образов, открытая ориентация на современность были замечены всеми, кто любил поэзию. Николай Асеев во вступлении к «Весне республики» звонко и точно выразил эту общую реакцию на первую книгу поэта:

«Я люблю стихи Ник. Ушакова, потому что они — движение живой и поющей, победоносной и торжествующей человеческой мысли. Я вдвойне люблю их еще и потому, что этот настоящий поэт ведет и продолжает дело живой, революционной поэзии. Если я пишу это предисловие, то единственной его целью является обратить своевременное внимание критики на новый, первоклассного тембра и силы голос, заставляющий вздрогнуть мое сердце при первом же звуке его и воспевающий подлинную весну республики». [1]

---

[1] Н. Ушаков, Весна республики, М., 1927, с. 5.

Самым удивительным в появлении этих стихов, заставивших вздрогнуть сердце не одного Асеева, было то, что они родились словно внезапно, без периода ученичества и поисков своих путей: перед читателями был зрелый итог, а о том, что ему предшествовало, приходилось только догадываться. В поэзию как бы вдруг и сразу вошел мастер, уверенный в том, что и как он делает.

В действительности эти «сразу» и «вдруг» были весьма относительны. После смерти Ушакова, когда открылся его архив, мы увидели, какая огромная подготовительная работа предшествовала тому времени, когда он стал печататься, через какой духовный опыт он прошел, прежде чем показал читателю его художественное претворение.

В истоке этого духовного опыта мы, как обычно, находим самые первые впечатления детства и юности, впечатления, которые легли в основание будущей личности писателя, навсегда закрепились в ней и в дальнейшем, как психологическая установка, определили ориентиры более поздних — уже поэтических — восприятий.

В автобиографии Ушаков частично называет эти как бы случайные, но в действительности так много значившие впечатления своего детства, а в романе «Вдоль горячего асфальта» (1960—1963) дает им подробное лирическое истолкование. Но только теперь в свете дневниковых записей и ранее неизвестных юношеских стихотворений обнажились и другие, скрытые ранее, связи того, что оставалось невидимым для постороннего взгляда, с тем, что получило доступную для всех явность напечатанного.

1

Молодые годы Ушакова, как и вся его биография, не богаты внешними событиями, но их неприметность не только не исключала крайне интенсивной внутренней жизни, но иногда — по некоему закону психологического восполнения — усиливала и множила ее напряженность. Хотя Ушаков и был противником любого эстетического гиперболизма и всегда считал, что великое надо отражать через малое, но его чисто психологическая реакция на внешние события своей жизни была обычно крупнее этих событий, как резонанс может быть сильнее звука, а **отсвет** — интенсивнее вызвавшего его света.

В автобиографии Ушаков попытался дать некоторые ее координаты: «Родился я в Ростове Великом 6 июня 1899 года, рос на

севере России, учился на Украине, в Киеве, где кончил гимназию и юридический факультет Института народного хозяйства».

Здесь все верно и все требует расшифровки. Прежде всего, чем был для Ушакова сам русский Север — Ярославская губерния, бабушкино поместье Успенское-Озерки, где прошло его детство?

Здесь впервые проснулось бессознательное, а затем хорошо осознанное чувство природы, из которого вырос со временем пейзаж поэта с его несколько блеклыми, как северное небо, красками, с его влажностью — как влажны сеножати Ярославщины, с его особой освещенностью и северными оттенками, ощутимыми и в тех случаях, когда поэт обращается к совсем другим ландшафтам.

В Успенском же он впервые услышал вечернюю сказку. Сначала русскую — от бабушки, затем немецкую — от бонны-немки. Герои сказок — Аленушка, Рюбецаль, былинные богатыри, гномы в красных шапочках — расселялись в его воображении рядом — в усадьбе или сразу за оградой — у осин и темной воды бочажков. Об этом он еще расскажет в своем — во многом автобиографическом — романе «Вдоль горячего асфальта», но почти ничего не скажет, как бы боясь растравить старую боль, о своем первом настоящем горе.

Когда Коле не исполнилось и четырех лет, умерла его совсем еще молодая мать. Ее смерть оказалась для мальчика ничем не восполнимой потерей, отозвалась в нем глухим чувством сиротства, которое так и не прошло, а с годами стало чертой характера.

Мать Ушакова болела туберкулезом. В детстве он и сам был слабым ребенком. Поэтому, когда все внуки съезжались на лето в бабушкино имение и играли на дорожках в «палочку-стукалочку» или «горелки», он сидел в красном пальтишке и галошах на ступеньках террасы и с завистью следил за носящимися по саду детьми.

Страстный игрок, волей обстоятельств выпавший из игры, но пристально следящий за всеми ее перипетиями и мысленно заменяющий то одного, то другого ее участника, созерцатель, но созерцатель заинтересованный, который следит за игроками и мечтает делать то, что делают они. Это тоже отпечаталось в характере, и, возможно, поэт так и остался бы навсегда тем же «мальчиком в красном пальтишке», который с террасы, в шапочке и галошах, наблюдает за активной жизнью других, если бы не Слово, которое, соединившись с Революцией, вдруг не открыло перед ним возможность прямого участия в событиях века.

Хотя талант Ушакова оставался на всем пути его развития по преимуществу углубленно-созерцательным, но героями его стихов

становились люди действия — машинисты гражданской войны, строители, воины, летчики, отважные путешественники, победители космоса. Образ яростного гончарного круга, на котором художник вращает мир, чтобы он «из глины мыслью стал», по существу, уже давно стоял перед глазами поэта как некая идеальная цель. Стремление к покою и стремление к движению — это постоянное противоречие души художника — всегда решалось им в пользу движения, действия, вмешательства:

Я хочу быть деревом в разливе,
в половодье посреди стремнин.
Не могу не удивляться иве,
направляющей
движенье льдин.

Вот опять их флот свирепый мчится,
потрясает вербою опять.

Содрогнувшись,
не переломиться,
выстоять
и направленье дать.

(«Я хочу быть деревом в разливе. . .»)

За оградой бабушкиной усадьбы начинался не только созданный воображением мальчика мир, где среди папоротников и молочая можно было встретить и злого кобольда и доброго гнома, но и мир вполне реальный — деревня Озерки, узкоколейка, а еще дальше — Путятино, откуда уже не маленькие, будто игрушечные, паровички, а большие, тяжело груженные составы уходили в Архангельск и Астрахань, на Балтику и Тихий океан.

Ушаков родился на самом рубеже двух столетий: одного — уходящего, другого — наступающего. Он всю жизнь необычайно остро — почти физически — ощущал скрытый смысл этого рубежа для своей внутренней биографии — ее тесную связь с культурой ушедшего столетия и столетия, пришедшего ему на смену, того, в котором ему предстояло жить и которое он сам назвал в своей итоговой книге — «Мой век».

Чувство истории — бегущего по нити годов времени — хотя и пришло к поэту, по его признанию, позже, чем чувство пространства, тоже берет свое начало с успенских впечатлений — первых прикосновений мальчика к прошлому своего рода. А прошлое это интересно!

Яков Афанасьевич Ушаков, дед поэта, тот самый дед, который вскоре отвезет маленького Колю учиться в Киев, в молодости — поручик Семеновского полка, в 1862 году по делу так называемых «воскресников», первых пропагандистов среди рабочих, был приговорен к расстрелу, затем замененному ссылкой. Прадед — участник Отечественной войны, был ранен под Бородино. Бабушка поэта, Мария Ивановна, которую он очень любил, находилась в родстве с семьей Трубецких. Другой прадед, Петр Дмитриевич Жилин, тоже участник Отечественной войны, живя в Тобольске, был тесно связан со многими ссыльными декабристами — Пущиным, Кюхельбекером, Фонвизиным. В его доме бывали автор «Конька-горбунка» П. П. Ершов, родители Д. И. Менделеева.

Впрочем, история входила в жизнь мальчика не только своим прошлым, но и событиями близкого настоящего — русско-японской войной, отзвуками революции 1905 года, отъездом отца, артиллерийского офицера, в Маньчжурию, его письмами из-под Ляояна, Мукдена, в которых он с горечью писал о тяжелых боях, постыдном Портсмутском мире.

Как ни мал был в ту пору будущий поэт, как ни узка калитка успенской усадьбы, через которую трагические впечатления времени проникали в его сознание, все, что он слышал тогда о событиях, происходящих в стране, глубоко — вместе с тревогой за жизнь отца — западало в его детскую память, чтобы стать потом неким личным чувством истории, окрасившим многие его стихи и роман «Вдоль горячего асфальта».

Когда мальчику исполнилось девять лет, дедушка отвез его учиться в Киев. Он будет еще не раз возвращаться на летние каникулы в родную усадьбу, однако с этого момента он уже навсегда становится городским жителем.

Киев, где практически прошла вся жизнь поэта, оставил глубокий след в его внутреннем мире. Несмываемый карандаш истории, о котором писал Ушаков, был для него прежде всего карандашом истории города, и следы этого карандаша мы обнаруживаем не только в произведениях, посвященных непосредственно Киеву, но и в вещах, тематически с Киевом, казалось бы, вовсе не связанных.

Киевская Первая гимназия, в которую поступил мальчик из Успенского, могла гордиться многими из своих питомцев. Здесь учились художник Н. Н. Ге, скульптор П. П. Забела, археолог и этнограф Н. В. Закревский, известный шекспиролог Н. И. Стороженко, поэт и переводчик Н. В. Гербель, А. В. Луначарский, будущий президент Академии наук УССР А. А. Богомолец.

Когда Ушаков поступал в гимназию, ее заканчивали Михаил Булгаков и украинский поэт, переводчик, ученый Микола Зеров, в старших классах учился Константин Паустовский, во втором — Борис Ромашев... Все они, конечно, встречались друг с другом под шум большой перемены, но едва ли кто-нибудь из них тогда задумывался, кем станет в будущем вот этот или тот «господин гимназист», особенно, если этот гимназист был, как Ушаков, всего-навсего приготовишка или первоклассник!

Киевская Первая гимназия была консервативна. Но здесь были сильны не только монархические, но и подлинно культурные традиции. Прекрасно образованные преподаватели прививали своим ученикам любовь к русской литературе, искусству и, может быть, сами не задумывались, как вместе с этой любовью в сознание их питомцев проникали демократические и революционные идеи, которыми всегда жила русская передовая культура.

По мере того как киевский гимназист становился старше, исторический Киев давал все больше пищи его воображению. Мальчику уже ничего не стоило, перескакивая через века, представить себя действующим лицом жестоких драм, разыгрывавшихся когда-то в стенах и за стенами древнего города. Он хорошо знал топонимию киевских улиц, и сами названия — Большая Владимирская, Львовская, Дорогожицкая, Подвальная, Кожемяки, Гончары, Дегтярная, Боричев Ток — будоражили его мысль. Минутами ему казалось, что он существовал всегда.

Но город жил не только своим прошлым. Об этом тоже свидетельствовали улицы. Вот здесь под красными знаменами прошли поднявшиеся против самодержавия саперы. А вон там, у речушки Лыбедь, неподалеку от дома, в котором живет мальчик, светятся окна Южно-русского завода, где зреют огни будущих восстаний.

Новый буржуазный Киев зажег вольтовы дуги электрических фонарей, понастроил заводы, банки, он теснит Киев исторический и не очень-то считается с его прошлым. «Сарай, — иронически вспоминает Ушаков в «Повести быстротекущих лет», — уже зовут ангаром и гаражом. На аристократической Николаевской (улице К. Маркса) вернисаж автоколымаг — немецких, итальянских, международных смешанных обществ, а по Дмитриевской (улице Менжинского) снует красный автомобиль колбасника Бульона. Рожок исполняет матчиш. Бес на радиаторе, забегая вперед, показывает пешему киевлянину нос».[1]

---

[1] Ник. Ушаков, Повесть быстротекущих лет, М., 1960, с. 75—76.

Между тем, пока автомобиль колбасника играл матчиш, рекламируя бульонные кубики «Маги», пока Киевская Первая гимназия, отмечая свой столетний юбилей, меняла гербы на пуговицах гимназических шинелей и фуражек, а гимназист Ушаков сочинял стихотворение, посвященное годовщине Бородинской битвы, старый мир неуклонно приближался к катастрофе. Преддверием ее была мировая война 1914—1918 годов.

Разверзнувшаяся пучина с каждым днем втягивала в свой водоворот все новые народы, государства, армии. Николай Яковлевич, отец поэта, снова уехал на фронт, и снова, как десять лет назад, одна и та же мысль сверлит мозг подростка — где он теперь, жив ли еще сегодня, уцелеет ли завтра?

Когда войска немецкого кайзера приблизились к Киеву, Ушакову пришлось перевестись в ярославскую гимназию, там он провел 1915—1916 учебный год, а затем возвратился в Киевскую Первую гимназию, которую закончил с золотой медалью.

О времени переселения в Ярославль можно было бы и не упоминать, если бы не первое чувство, которое здесь пережил будущий поэт, и не стихи, этим чувством рожденные.

Все эти стихи, о чем свидетельствуют посвящения нескольких рукописных сборников, были адресованы троюродной сестре поэта Леле — Ольге Юлиановне Петкевич. Она жила в Успенском, была участницей игр Коли, но позже, с лета 1914 года, их отношения стали складываться по-другому, а когда в следующем году киевский гимназист временно перебрался в Ярославль, где училась и Леля, их детский роман стал романом серьезным, длился около восьми лет и внезапно оборвался в конце 1922 года.

На ранних, конечно очень несамостоятельных, стихах Ушакова лежит печать заметных воздействий поэзии начала века — Бальмонта, Белого, Сологуба, Ахматовой, Блока и, прежде всего, так горячо отвергаемого впоследствии Брюсова. Чтобы разглядеть, что́ совершалось в эти годы в сердце юного поэта, приходится пробиваться сквозь густой слой чужих интонаций, образов и состояний, но, пробившись, видишь, как неопытно и незащищено было это сердце перед тем неожиданным и грозным, что надвинулось на него. Шестнадцатилетний гимназист — в сущности еще мальчик, подросток, ему нелегко разобраться в девушке, которую он любит, хотя они и росли рядом, еще тяжелее разобраться в себе. Он пытается иронизировать, украшает свои рукописные сборники юмористическими рисунками, но шутить ему делается все труднее.

И все же сколько бы разочарований ни принесла поэту первая

любовь, она разбудила в нем дремлющие силы и научила смотреть на поэзию *как на средство выразить себя.*

А пока он в холодном и голодном Киеве при свете коптилки писал свои первые и, в сущности, единственные стихи о любви, за плотно занавешенными окнами профессорской квартиры [1] вершились великие события — шла революция, бушевала гражданская война, Киев по многу раз переходил из рук в руки, на той же Бульварно-Кудрявской, где жил молодой поэт, гремели выстрелы, лилась кровь... В эту пору он был уже не гимназистом, а взрослым человеком, студентом, и трудно предположить, что он, захваченный своими переживаниями, не замечал огромных событий, потрясавших его зеленый город и весь мир.

Однако когда читаешь его стихи 1917—1922 годов, кажется, что это было именно так. Молодой поэт пишет о времени, бегущем в никуда. О часах, чей маятник неуклонно отмечает приближение смерти. Ум его занят то мыслями о самоубийстве, то апокалипсическими расчетами конца мира, и только комментарии к рукописной «Первой книге» сообщают, в каких условиях создавались стихи тех лет, — то в подвале под свист рвущихся снарядов, то в февральскую ночь 1918 года, когда немцы входили в Киев...

Эти комментарии все-таки кое-что объясняют и проясняют. Если стихи поэта времени гражданской войны были действительно оторваны от социальных реалий эпохи, то это совсем не значит, что он проходил мимо них. Между ними и его творчеством пока стоял барьер. Стоял ли он между ними и его личностью, вернее, той частью его личности, которая до времени в творчестве не участвовала, но вскоре будет участвовать?

В том, что такого барьера не было, убеждают прежде всего стихи, написанные *после* «Первой книги»; если бы поэт так жадно не впитывал в себя впечатления революционных лет, невозможно было бы появление таких произведений, как, скажем, «Сказанье старых времен», с образами и деталями, которые не могли быть почерпнуты ни из одного источника, кроме источника непосредственно увиденной жизни... А пока шло накопление впрок и, чтобы это накопление вступило в действие, необходима была полная перестройка сознания и личности художника.

Вместе с тем дарованию, пробудившемуся с первым чувством, с каждым годом становится все теснее в стенах, которые молодой поэт воздвиг между собою и жизнью. Время бьется об эти стены и

---

[1] Ушаков в это время жил у своего дяди П. П. Соколова, профессора церковного права в Киевском университете.

разрушает их, сквозь образовавшиеся проломы доносятся голоса действительности, стук пулеметов, слова надежды, но целое и смысл целого упорно ускользают от взгляда.

Поэт ищет действия, которое помогло бы ему вырваться из добровольного заточения. В записи, сделанной в рукописном сборнике «Глагол времен — металла звон», он скажет об этом, скажет сложно, запутанно и вместе с тем недвусмысленно: чтобы «ночная тень» не покрыла «мое малое *Я*», надо во что бы то ни стало слить это «малое *Я*» с «*Я* мировым», иными словами — с *Мы*. Но как это сделать? На что в себе самом опереться, чтобы выйти в большой мир — к времени и людям? Такую точку опоры поэт ищет в своем таланте, который может возгореться и, победив «ночную тень», осветить все вокруг, но может и погаснуть; тогда «малое *Я*», не слившись с «*Я* мировым», не оставит после себя ни следа, ни знака!

Огни погасли. Поздний час.
Не нахожу нигде покоя.
Томит вопрос, что я такое, —
Неотшлифованный алмаз
Иль только стеклышко простое?

(«Огни погасли», 1917)

Этот вопрос будет еще долго терзать молодого Ушакова, и небеспричинно, потому что в сфере замкнувшегося в себе *Я*, загородившего мир, искра дара, которую он чует в себе, разгореться по-настоящему не может.

Вместе с тем в пору, предшествующую рождению «Весны республики», особенно начиная с 1917 года, в стихах поэта уже появляются образы по-своему увиденного мира. Иногда они носят вселенско-планетарный характер:

Тени длинные скосила
на бегущие светила
мировая ось —

(«Ночные тени», 1918)

иногда антологичны, но с попытками бытового, «славянского» осмысления антологического мотива:

Когда у печи русской, жаркой
Хлопочешь ты в морозный день,
И кажешься мне розой яркой
Славяно-финских деревень —

(«Ты в жизнь мою вошла...», 1919)

а еще чаще — они крепко привязаны к совершенно конкретному зрительному впечатлению и не выходят, так сказать, за его рамки:

А на небе овечью стаю
Крылами стригут стрижи.

(«На лугу богородицыны слезки. . .», 1920)

Нередко — это ландшафт, в котором угадываются черты будущего пейзажа «Весны республики»:

И с яблонь каплет розовая вьюга,
И в каждой чашечке гудящая пчела...

(«Весна», 1917)

И все же ощущение природы, весны, собственной молодой силы —

Клубится над болотом сизый пар,
Я молод, я силен, я светел в эту пору.
И, кажется, когда б была опора,
Я б сразу повернул земной наш шар, —

(«Утро», 1918)

пока что гасится состоянием усталости, а свежие образы, связанные с пробуждающимся чувством жизни, остаются лишь отдельными яркими вспышками на фоне «ночной тени», покрывающей, по собственным словам поэта, «малое *Я*» его личности.

В те бурные годы, когда невероятно быстро проходила закалка и перезакалка характеров и даже вчерашние дети стремительно превращались во взрослых участников борьбы, внутренний мир Ушакова оказался удивительно инертным к самым мощным воздействиям извне и до какой-то особой, своей минуты существовал словно бы сам по себе. Однако какой же великолепный бросок — казалось, неожиданно и вдруг — совершил поэт в «Весне республики»!

Все перевернулось. В корне изменились шкала оценок, масштабы измерений, система социальных и поэтических ориентиров, сам метод ориентации. Ликующая весна пришла на смену унылой осени. Куда только подевались усталость, безнадежность, тоска, начисто вытесненные бодрым жизнеутверждением, верой в победу жизни над смертью, революции — над косностью. Очищающий душу взрыв переиначил структуру стиха, его течение, графику, интонацию, звукопись, строй и тональность будто промытых весенним дождем об-

разов, эмоциональную окраску слова, отвергнувшего шаблон и отвлеченность, жадно вбирающего в себя всю конкретность примет только что родившегося из огненной купели мира.

Но каким бы неожиданным ни представлялось появление «Весны республики», его исподволь подготовили те самые реальные впечатления первых лет революции, которые, задевая сознание, душу, быт молодого Ушакова, до поры оставались отделенными от его творчества плотиной эстетических и житейских предубеждений. Ярослав Смеляков как-то сказал, что, если бы его спросили, каким поэтом стал бы Светлов, не будь революции, он, не задумываясь, ответил бы: никаким! То же, очевидно, можно повторить и об Ушакове: революция открыла ему высокую цель жизни и помогла, утвердив себя как личность, найти себя как поэта.

2

«Весна республики» вышла в 1927 году. Стихи, из которых она сложилась, были хорошо известны по киевской «Пролетарской правде», московским журналам «Молодая гвардия», «Красная новь», «Новый мир», «Новый ЛЕФ», наконец по «Комсомольской правде», где Ушаков печатался особенно часто, но только собранные вместе они дали полное ощущение прихода поэта.

Это ощущение во многом объяснялось не только ликующим чувством жизни, не только удивительной цельностью сборника, но и его полемическим задором. Поэт спорил. И спорил именно с теми авторами и произведениями, которые были особенно дороги читателю 20-х годов, но вместе с тем не могли не вызывать его внутреннего сопротивления. С «Москвой кабацкой» Есенина. С «Ночными встречами» Светлова. С гиперболическим техницизмом Алексея Гастева. «Стальным соловьем» и «Лирическим отступлением» Асеева. Со многими стихами Багрицкого, где трагически прозвучала нота разочарования.

Спор касался самой сущности вопросов, которые волновали молодое поколение революции. Ушаков вносил в них нечто новое, необычное, и этим новым, необычным было, очевидно, присутствие его освободившегося от долгого внутреннего заточения *Я*. Он утверждал только что родившийся мир. Но не собирался отказываться от своего внутреннего мира. Искал согласия там, где другие видели только непримиримые противоречия. Певец техники, он не предлагал во имя технического прогресса обезличить или уничтожить природу. Певец природы, он не отрицал техники и писал об их возмож-

ном союзе. Не растворял своего *Я* ни в гигантской машинерии будущего, ни в пролеткультовском *Мы*, но был за машинерию и никак не отделял себя от *Мы*. Принимая многие левые течения в поэзии, он одновременно не принимал их нигилистических тенденций и противопоставлял им идею преемственности. В общем, «Весна республики» привлекала прежде всего чувством гармонии бытия. Одного только не знал тогда читатель — как трудно оно было выстрадано поэтом. И еще не знал, как не знал этого и сам поэт, что мир «конечного порядка и разума» окажется не так близок, как представлялось в то время.

Первоначальные литературные связи Ушакова определились в Киеве. Здесь в 1923 году при газете «Пролетарская правда» образовалось литературное объединение «Майна», куда, кроме Ушакова, вошли поэты Анатолий Волкович, Николай Барабасенко, Александр Нольден, Евгений Нежинцев, Сергей Сац, Борис Турганов, Игорь Юрков.

«Нас увлекали, — расскажет позже автор «Весны республики», — Маяковский и Пастернак. С карандашом в руках мы начинали исследовать «Избрань» Асеева и «Кипарисовый ларец» Иннокентия Анненского. Недавний черниговец — Игорь Юрков — первый познакомил нас с творчеством прославленного черниговца — Павла Тычины. Нам открывался новый мир. Новейшая поэзия говорила о нем — огромном. Так складывались творческие симпатии и определялась практика». [1]

Многие из бывших «майновцев» рано закончили свой путь: совсем молодым умер Николай Барабасенко, трагически ушел из жизни Анатолий Волкович, погиб в ленинградскую блокаду Евгений Нежинцев, быстро угас от туберкулеза Игорь Юрков.

От Юркова, по собственному признанию Ушакова, исходили не только многие интонации и образы будущей «Весны республики», но и первые толчки в сторону той литературы, которая стала второй и, очевидно, самой плотной средой творчества поэта. [2]

С украинского он переводил более сорока лет. Прозу Ивана Франко, Михаила Коцюбинского, Андрея Головко, Юрия Яновского... Но главной сферой его переводческой работы была поэзия — творчество украинских советских поэтов, классика и прежде всего Шевченко.

---

[1] Архив Н. Н. Ушакова, хранящийся у его жены Т. Н. Ушаковой-Белогорской.

[2] См. автобиографию «От книги к книге» (наст. издание, с. 56).

От переводов с украинского, которым предшествовали интересные, особенно в ритмическом отношении, переводы из Гейне и Ленау, Ушаков перебросил мост к поэзии других народов нашей страны.

Чтобы переводить, Ушакову нужен был не только текст того или иного стихотворения: он искал глубоких внутренних связей со всем творчеством писателя и, если позволяли обстоятельства, с ним самим или с землей, на которой проросло его слово.

Раньше чем переводить Коста Хетагурова, Ушаков прошел пешком по Северной Осетии, и ее ущелья, реки, сторожевые башни, селенья, зародили в нем мысль обратиться к стихам осетинского поэта.

Едва ли Ушаков стал бы переводить узбекских поэтов и столь чтимого им Мукими, если бы война не забросила его в гостеприимный дом Уйгуна в Ташкенте, где и произошло его знакомство с поэзией и самого Уйгуна, и с культурой узбекского народа.

Переводческий принцип — передавать не слова, а прежде всего образы живой жизни, запечатленной в слове, обычно соответствовал именно этой практике обращения к творчеству того или иного иноязычного поэта.

Вся статья Ушакова «Весна в Дагестане» (1953) является оригинальной попыткой подтвердить непосредственными наблюдениями жизни Дагестана образы его поэзии и, идя от этих наблюдений, внести коррективы в некоторые свои старые переводы, сделанные до поездки в горную республику.

«Сейчас, — писал поэт в этой статье, — я уже иначе переводил бы Стальского... Я переводил бы Стальского так, чтобы в переводе сияли яблони и горы, чтобы школьный звонок созывал детвору, чтобы чувствовалась ярость, с какой Курбан Хпеджский пытается ответить на возражения Сулеймана... Я переводил слова и фразы, размеры и стилистические приемы, а следовало переводить жизнь, выраженную на языке лезгинском, на язык русский».[1]

Ушаков отлично знал немецкий язык. Тем не менее над переводом стихотворения Г. Гейне «Так что ж это значить может...» он работал чуть ли не всю жизнь, значительно приблизившись к ритмическому и образному эквиваленту знаменитой баллады, но, очевидно, как и другие ее интерпретаторы, чью работу он тщатель-

[1] Н. Ушаков, Состязание в поэзии, Киев, 1969, с. 179.

но проследил в статье «Практика перевода» (1968),[1] так окончательно и не добился искомой цели.

С лезгинского, осетинского, узбекского, казахского, еврейского, монгольского, венгерского, армянского он переводил по подстрочникам. Хотя это обстоятельство, несмотря на предварительное изучение содержания и формы оригинала, не могло не тяготить совестливого и всегда требовательного к себе писателя, именно здесь он обретал ту меру творческой свободы, которой ему очень часто не хватало в переводах с родственных языков, где близкое слово и ассоциации, тянущиеся за ним, в какой-то мере связывали сотворчество интерпретатора.

«Переводчик с неродственного языка, — замечает Ушаков, — обладает почти безграничными правами вольности, а переводчик с языка близкого связан строжайшей дисциплиной: первый может переводить лишь последовательность образов, а второй зависит не только от движения картин, но и от движения фраз и порядка слов во фразе.

Когда я перевожу стихи Уйгуна об узбекской осени, я, к сожалению, не слышу его слов — передо мной тутовые деревья, виноградные аллеи и белые скирды хлопка в сиянии щедрой синевы; когда я перевожу «На майдані коло церкви» Тычины, передо мной, конечно, и черниговское село, и площадь у церкви, но зрение в данном случае слабее слуха, загипнотизированного афористичностью украинской фразы, диктующей фразу русскую».[2]

Поэт, как уже об этом говорилось, считал украинский язык второй лексической средой своего творчества. Он был автором четырех сборников переводов поэтов Советской Украины, не только, начиная с 20-х годов, переводил стихи украинских поэтов XIX и XX столетий, но и внимательно, о чем свидетельствуют его многочисленные статьи, следил за развитием украинской поэзии и украинского языка, воздействовавших в свой черед на его творчество.

В переводческой деятельности Ушакова поэзия Тараса Шевченко занимала совершенно особое место. Он был глубоко увлечен ею и считал, что стихи великого поэта значительно ближе нашему времени, чем это может показаться русскому читателю, знакомому с ними по многим старым и, в сущности, далеким от духа оригинала переводам XIX века.

Вот почему не отрицая всей важности работы ранних русских

---

[1] Там же, с. 234—244.
[2] Там же, с. 223.

переводчиков Шевченко — от Гербеля и Мея до Белоусова, Ушаков прежде всего стремился к тому, чтобы максимально приблизиться, с одной стороны, к ритмике шевченковского стиха и, с другой, — к его стремительной композиции и предельной уплотненности образа, в сущности беспримерной для мировой поэзии XIX века.

Затратив немало усилий, чтобы доказать, что четырнадцатисложник, один из любимейших силлабических размеров Шевченко, надо переводить не хореем, как это делали дореволюционные интерпретаторы поэта, а силлабикой же, Ушаков в собственных переводах, действительно, сумел не только подтвердить очевидную правильность своих теоретических выводов, но и блестяще воспроизвести совершенно необычную ритмико-интонационную структуру шевченковского стиха.

Значительно труднее давалось поэту преодоление инерции дословности, порождаемой близостью двух языков, и воссоздание трудноуловимой в рамках иного языка лексической основы шевченковского образа, глубоко уходящего в национальную почву украинской истории и украинского языка.

Работа над переводами Шевченко, длившаяся десятилетиями, а затем над переводами Мукими, который был после Шевченко самой большой любовью Ушакова-переводчика, открыла ему два совершенно своеобразных мира, активно взаимодействовавших с его личностью и его поэзией.

3

«Пролетарская правда», где в 1923 году дебютировал Ушаков, сыграла немалую роль и в дальнейшем его становлении как поэта новой действительности. Активной пропаганде современности учила молодого поэта и киевская газета «Красная Армия», где Ушаков стал печататься все в том же знаменательном для него 1923 году. Не пройди он в свое время школы этой газеты, ему трудно было бы стать в годы Отечественной войны автором стихов, которые широко печатала армейская пресса, и боевых сборников «Восток и Запад» (1941), «За правое дело» (1942), «Мы будем жить» (1944).

1926 год стал для Ушакова годом «московского признания». Наряду с другими его вещами «Комсомольская правда» помещает на своих страницах такие стихи, как «Ранняя весна», «Неистовый бронепоезд», «Ты входишь в сад». «Молодая гвардия» — «Ночь на 25-е», «Прожектор», «Кладбище паровозов». В «Красной нови» поэт дебютирует стихотворением «Есть от полыни переход. . .». В «Новом мире» — стихотворением «Лес рубят».

Хотя это стихотворение было замечено сразу — его хвалили Казин, Асеев, Вяч. Полонский, Безыменский, Уткин, — но, пожалуй, самым большим триумфом Ушакова в 1926 году стали его «Зеленые». Асеев, познакомившись с ними, предложил поэту вступить в ЛЕФ. Он же, очевидно, рассказал о них и Маяковскому. Непосредственная встреча Ушакова с Маяковским произошла в Лубянском проезде, в рабочей комнате Владимира Владимировича. «Здесь, — вспоминает Ушаков, — помещалась редакция журнала «Новый ЛЕФ». Огромный, как для слона, диван. Письменный стол великана, свободный от вещей и, тем более, вещиц. Маяковский — редактор журнала — по одну сторону стола, по другую я, принесший стихи. Представьте себе мой восторг: Маяковский подписывает мои стихи в набор». [1]

Итак, Ушаков — в фарватере бурлящего литературного процесса тех лет. Практически «Весна республики» уже сложилась. Она выйдет через год и сразу завоюет себе общее признание.

Вместе с тем судьба этой, казалось бы, такой счастливой книги в поэтической биографии Ушакова оказалась весьма сложной. Хотя вслед за нею и были напечатаны превосходные сборники «30 стихотворений» (1931), «Горячий цех» (1933), «Календарь» (1933), «Мир для нас» (1935), значительно раздвинувшие ее тематику, проблему связей человека и нового мира, углубившие историзм и философичность замыслов, в глазах читателя и, в значительной мере, критики Ушаков на годы, если не на десятилетия, остался автором только «Весны республики». Эмоциональная яркость первого впечатления, значение которого в психической жизни человека хорошо знакомо, заслонила то, что было сделано позже. Это обстоятельство, очевидно, сбивало и самого писателя: в кризисные периоды он начинает искусственно нацеливать свое творчество на успех первого сборника, вторично эксплуатировать его поэтические открытия, которые, как известно, совершаются только единожды.

Одну из своих теоретических работ о поэзии Ушаков озаглавил словами Блока: «Узнаю тебя, жизнь!». Блоковская строка предельно соответствовала его главному выводу: «Всем, — писал он, — поэт обязан жизни. Автомобильный рожок Командора немыслим до изобретения автомобиля. «Двенадцать» блоковских красногвардейцев на улицах Петрограда могли быть подсказаны только 1918 годом

---

[1] Ник. Ушаков, Седьмое поле. — «Радуга», 1971, № 7, с. 128.

в Петрограде. Жизнь дает направление языку, язык направляет поэзию». [1]

В 1930 году Ушаков написал стихотворение «Поэзия» («Трактиры в антеннах. . .»), где с молодым максимализмом поставил знак равенства между приметами новой жизни — антеннами, хриплым «фордзоном» в полях, брезентовым пыльником «товарища из округа» — и поэзией.

Через тридцать пять лет он напишет стихотворение «Как быстро растут города», где вновь — в который раз! — скажет о жизни и о современности как о воздухе, которым живет его творчество:

Всю жизнь
эту книгу пишу,
ей нет ни конца, ни начала.

Всю жизнь
этой книгой дышу,
чтоб мною дышать не кончала.

Мысль о поэзии, возникающей из жизни, соприкасалась с очень важной для Ушакова мыслью о поэзии, сохраняющей жизнь для жизни, мгновение, преходящее и ускользающее, для будущего, для тех, кто этого мгновения не знал или не сумел в себе сохранить. Строка — «чтоб мною дышать не кончала» — и является одним из выражений этой мысли о поэзии как об особой памяти человека и человечества, позволяющей дать времени обратный ход. Благодарность жизни за все, что она подарила, высказанная в стихотворении «Осень» (1966), была, в сущности, также благодарностью поэтической памяти, которая, преодолевая время, позволяет пережить то, что было, как то, что есть:

Спасибо за аистов стаю
в мгновенном луче между туч.
Спасибо за всё,
что я знаю,
за всё,
что поведал мне луч.
За всё,
что лишь миг продолжалось,
но мысль увлекло на года.

---

[1] Архив Н. Н. Ушакова.

За всё,
что навеки осталось,
хотя и ушло навсегда.

Сама история поэзии, которой много занимался Ушаков, представала перед ним в характерной метафоре красочной памяти человечества, а творчество поэтов — как многотомный свод жизненных примет определенного времени. Строки стихотворения «Азовское море»:

и снова и снова сверяет
поэзию с жизнью
поэт —

это кредо собственной работы писателя и угол зрения, под которым он изучал работу своих предшественников и современников. История поэзии была для Ушакова историей вхождения жизни в поэзию, а смысл поэзии он видел прежде всего в том, что она останавливает мгновение и оно не гибнет для будущего.

В своих рассуждениях о поэзии, по которой можно «восстановить былую жизнь», Ушаков делал акцент на реалистической точности примет. Этой точностью, писал он, поэт всегда горд, и — ясное дело — имел в виду не только других, но и самого себя.

Статьи Ушакова, который вообще не любил привлекать внимание к себе и своему творчеству, являют собою парадоксальный пример того, как огромный поэтический опыт человечества может быть рассмотрен в аспекте опыта одного поэта. О чьих бы стихах ни говорил Ушаков, он вычитывал в них прежде всего то, что подтверждало его собственную ориентацию. Если это Гомер, то Гомер, перечисляющий снаряжение кораблей. Если Данте, то Данте, у которого адская смола оказывается смолой с венецианских верфей, а символы и аллегории дополнены бытовыми подробностями XIII века, и эти подробности Ушаков ценит едва ли не больше самых величественных символов и аллегорий.

А Ушаков совсем не был бытовым поэтом, хотя быт и бытовые детали постоянно вторгались в его лирику. Но, читая великих, он вычитывал у них одно: бытовые подробности, по которым может быть восстановлено время. А человек, его состояния, которые не менее важны для понимания эпохи? Конечно, Ушаков не забывал об этом, но крен всегда делался в сторону вещей. Что поэтическое освоение жизни начинается с освоения ее примет — в это Ушаков верил

безоговорочно: «Раз изменился мир, значит изменилось и то, что заполняет поэзию — подробности мира».[1]

Вопрос — что такое поэзия? — сопрягался для Ушакова с другим вопросом — из чего поэзия добывается? Чтобы ответить на него, он привлек огромный материал: всю историю русской поэзии. Из года в год, чаще всего в связи со своей переводческой работой, он дополнял этот материал наблюдениями над поэзией других народов, не говоря уже о поэзии Древней Греции, Рима, французской и особенно — немецкой. Все эти наблюдения вели его к одному выводу: подлинная поэзия всегда осваивала жизнь в ее еще неоткрытых приметах. Если традиционалисты отвергали эти приметы за их мнимую непоэтичность, то новаторы, к которым он причислял не только Маяковского, но и Блока, не только Некрасова и Пушкина, но и Державина, как раз из них и высекали искру прекрасного.

Динамическая картина развития поэзии представлялась Ушакову в образе расширяющейся Вселенной: поэзия осваивает все новые реалии меняющейся жизни, и то, что считалось вчера низкой прозой, сегодня преображается в поэзию. Так было и так будет.

Несомненно, перед ним не мог не встать вопрос, как превращаются детали и признаки времени в составные части поэтического целого. Само определение поэзии как мира, на образ множимого, свидетельствовало, что поэт хорошо знал на основании собственного опыта, какое огромное расстояние отделяет реальный признак времени от того мгновения, когда он становится его поэтическим признаком. Однако в своих статьях, никак не обходя этой проблемы, он прежде всего говорил о *свежести* и *новизне* информации, поступающей в стихотворение из мира реальной действительности.

Заметить незамеченное, открыть неоткрытое, увидеть неувиденное, в особенности если доселе незамеченное, неоткрытое, неувиденное находится рядом и у всех на виду — вот что Ушаков ценил больше всего.

Относилось ли это исключительно к вещественным признакам времени? Не всегда, но к ним — в первую очередь. Обращаясь к опыту советской поэзии, Ушаков писал: «Присутствуя при рождении нового мира, мы хотели видеть его во всех подробностях, и в нашу поэзию вошли вещи, превосходно определявшие суть эпохи: тихоновские «винтовка, подсумок, противогаз», «дулом книзу ружьецо» колхозного сторожа из «Страны Муравии», серенькое платье светловской рабфаковки и шапка Безыменского, рубанок Казина и стальной асеевский соловей, фронтовая печурка Суркова и электроплитки ноч-

---

[1] Н. Ушаков, Состязание в поэзии, с. 16.

ных городов под самолетом у Вознесенского».[1] В этот перечень легко включаются и подробности, увиденные самим Ушаковым — пытливым *летописцем примет* своего времени. В открытии этих примет и в самом введении их в строй стихотворной речи был уже заключен момент поэтического преображения. Из аморфного, еще неэстетического существования поэт как бы выкликал названия вещей, и они, отзываясь, обретали свой голос и впервые становились частицами мира поэзии. Разрывались привычные связи. Разрушалась традиционная логика. И вместе с тем, тесня старое и знакомое, приметы нового и еще неназванного соприкасались и сталкивались с давно открытыми приметами вечно живого и вечно прекрасного.

Свою рецензию на «30 стихотворений» Ушакова Давид Бурлюк озаглавил: «Это не стекло, а бриллианты». Очевидно, секрет превращения стекла в бриллианты заключался не только в непосредственном добывании поэтического начала из прозаических примет времени, но и в сближении их с извечными приметами прекрасного. «Домна» и «подсолнух», «колесница Аполлона» и номера московских трамваев, «час стрекозы над Гиппокреной» и взорванные скалы у стен будущего Днепрогэса... В этом сближении — соприкосновении и сшибании — рождается новая красота. Древнее и неизменное, преодолевая эстетическую отчужденность того, что было, и того, что есть, переступают порог нашего времени, а приметы нового озаряются светом вечно прекрасного: очищаясь поэзией, они сами вступают в их круг. Стихи Ушакова всегда были сильны этим синтезом.

Приметы времени, считал Ушаков, существуют в стихе только как названные приметы. Вопрос об извлечении поэзии из того нового, что рождается в жизни, оказывался для него только другой стороной вопроса об извлечении поэзии из слова, обозначившего это новое, и прежде всего из лексических прозаизмов. Прочная связь вещи, которая как бы ждет мгновения, когда ее заметит и включит в свой мир поэзия, и слова, вызывающего вещь из материального мира в мир идеальный и поэтический, — вот что настойчиво утверждает теория и практика поэта.

«Поэт, — писал Ушаков в набросках к статье «Искусство поэзии», — не должен бояться на первый взгляд сухих терминов. Ведь за железнодорожным термином «кладбище паровозов» или техническим выражением «утомление металла» — широчайшие просторы нетронутой свежей поэзии».[2]

Таким образом, речь идет не о разрушении якобы устаревшего

---

[1] Там же, с. 76.
[2] Архив Н. Н. Ушакова.

прекрасного тараном прозаизмов, а о раздвижении его границ и сохранении его истоков. Об этом надо упомянуть хотя бы потому, что Ушаков входил в ЛЕФ, где разрушительные тенденции были очень сильны, а рядом с поэтом — в Киеве, потом в Харькове — в 20-е годы «крепость Прекрасного» непрерывно атаковалась украинским панфутуризмом.

Ушаков кое-чем воспользовался из опыта ЛЕФ'а. В частности, ориентацией на производственно-технические прозаизмы, но служили они в стихах поэта не отрицанию классических основ, а их обоснованию, не разрушению старой красоты, а извлечению красоты новой, чтобы она жила рядом.

Когда Ушаков призывал найти новый строй стиха и новую его мелодику для таких, скажем, слов, как «дюралюминий и бетон», «низкая облачность» и «сторожевое охранение», «слесарный цех» и «плавучий док», он имел в виду не только неожиданную поэтичность, которая таится в будничном слове, но и поэтичность стоящих за словом понятий и вещей, которые самоутверждаются именно в таких лексических определениях своего существования.

Пристрастие к прозаизмам, обыденному, позаимствованному из живой речи слову было, в сущности, лишь другой стороной антипатии поэта к надутой высокопарности, красивости, шаблону. Взгляд на поэзию как на открытие, а не привычку, влекущую на стезю заезженных образов, приводил к выводу, что лучше совсем отказаться от эпитета, сравнения, метафоры, чем воспользоваться штампом. «Штамп, — писал Ушаков, — даже возникнув случайно, немедленно вызывает цепную реакцию все новых и новых штампов. По всей вероятности, стих, попав в наезженную колею, уже не может из нее выскочить».[1]

Но Ушаков понимал и опасность превращения удачных находок — при их автоматическом повторении — в самоштамп. Вот почему он, выдвинув тезис всеобщего состязания в поэзии, подчеркивал, что подлинный поэт ведет спор не только с теми, кто писал до него или одновременно с ним, но и с самим собою: со своим вчерашним и даже нынешним днем — за день завтрашний.

Достоверность приметы он считал надежной защитой от штампа и ложной красивости, а способность «схватить» эту достоверность — едва ли не главнейшим признаком таланта. И наоборот: в недостоверности приметы он всегда усматривал, с одной стороны, опасность трафарета, а с другой — не менее опасную способность удовлетворяться ходячими, общепринятыми характеристиками.

В наброске к статье «Работая над прозой» Ушаков приводит вы-

---

[1] Архив Н. Н. Ушакова.

держку из письма И. А. Гончарова к Вл. Бенедиктову: «Это у Вас океан *голубой*, а на самом деле — он серый», — и заключает: «Вот это-то на *самом деле* и составляет энергию стиха и прозы». [1]

Но в какой степени достоверность детали обеспечивает достоверность общей картины? Этот вопрос не раз вставал перед Ушаковым. Вставал не только теоретически. В его собственном творчестве были периоды спада, мельчания, идиллической гладкописи, когда стих, сохраняя деталь, примету времени, терял ощущение его конфликтов и противоречий, другими словами — его подлинной сущности и правды.

В последние годы в лексике Ушакова начали намечаться новые тенденции: не работающие в современном русском стихе слова стали проникать туда как работающие. Если раньше можно было заведомо сказать, что из пары синонимов «конь — лошадь» поэт выберет «лошадь» и остановится на «коне», только когда будет убежден, что ему сразу удастся снизить приподнятый характер слова, то теперь в этом нельзя было быть уверенным. В каких-то — совсем не редких — случаях «презренная проза» как бы остается сама по себе и на авансцену выходят другие, неожиданные для поэтики писателя словосочетания и даже лексические противопоставления:

И на вселенную гляжу
зеницами,
а не глазами.
И в синий космос
выхожу
под голубыми парусами.

Слово «слышит» заменяется словом «внемлет», «огонь» — «пламенем», «берег» — архаическим «брегом», «глаза» — «очами», «пахнет» — «благоухает», «горит» — «пылает»; появляются эпитеты, которые категорически отрицались раньше как слишком «красивые»: «бирюзовые» очи, «изумрудный» свет... Эти романтические эпитеты противопоставляются более достоверным, возникшим в процессе научных наблюдений, иными словами — поэт делает нечто прямо противоположное тому, что он говорил по поводу спора Гончарова с В. Г. Бенедиктовым о цвете океана:

Говорят,
луна не голубая —
темно-серая — в густой пыли.

---

[1] Архив Н. Н. Ушакова.

Но такой себе не представляю
голубую спутницу Земли...
...Стеклышко земных лабораторий,
много ль можешь изменить во мне?
Всё равно, —
моя душа и море
тянутся к лазоревой Луне.

(«Голубые острова»)

Происходит некая полуироническая внешне, а в действительности вполне серьезная попытка найти свободные от быта слова — попытка, которая не была до конца реализована, но имела свое теоретическое обоснование в мыслях, высказанных поэтом в ходе его работы над трактатом «Мастерская»: было время — поэзия устала от когда-то пленявших ее слов, они стерлись, перестали звучать, но теперь восстановили свою былую свежесть и могут опять работать; оружие поэтов «в арсенале всех веков, очень старое оружие становится вновь самым молодым».[1]

Вопросы поэтики занимали Ушакова всю жизнь. Он знал практически все руководства по стихосложению, начиная от «Рассуждений о стихотворстве российском» Н. Николева (1787) до работ М. Гаспарова и А. Колмогорова. Его интересовали стиховедческие идеи Мелетия Смотрицкого и Андрея Белого, В. Тредиаковского и В. Жирмунского, К. Батюшкова и Р. Якобсона, А. Кантемира и В. Маяковского... Выход каждого нового исследования о рифме, ритме, мелодике стиха был для Ушакова событием. Поэт представлял собою довольно редкий тип художника, постоянно нуждающегося в теоретическом обосновании всех своих находок и в строго логическом объяснении того, что сделано интуитивно. Хотя он и был убежден, что практика должна воздвигаться на фундаменте теории, между его теорией и практикой было немало противоречий, причем практика поэта была шире и свободнее его теории.

4

Поэзия Ушакова полемична. «Весна республики», как уже говорилось, была одной из самых *спорящих* книг своего времени. Однако, примыкая то к ЛЕФ'у, то к конструктивистам, поэт выдвигал в первую очередь вопросы, стоявшие в известной мере над схваткой

---

[1] Архив Н. Н. Ушакова.

литературных группировок и касавшиеся некоторых более общих задач, которые приходилось решать каждому участнику всего поэтического движения.

Свой эстетический спор с «соседями по труду» Ушаков обычно вел в целой системе поэтических антитез и образных антиномий.

Одним из таких едва ли не самых крупных противопоставлений было противопоставление реальности близкого и романтики далекого, которое в 20-е годы, особенно в связи с ожесточенными дискуссиями о романтизме, непосредственно затрагивало творчество поэта.

Так где же искать поэзию? «На полярных морях и на южных» или рядом? В поисках неведомого и необычного или в обжитом и обычном? Там, где «быстрокрылых ведут капитаны, открыватели новых земель» или в русле знакомых рек, по которым проплывает то «буксир с почерневшим флажком», то «широкие баржи в дровах», то

землесос
и другой землесос, —
весь в матросском белье караван?

(«Адмирал землечерпалок»)

Хотя в этом программном и спорящем стихотворении 1927 года и вспоминается о том, что «Христофор Колумб ничего себе был моряк», и о том, что «не по рекам ходил Язон добывать золотое руно», поэт, как и его герой, стоит на своем — его не трогает экзотика, он — за баржи, буксиры, землесосы, за то, что рядом.

За три года до «Адмирала землечерпалок» было написано стихотворение «В цирке» (1924) с близким противопоставлением низкого и высокого, поэзии, улетающей к небу, и поэзии, не желающей расставаться с землей:

Хорошо
    на больших вершинах
    с золотистой луной вдвоем.
Но внизу —
    и друзья,
    и машины,
    и стихи
    на столе моем.

Эти три года, разделявшие два программных стихотворения, показывают, как устойчиво владели поэтом определенные эстетические противопоставления, на которые опиралось его творчество. Позже

сама жизнь внесла в них немало поправок, но верность земному, близкому, обжитому или обживаемому осталась.

«Где спящие девы русского романтизма?» — спрашивает поэт уже в «Седьмом поле», и противопоставляет им пушкинскую Татьяну, некрасовскую Сашу, образы, прочно привязанные не к высокому небу или далеким островам в океане, а к повседневности, где художник, с точки зрения Ушакова, и совершает свои самые большие открытия.

В этом трезвом заземлении была сила стихов поэта. Но только ли сила? Не заглушал ли слишком настойчивый клич «Майна!» («Вниз!»), с которым он постоянно обращался к своей музе, другой призыв — «Вира!» («Вверх!»)? Не превращалась ли порой позиция летописца примет своего времени в позицию их инвентаризатора, когда приметы остаются, а ощущение времени, требующее взлета, исчезает?

К счастью, тщательно разработанная теория полного заземления в собственных стихах поэта — во всяком случае его лучших стихах — обычно осуществлялась с поправкой на Мироздание, Вечность, Время, текущее не *от* и *до*, а из бесконечности в бесконечность.

Одно из своих поздних стихотворений, «Сон его в эту ночь был недолог. . .», Ушаков закончил словами: «Я — писавший всю жизнь на земле». Слова «на земле» он подчеркнул. Однако в том же стихотворении неожиданно прозвучал и другой мотив — зависти к человеку, который, преодолев земное притяжение, напишет свои стихи на Луне. Слова «на Луне» поэт тоже подчеркнул.

Это не означало отказа от старой позиции, но нечто новое в этих стихах, как и во всем сборнике «Якоря земли» (1974), проявилось, и для того, чтобы оно проявилось, должны были произойти вполне реальные события, потому что действительно земная поэзия Ушакова никогда не взлетала на крыльях чистого воображения. Она всегда опиралась на реальную почву факта, и, чтобы быть в себе уверенной, ей необходимо было эту твердую почву чувствовать.

Выход человека в космос потряс сознание уже немолодого в ту пору поэта, вынудил его по-другому взглянуть на привычную антитезу низа и верха, земли и неба, на всю шкалу поэтических измерений и отсчетов, которыми он обычно пользовался.

Дело не в том, что в стихи поэта вместе с космической темой вошли тогда и первые, еще робкие, приметы космической эры — лунная тележка, лесенка, по которой астронавт спускается на Луну, светящаяся точка ракетоносителя в ночном небе, — а в самом сдвинувшемся с привычной точки восприятии мира и еще — во вдруг осознанной необходимости вывести поэзию в огромные масштабы Вселенной.

Если в 20-е годы земная предметность стихов Ушакова рожда-

лась в борьбе с отвлеченно-космической поэзией тех лет, то теперь, в 60-е годы, поэт как будто стал возвращаться к тому, от чего раньше отказывался и отталкивался. Но это было возвращение через отрицание отрицания. Графически изобразив его, мы увидим не замкнутый круг, а спираль, витки которой все дальше и выше уходят от отправной точки. И все же — пусть на большой дистанции — встреча с определенными тенденциями поэзии начала 20-х годов произошла.

Конечно, в таких стихах, как «Приморский город», «Голубые острова», «Верен я своей луне навеки. . .», «На Луне», «Праздничное стихотворение», «Ну и Ньютон», «В городе Калуге» — все они относятся к концу 60-х или к 1970 году, — Ушаков лишь начал осваивать новую тему. Она бесконечно волновала поэта не только потому, что была связана с событием века, но и потому, что непосредственно затрагивала один из важнейших аспектов его творчества — антитезу земли и неба. Реальные, на глазах свершившиеся события вынуждали изменить угол зрения, и сама антитеза хотя и не отменялась, но изменяла свое содержание и соотношение противостоящих понятий.

В системе больших противопоставлений, на которые опиралась поэтика Ушакова, едва ли не главное место занимает антитеза малого и великого. Не придавая особого значения тому, в какую литературную группировку входил тот или иной писатель 20-х годов, он интересовался внутренней полемикой между двумя, как он выражался, официально не зарегистрированными школами: изображать ли великое через еще более огромное или через обыденное и малое?

Само понятие состязания в поэзии, к которому постоянно прибегал писатель, относилось прежде всего к этой внутренней полемике. Поэт стремился проследить ее и в прошлом и в настоящем, но, естественно, его в первую очередь интересовало настоящее, а история поэзии должна была лишь подтвердить преемственность современного спора о методах изображения эпохи: как определять великое?

На первый взгляд может показаться — и так в 20-е годы многим казалось, — что Ушаков склонен великое сводить к малому, но весь смысл задачи, которую ставил перед собой поэт, заключался в противоположном: не свести, а выразить, и выразить так, чтобы великое не растворялось в еще более огромном, а было уловлено малым.

Ушаков не раз вычерчивал демаркационную линию, которая разделяла поэтов. По одну ее сторону неизменно оказывались Луговской, Прокофьев, Багрицкий, Антокольский, по другую — Михаил Светлов, Вера Инбер, Николай Дементьев, он сам. . .

Называя тех, кто изображает великое через еще более огромное, он приводит ряд тщательно продуманных примеров. «Пространство,

воспеваемое этими поэтами, — пишет Ушаков, — было так же огромно, как и время. Оно пролегало «от хлопка Туркмении до фабрик Твери», «на тысячи миль долинного зноя» (Луговской), «от Рура до Корнуэльса, от Ревеля до Гавра» (Антокольский), «от Белого моря до Сан-Диего» (Прокофьев), это «над Францией дым, над Пруссией вихрь и над Россией туман» (у Багрицкого)... Огромность масштабов сама по себе не исключала ни конкретности, ни даже подробного ассортимента бытовых вещей. В стихах присутствовали кунцевские сосны и обслуживающие среднеазиатскую посевную грузовики, но стоило поэту назвать их, как фары машин превращались в небесные светила...».[1]

В список противоположных примеров, где великое доказывается не огромным, а малым, Ушаков неизменно включал стихотворение Светлова «Рабфаковка» (1925): «Светлов говорил о Жанне д'Арк и Марии Антуанетте, об Орлеане и Париже, но гораздо важнее для Светлова комната рабфаковки, и даже не комната, а спинка стула, на котором «платье серенькое твое», и рабфаковка становилась у Светлова в один ряд с Жанной д'Арк».[2]

В связи с антитезой «большое — малое» складывалось и отношение поэта к романтизму, в котором ему всегда чудилась опасность отрыва от действительности. Романтизм, говорил Ушаков, заменяет ее условной действительностью, а приметы времени растворяются в бесплотных и поэтически необозримых абстракциях. «Натурализм, — пишет он, — предполагает простое сложение: 1+1+1... множество единиц. Реализм — это сумма нужного минус сумма ненужного. Романтизм всегда умножение — единица, умноженная если не на сто, то на миллион».[3]

Поэт был против простого сложения, но он был и против умножения, он — за отбор нужного и за отсев ненужного. Эта акция предполагала сохранить в нетронутости ту или другую примету эпохи и вместе с тем вырвать ее из инертной массы жизненных, но случайных впечатлений, которые могут лишь затемнить тему: «сумма нужного минус сумма ненужного»...

Поэзии Ушакова были в равной мере чужды и украшательство, и гром труб, заглушающий — так ему во всяком случае казалось — неприметные голоса жизни. Прибегнув к метафоре, можно сказать, что поэт был художником ранней весны — она рождается украдкой, и нужен зоркий глаз, чтобы по едва заметным признакам распознать ее приближение. Кстати, образ весны, которым можно воспользовать-

---

[1] Н. Ушаков, Состязание в поэзии, с. 7—8.
[2] Там же, с. 8.
[3] Н. Ушаков, Седьмое поле. — «Радуга», 1971, № 7, с. 131.

ся для определения одной из характернейших черт творчества писателя, сам входит в круг тех же больших противопоставлений, что и небо — земля, далекое — близкое, великое — малое. Поэтической антитезой весне является в данном случае осень. Конечно, эти два понятия сами по себе не могут быть противопоставлены, но, если их рассматривать как известные символы начала и конца, жизни и смерти, рождения и увядания, они приобретают роль и антонимов и антитез.

Нельзя сказать, что Ушаков не любил осени. Кроме трех вещей разных лет, которые так и называются «Осень» («Рябина в огороде. . .», «Над поздними мальвами. . .», «И тучи, и пасмурно снова. . .»), он посвятил ей много стихотворений, таких, например, как «Дни короче», «Опять на родине» или «Сентября туманы расписные. . .», вобравших в себя ее краски и смутные ее настроения. И все же он никогда не мог бы применить к себе слов пушкинской «Осени»: «Сказать вам откровенно, из годовых времен я рад лишь ей одной». . . Именно с этими строчками, как и со всей концепцией пушкинского восприятия осени — «Мне нравится она, как, вероятно, вам чахоточная дева порою нравится», — он дискутирует своею «Осенью» с ее характерным, установочным началом:

Рябина в огороде
редеет и горит,
и в тот же срок приходит
ангина и плеврит. . .

С кем же спорил поэт? В сущности, это не так уж и важно, потому что спор явно переносился из прошлого в современность и касался не столько Пушкина, сколько определенных настроений, бытовавших в поэзии 20-х годов и чаще всего воплощавшихся в образах осени, ржавых листьев, гонимых ветром, скучного дождика, будней. Вот чему он противополагал целую цепь весенних образов и один удивительно цельный образ — *Весны республики.*

5

Первоначально новая эпоха выражала себя в стихах Ушакова преимущественно через технические приметы или, как он сам их называл, *первоприметы* времени. В сущности, все эти приметы, воспетые в первых книгах писателя, были неотделимы от технического рывка, который переживала страна и вместе с нею вся молодая ее поэзия.

В «Весне республики» такие приметы идут особенно густо. Они укрупнены до размера символа, охватывающего всю композицию стихотворения. Поэт упивается открытием, что «можно написать стихи даже и о буксах, а сказать не только о буксах, но и о Времени, Революции, дорогах, оставшихся позади, но устремленных в будущее».[1]

На первых шагах Ушаков был настолько захвачен машиной и ее будущим, что может возникнуть вопрос: а не заслоняла ли она от него, как в производственном романе тех лет, духовный мир человека и собственный духовный мир? Этого не случилось прежде всего потому, что техническая примета в стихах Ушакова существовала не сама по себе, а как примета времени — той нови, которую революция внесла в жизнь страны, а кроме того, за технической приметой и технической метафорой всегда стоял человек, его воля, ум, активное отношение к миру, мечта о «веке золотом»... Нельзя забывать и о том, что техника, прославляемая стихами Ушакова, была включена в огромный, поющий, сверкающий мир природы. Она как бы примерялась к этому миру и искала с ним гармонии. Стихотворение «Горячий цех» (1931), открывавшее одноименный — третий по счету — сборник Ушакова, было несомненно программным для его творчества и повествовало не о случайном соседстве подсолнуха и домны, а об их дружбе, — сама эта дружба становилась приметой времени, чертой его будущего.

Мысль о дружбе подсолнуха и домны имела и другой — эстетический — аспект. Может ли поэзия индустриального века отразить его приметы и вместе с тем остаться верной голубизне неба, краскам цветка, пению птиц, свету далекой звезды — иными словами, тому, из чего поэты всех времен добывали «сладчайший мед»?

Сегодня этот вопрос может показаться праздным, но он не был праздным для 20-х годов, когда романтическое преклонение перед могуществом машины стало захлестывать советскую поэзию — от Алексея Гастева и других поэтов Пролеткульта до Николая Асеева. Суровый ригоризм поэтических машинопоклонников и недоверие к живой природе, может быть, точнее других выразил Асеев в нашумевшем стихотворении 1922 года «Со сталелитейного стали лететь...», где живой соловей, бессильный «запеть о стальной махинище», уступает место соловью стальному, сконструированному по точным формулам живого, но со своим алгоритмом.

С подобными выводами Ушаков спорил в таких стихотворениях, как «Весна республики», «Фруктовая весна предместий», «Горячий

---

[1] Архив Н. Н. Ушакова.

цех» — особенно, а позже — в стихотворении «Мой соловей» (сборник «Календарь»), написанном, как ответ Асееву:

Есть программа на полную жизнь,
и важней она
многих заданий:
соловьиного соло держись
и степного тюльпана в стакане.

•

Хотя субъективное, лирическое начало очень сильно в стихах Ушакова, пожалуй, не менее сильно их тяготение к эпосу. Сам поэт любил говорить о «малом эпосе», возникшем в недрах молодой советской поэзии. К этому роду литературы он причислял не только баллады Тихонова, Бажана, Светлова, ряд стихотворений Тычины или собственных «Трех ландштурмистов», но и другие свои стихи, где, казалось бы, господствовала лирика.

Вместе с внешними приметами времени, за которыми легко угадывается присутствие человека, в стихи Ушакова входили и непосредственно зафиксированные острым глазом художника черты самого человека революционной эпохи. Когда поэт писал о красном летчике:

И был он *рад*,
что падает за *наши* батареи —

(«Ты входишь в сад»)

это было и актом фиксации духовных примет такого человека. Да и чисто лирические стихи, где Ушаков говорил, казалось бы, только о себе, природе, своих личных состояниях, так же близко соприкасались с внутренним миром его современников. Такое устремление с годами сделалось органической потребностью писателя.

Поэзия Ушакова ясна и прозрачна, но требует умения додумывать и воображать. Целый ряд его стихов строится так, что в поле видимого оказываются только внешние, предельно скупые факты из жизни героя, а сама его жизнь лежит за границами этой скупой информации. Поэт удаляет из стихотворения все лишнее и оставляет, как говорил Хемингуэй, только «абсолютно необходимое и неустранимое». Внимательный читатель Чехова, Метерлинка, блоковской драматургии, он уже давно пользовался не только секретом опущения всего лишнего и ненужного, но и секретом слова, способного внушать представления, выходящие за его пределы. Чтобы убедиться в

этом, достаточно прочесть хотя бы «Трех ландштурмистов», где искусство подтекста доведено до подлинной виртуозности. Как писал в своей книге об Ушакове Виктор Тельпугов, «в этой короткой повести о трех немецких солдатах... дана целая история эпохи, спрессованная поэтом в несколько коротких реплик».[1] Не менее убедительный пример предельной емкости, достигнутой за счет устранения избыточной информации, представляет собой и «Светопреставление». По сути, перед нами целый роман из прошлого, уложенный в двадцать поэтических строк без единого пустого места.

Власть догадки, намека, внезапного обвала повествования не менее сильно, чем в «Трех ландштурмистах» или «Светопреставлении», обнаруживает себя и в таких, чисто психологических, произведениях последних лет, как «Женщина бежит», где вся сложная возможность человеческих взаимоотношений открывается читателю хотя и благодаря слову, но *за* его рамками — вне сказанного: текст обрывается, как пирс перед бегущей женщиной, но здесь-то и начинается главное содержание стихотворения, хотя мы только догадываемся о нем и должны строить его заново, по законам сотворчества и соучастия.

Не раз Ушаков заявлял о своей нелюбви к психологической литературе. «Севастопольские рассказы» Л. Толстого предпочитал «Воскресению», в «Войне и мире» дорожил главным образом страницами, за которыми стояли подлинные факты, например картинами эвакуации Москвы. Гончаров — а его поэт считал лучшим русским прозаиком XIX века — все же был для него сначала автором «Фрегата Паллады», а затем уже «Обрыва», «Обломова», «Обыкновенной истории». «Письма о франко-прусской войне» считал, за исключением «Записок охотника», лучшим из всего, что написал Тургенев.

Однако как ни любил Ушаков фиксировать, казалось бы, только внешние приметы времени, но, в конечном счете, они тоже выводили его к человеку, к его внутренней жизни, к его *Я*. Так, в 20-е годы и несколько позже, когда тема крушения старого мира занимала в творчестве поэта такое исключительное место, он всегда пытался заглянуть в душу человека, представляющего этот падающий мир. Когда он косвенно — от своего и не своего имени — обращался к раскулаченному:

— Ну выходи в такую темь:
с твоею песней кончено.
Конвой в сенях.

[1] В. Тельпугов, Николай Ушаков. Критико-биографический очерк, М., 1961, с. 70.

Бегут на Кемь
зеленые вагончики.
А полночь там —
бледна,
строга,
и звезды все —
потушены.
Одна алынь,
да острова,
да в башенках отдушины —

(«Деревня»)

он не просто обвинял, но и проникал в человеческую драму исторически неизбежного. В равной степени это относится и к концовке «Зеленых», и к «Московской транжирочке», и даже к такой, казалось бы, лирической вещи, как «А мир творился. . .».

Как бы далеко друг от друга ни отстояли эти стихи, но при всем различии тем и замыслов мы не можем не заметить и некоторой общей черты раскрытия образов: поэт стремится войти в чужое и часто чуждое сознание, чтобы увидеть изнутри мир, его породивший.

Здесь Ушаков шел скорее в русле прозаических, чем поэтических исканий советской литературы. Он был внимательным читателем «Перегноя» и «Виринеи» Л. Сейфуллиной, «Вора» Л. Леонова, «Городов и годов», а затем «Трансвааля» К. Федина, не говоря уже о шолоховском «Тихом Доне» и «Поднятой целине». Знакомясь с этими романами и повестями в процессе их публикации, он овладевал особым, выработанным советской прозой тех лет искусством внутреннего постижения гибели старого мира. Его стихам — с их тенденцией к объективизации лирического отношения к действительности — это искусство постижения изнутри было не только близко, но и открывало известные возможности переноса методов прозы в поэзию.

Миру гибнущему Ушаков противопоставил лирические образы, фиксировавшие приметы рождения нового мира, и вместе с тем — образ человека, этот мир творящего. Само обращение то к «малому эпосу», то к поэме было связано с упорными поисками форм, в которых можно было бы шире и объемнее изобразить человека и сосредоточиться на его объективных чертах, освободив их от какого бы то ни было лирического вмешательства.

Ушаков высоко ставил «Улялаевщину» Сельвинского, «Думу про Опанаса» Багрицкого, «Мать» Николая Дементьева, «Страну Муравию» и «Василия Теркина» Твардовского прежде всего за эпические характеры, но ему самому поэмы, за исключением «Московской тран-

жирочки», не давались. В них образовывались провалы, форма «повествования в стихах», к которой настойчиво тянулся поэт, была ему — в противоположность, скажем, Твардовскому — несвойственна, но, самое главное, в ходе такого повествования распылялся характер героя и из героя он превращался в персонаж. Так, в общем, было все время: от «Елизаветы», первой известной нам поэмы Ушакова, до значительно более поздних — завершенных и незавершенных — опытов в этом роде. Поэт терзался, жег свои поэмы, дробил на отдельные стихи, как дробил «Дом» или «Он едет по железной дороге», потом соединял их, как это он делал со «Сказаньем старых времен», но от попыток создать большую и многоплановую поэму не отказывался. Видно, что-то очень уж привлекало его в этом жанре. Этим что-то была человеческая жизнь, судьба. Поэма была нужна Ушакову, чтобы понять человеческую жизнь и — через нее — время, историю.

Оправданы ли были усилия? На этот вопрос не может быть однозначного ответа, потому что творческие поиски, даже не приводя к какому-либо непосредственному эффекту в искомой области, вдруг могут обернуться успехом в другой — соседней: распадаясь на составные части, «Сказанье старых времен» дало ряд отличных стихотворений, в том числе — «Трех ландштурмистов»; уплотняясь, поэма Ушакова не раз трансформировалась в «малый эпос», сильнейшую сторону творчества поэта; скалываясь с больших мозаик, кусочки смальты вдруг ярко вспыхивали в лирических строках, освещая их неожиданным светом вдруг мелькнувшей человеческой жизни.

Трубы судьбы, в сущности, постоянно звучат в поэзии Ушакова, но звук их не всегда различим, может быть потому, что его поглощает ирония, часто скрывавшая грусть или оттенявшая, как у Гейне, страдание или сострадание. Стоит перечесть хотя бы такие разные стихи, как «Счетовод ушел» или «Песню „Дюнкерк“», чтобы увидеть, как много боли и мучительных раздумий стоит порой за иронией поэта.

Ирония, как и будничное слово, служила Ушакову орудием разрушения патетики, к которой он испытывал чувство неизменной антипатии. Он хорошо знал, что нескольких капель иронии вполне достаточно, чтобы придать новую, естественную окраску самой высокой теме, как достаточно одного иронического слова, чтобы фраза, готовая «воспарить», вдруг стала по-земному непосредственной.

Но за иронией и будничным словом сохранялась не только стилистическая функция разрушения патетического трафарета. Без них Ушакову едва ли удалось бы создать свою концепцию «маленького

человека», вне которой трудно понять его поэзию и то личностное начало, что стоит *за* нею и в значительной степени *над* нею.

Концепция эта, начав складываться в «Весне республики» и достигнув полного выражения в сборнике «Мир для нас» (1935), укреплялась и развивалась вплоть до самых последних произведений писателя.

Верный своему принципу — выражать большое не через большое или огромное, а через малое, он распространял его и на своего героя.

В автобиографии Ушаков вспоминает, как в девять лет, начав не со стихов, а с прозы, он написал рассказ под влиянием «Шинели» («Гоголевская повесть «Шинель» поразила меня») о старухе просительнице, которую выгнали из присутственных мест за то, что она наследила мокрыми галошами. Незамысловатый сюжет, но он наметил начало — будущий писатель прикоснулся детской рукой к самому нерву большой темы русской литературы XIX века! Но только ли XIX века? Ушаков многократно высказывал мысль, что конца этой темы пока не видно, только она получает иной поворот, чем во времена гоголевского Башмачкина или чеховского Червякова. И он искал этот поворот, отталкиваясь от поэмы, которую считал едва ли не самой великой в истории русской литературы, — от «Медного всадника».

В разное время Ушаков по-разному относился к коллизии пушкинской поэмы. Иногда ему казалось, что историческая правда на стороне Петра, как общего начала, но тотчас возникал другой вопрос: а как же быть с простой человеческой правдой Евгения и что, в конце концов, важнее — величие дворцов Санкт-Петербурга или маленькое счастье одного безвестного существования — «забор некрашеный, да ива и ветхий домик»? Еще чаще Ушаков возвращался к мысли, что из «ужо тебе», брошенного обездоленным героем в лицо грозного царя, выросло могучее движение последующих десятилетий, а если так — значит, на стороне Евгения была не только частная правда одной растоптанной жизни... Но как бы ни билась мысль поэта над решением задачи, заданной пушкинским «Медным всадником» будущим поколениям, он шел к своему пониманию темы «маленького человека».

Если «Московская транжирочка», при всем ее изяществе и печальном обаянии, вся была в русле традиции темы «маленького человека», то в других вещах — и более ранних, и более поздних — Ушаков в споре с этой традицией строит концепцию, характерную для советской литературы тех лет, — маленького большого человека, рожденного революционной эпохой. При такой постановке вопроса проблема маленького человека если и не исчезает, то снимается,

а следовательно, полностью преобразуется. Остаются скромные профессии, ничем, казалось бы, не отмеченное существование, но только казалось бы, потому что в грозные годы, когда «история на кругозоре» и решаются судьбы народа, маленький герой становится героем в полном значении этого слова.

Семен Семенович — главное действующее лицо небольшой поэмы 1933 года, носящей далеко не случайное и даже вызывающее название «Герой», — свершив в годы гражданской войны внешне скромный, но по существу большой поступок, за который он легко мог бы поплатиться жизнью, как будто и продолжает свое бесцветное существование, но оно уже навсегда наполнилось новым содержанием — ощущением яркости своего *Я* и яркости мира, бушующего за окнами чердачной комнаты, где сначала прозябал, а потом жил этот «внучатый племянник» [1] пушкинского Евгения.

Избрав героем своей поэмы, как и ряда стихотворений, человека самой скромной профессии (в данном случае счетовода), Ушаков не для красного словца подчеркивает его генетическую связь с Евгением. «Медный всадник» служил поэту отправным пунктом для истолкования судьбы маленького человека в новую эпоху именно потому, что в этом великом произведении она была рассмотрена в масштабах самого большого конфликта — единицы и истории.

Как разрешается такой конфликт в наше время? Этот вопрос бесконечно волновал поэта, и, пытаясь ответить на него, он искал героя, жизнь которого, несмотря на свою внешнюю малость, становится неотъемлемой частью огромного поступательного движения — истории, революции, в них и благодаря им раскрывается наиболее полно.

Концепция положительного героя сложилась в творчестве поэта в 20-е годы, он остался ей верен и в последующие десятилетия, особенно пристально искал ее подтверждения в событиях Отечественной войны. В своих военных сборниках, обращаясь к теме подвига, он редко отказывается от избранного пути: его любимым героем, как и раньше, остается скромный, не ищущий славы, но верный своему долгу человек — партизанка-радистка, на голос которой идут краснозвездные самолеты, санитар, выносящий раненых с поля боя, а то и просто дежурная домкома, которая всю ночь простоит у ворот, чтобы в случае воздушной тревоги разбудить уснувших людей.

Но представления Ушакова о человеке все же значительно драматичнее, чем это может показаться. Ирония и оптимистический контекст его поэзии скрадывают горькие, трагические ноты, но они звучат, и звучат совершенно явственно.

---

[1] Архив Н. Н. Ушакова.

Тема жизни и смерти то более, то менее зримо — как бы вторым планом — вторгается в стихи поэта, и хотя все в них говорит о торжестве жизни, тень смерти нет-нет да и скользнет по их сверкающей, порой, может быть, и слишком сверкающей, поверхности.

Как ни хотелось иногда Ушакову намертво прикрепить стихотворение к той или иной непосредственной примете времени, как ни сторонился он общих проблем бытия, опасаясь их разрушающего воздействия на зримую конкретность образа, они врывались в его поэзию, и именно тогда, когда они врывались, она приобретала подлинную глубину, которой ей в других случаях не хватало.

Хотя Ушаков и был в свое время увлечен поэмой Николая Дементьева «Мать», где смысл одной человеческой жизни окончательно просветляется ее концом, в своих статьях он склонен был недооценивать такие выходы в большие масштабы бытия, в контрасты, конфликты, противоречия, не всегда разрешимые или разрешимые слишком дорогой ценой исторических проб и ошибок, и, сводя поэзию преимущественно к летописной записи примет своего времени, сужал ее возможности. Однако на практике, в лучших вещах поэта все складывалось по-другому: здесь малые величины не только отражали величины большие или безмерно-огромные, но и обретали в их близости свое совершенно новое существование, подобно тому как обретают его будничные подробности стихотворения «Дезертир»: чайник тончайшей жести, синий кипяток, свинцовые блюдца, пайковый хлеб, фуфайка осужденного на смерть — в свете звезды, что висит над расстрелянным:

Свистят пустые поезда,
на полках —
тощая бригада.
Над мертвецом висит звезда,
и ничего звезде не надо.

Особенно драматические узлы поэзии Ушакова обычно завязываются там, где «линия судьбы» одной жизни пересекается, как в «Медном всаднике», с дорогой истории или в силу тех или иных обстоятельств оказывается на пороге бытия и небытия. Этот порог может совпасть с трагическим перекрестком истории, но к нему может подвести человека и болезнь, исчерпанность биологических ресурсов, старость. Не о такой ли самой обычной и, может быть, потому особенно обнаженной драматической ситуации написано печальное и вместе с тем просветленное стихотворение «После больницы» (1973)

с его горьким и прямым вопросом: «Что же осталось мне от мира, который за моим окном»?

Остался юг, остался север,
остались запад и восток,
остались искры в стратосфере
моих надежд, моих тревог.
Все стороны, все государства
глядят ко мне, в мое стекло.
Не ограничено пространство,
но время, время истекло...

Драматизм разлуки с жизнью остро осознавался поэтом. Вместе с тем его стихи — даже самые горестные — никогда не оставляли безрадостного чувства. «В окно влетела птица — я умру» — так начиналось стихотворение «Во время болезни» (1934), однако уже следующая строка, «но котлованы роют на ветру», уводила воображение к тому, с чем раостается человек, и это оказывалось сильнее, сильнее не только образно, эмоционально, но и в самой философской основе конечного своего вывода. В ключе этого просветленно-оптимистического вывода написаны «Траурные трубы журавлей» (1930), «Последний поезд» (1934), «Счетовод ушел» (1934), «Семен Прохорович» (1973)... Нет смысла перечислять дальше, потому что, в сущности, все творчество Ушакова есть утверждение жизни, побеждающей небытие.

Противоречие жизни и смерти, непреодолимое в границах одного человеческого существования, все же преодолимо в границах жизни как беспредельно-огромного целого, где все связано друг с другом и все связаны друг с другом, в том числе и те, *кто был*, с теми, *кто есть* и *кто будет*. В конечном счете важно, *что остается* от человека, пусть самого незаметного и маленького. Размышлениями об этом и проникнуты стихи Ушакова.

Разумеется, драматизм «Последнего поезда» или таких стихов, как «Траурные трубы журавлей», «В окно влетела птица...», «Счетовод ушел», не говоря уже о замечательном «После Дюнкерка», тесно связан с их темой и не мог быть распространен как требование на стихи с иной тональностью, скажем на восторженную и ликующую «Фруктовую весну предместий» или целый ряд других, условно говоря, одических произведений.

Но как раз эти произведения, оттеняя драматические стихи, гармонически сочетались с ними — сочетались потому, что оптимизм лежал в основе всего творчества поэта. Это сразу безошибочно почув-

ствовало первое поколение читателей Ушакова, которому равно были близки и его «оды», и его трагические строки.

С темой человека, раздвинутой до масштабов мира и человечества, оказались связаны и верлибры, к которым Ушаков — спустя пять с лишним десятилетий — вновь обратился в последние годы своей жизни. В одном из них («Шагреневая кожа») он достаточно определенно говорил об огромном изменении масштабов, к которому его подвело время. Невозможность не думать сегодня в глобальных масштабах и стала, очевидно, побудительной причиной поисков таких неклассических форм стиха, которые позволили бы выразить до крайности напряженные корреляции внутреннего мира художника и всеобщих, охватывающих земной шар и человечество процессов.

Механизм верлибра глубоко интересовал поэта, но в своих многочисленных теоретических высказываниях он касается преимущественно версификационных и композиционных особенностей свободного стиха. Его внимание целиком привлечено к закономерностям упорядоченного беспорядка, а не к вопросу — в чем заключается притягательная сила верлибра и с какими модификациями поэтического зрения он сегодня связывается. Об этом говорят его собственные верлибры. Напечатанные как цикл в книге «Якоря земли», они должны были быть дополнены рядом новых стихов, над которыми Ушаков работал до конца своих дней, о чем, в частности, свидетельствует верлибр «Ветер. Ветер», под которым в рукописи стоит пометка: «6.VIII.73, Таллин — 20.IX.73, 5 утра, Киев».

Обращаясь к свободному стиху, он едва ли ощущал исчерпанность старых классических размеров, он и в границах их чувствовал себя достаточно раскованно.

Оскудение словаря рифм он чувствовал сильнее. «Русская поэзия, — замечает он, — давно тяготилась не только такими навязывающими образ рифмами, как «любовь — кровь», «море — горе», но даже богатой и ненавязчивой рифмой «головой — живой», «другая — пугая», то есть уже самим звучанием и, значит, классической системой рифмовки вообще».[1] Вместе с тем, полагая, что реформа конечных созвучий, начатая Маяковским, завершилась в 60-е годы, он считал, что сегодня перед рифмой, сдвинувшейся влево от опорной согласной, открывается новая гармония, предоставляющая поэтам новую свободу «тематических действий».[2]

Вспомнив смелые и полнозвучные рифмы самого Ушакова, обогащенные за счет прозаизмов, мы убедимся, что такой свободой

---

[1] Архив Н. Н. Ушакова.

[2] Н. Ушаков, Седьмое поле. — «Радуга», 1971, № 12, с. 128.

тематических действий он пользовался давно и едва ли чувствовал себя и в этом отношении связанным. В частности, немалые ритмические перспективы перед его поэзией открывала разноударная рифма, к которой он достаточно часто обращался, и рифма, восходящая к народному стихосложению. Если к разноударной рифме поэта толкнули опыты Хлебникова, то неожиданность конечных созвучий народной поэзии привлекала его не меньше:

Твою любимую не видно —
Она в другую волость выдана —

читаем мы в одном из стихотворений неопубликованного цикла «Октябрьская любовь» (1923—1924). Поэт отлично понимал не только звуковое, но и ритмическое значение подобных ходов, тщательно изучал их на примерах рифмованных поговорок, дум, народных песен, стихов Шевченко, Тычины и широко применял и в собственном творчестве. В общем, он субъективно не испытывал ощущения исчерпанности старых ритмических форм, использующих рифму. Рифму поэт любил, и для него она была орудием бесконечных возможностей ритмического многообразия. Неудовлетворенность рифмой, заставившая его в последние годы обратиться к свободному стиху, объясняется не чувством ее звукового, тематического или ритмического оскудения, а другой причиной, которую он попытался определить в небольшом стихотворении 1973 года «Поединок»:

Признаться, — рифмы надоели:
без секундантов на дуэли
к барьеру делают шаги...
Сошлись...
стреляют...
не стреляют —
друг другу руки пожимают;
навек друзья,
а не враги.

Теперь становится понятным, что именно начало уводить Ушакова от рифм, — это их звуковая согласованность, мешающая или якобы мешающая воссоздать контрастную напряженность душевного мира художника.

Это чувство контрастной напряженности, которое в известный период утратило свою драматическую интенсивность, вновь стало возвращаться к поэту в последние годы жизни. Вехой перелома была

книга «Я рифмы не боюсь глагольной» (1970), приблизительно совпавшая с семидесятилетием писателя. Но так уж устроен человек, что надо было пережить еще и тяжелую болезнь, внутреннее потрясение, чтобы ощутить суетность слишком, может быть, благополучного существования. Время, которое истекло, заставило отказаться от многого, и в первую очередь от выравнивания стиха и слова на благодушные иллюзии. Оставался один большой вопрос: каким я покидаю мир и что сохранится от меня и от людей, которые ушли или уйдут из него точно так же, как и я?

Конечно, чувство диссонансности бытия и собственного существования характерно не только для таких верлибров поэта, как «Шагреневая кожа», «Ветер. Ветер», «Семен Прохорович», «Футурология», но и для многих стихов со строфой и рифмой, написанных приблизительно в то же время, например «После больницы», «Налеты усиливаются», «Сентябрь — 1973», однако это только лишний раз подтверждает, что именно общее состояние душевной напряженности побудило поэта обратиться к неклассическим формам стиха, способным это состояние выразить в самом потоке диссонансно сочетаемых слов и образов. [1]

6

С появлением первых книг Ушакова его тесная связь с огромным поэтическим опытом всей русской литературы сама по себе считалась безусловной. А вот внутренние контакты его творчества с живописью, искусством кино, а в последние годы — с музыкой оставались, за редкими исключениями, вне внимания критики. Между тем и в автобиографии, и в ряде статей поэт неоднократно говорил о значении этих контактов для своего развития.

Если в юности Ушаков был увлеченным почитателем оперного искусства Рихарда Вагнера, помогавшего ему как бы растворить свое «малое *Я*» во «вселенском *Мы*», а в старости таким же увлеченным слушателем музыки Иоганна Себастьяна Баха, о котором писал: «слышу, чувствую, вижу» — и эта музыка опять возвращала поэта к его по-новому осознанному «малому *Я*», то счастливая встреча с кино как бы подтверждала саму природу его поэтической мысли,

---

[1] О новой диссонансности сочетаемых слов и образов как характерном признаке верлибра см. статью В. Адмони «Свободный стих и традиционные формы организации стиха» в его книге «Поэтика и действительность», Л., 1975.

искавшей зрительного и одновременно подвижно-динамического выражения своей сущности.

Ушаков был не только увлеченным кинозрителем. В молодости он сотрудничал в одной из киевских газет в роли еженедельного кинообозревателя. Был автором трех книг о киноискусстве. Писал сценарии для только что построенной Киевской кинофабрики.

Хотя сценарии ему не давались, но кино влекло его не зря и работа в нем не проходила впустую. Вырабатывалось особое зрение, когда из строки, как из кадра Довженко, выбрасывалось все лишнее и отвлекающее. Обычное для кинематографа чередование ближних и дальних планов позволяло решать по-новому вопрос об образе в пространстве. Осваивалось искусство предельно крупного выделения детали. Действительно, для того чтобы написать стихотворение «Большое полотно» (1935):

Лошадь в травах жестковатых
ничего не говорит.
Небо. Насыпь. Экскаватор.
На тележках грабари.
Глину, колымажки эти
отражает конский глаз.
Хорошо, что есть на свете
тихие друзья у нас, —

грамматику поэзии должна была дополнить грамматика кино с его характерной пластикой, аналитическим расчленением общей картины на составные части и неожиданным возвращением к целому. Собственно говоря, только две последние строки не могут быть расписаны как кадры стихотворного сценария. А может быть, уже и не сценария, а миниатюрного фильма!

И, наконец, монтаж — он особенно интересовал Ушакова как определенный и в какой-то степени всеобщий принцип современного поэтического мышления. Поэт доказывал, что его стихи рождаются из многих разновременных впечатлений, которые до поры пассивно хранятся в памяти, но в какой-то миг под воздействием сильного психического импульса вдруг складываются воедино — в цельный и законченный замысел. Происходит, замечает писатель, монтаж многих впечатлений, которые существовали врозь, а теперь соединяются, подобно впрок отснятым кадрам, в некое новое и «целеустремленное единство».

И все же как бы много ни взял поэт от музыки или искусства кино, но в своих настойчивых поисках зримого и, как это ни странно,

звучащего и подвижного образа, живущего не только в пространстве, а и во времени, он, как художник, ближе всего соприкасался с живописью и ее особым — чисто зрительным — восприятием действительности.

В набросках к статье «Искусство поэзии», коснувшись вопроса, чему может научить живопись поэзию, Ушаков рассказал, как однажды в итоге посещения одного из московских музеев родился удивительно лаконичный и динамический образ стихотворения «Березы в марте»:

В какой далекой гавани,
как вдовы рыбаков,
куда они,
куда они
бредут *вдоль* облаков?

«Стоило, — заключает поэт, — побродить несколько часов по музейным залам, чтобы найти это короткое, но выразительное *вдоль*».[1]

Для Ушакова увидеть предмет значило определить прежде всего его цвет или ту цветовую гамму, из которой он как бы возникает.

Крайне обостренное чувство цвета заставляет предположить, что поэт обладал не только удивительной способностью видеть краски и оттенки, где мы их обычно не замечаем, но и особой внутренней настроенностью к такому цветовому восприятию мира.

Хотя в стихах Ушакова не так уж и мало примеров чисто графического решения темы, когда словесный образ становится видимым в результате черно-белых контрастов, но эти контрасты нестатичны, изменчивы и, скорее всего, воспринимаются как непрестанное движение света и сгущенных теней:

Летучим пеплом серебря
булыжник площади раздетой,
спешат
снежинки января
в сраженье темноты и света.

В кочующих столбах зимы
жаровни стрелочниц застыли.
Пустыми фарами
из тьмы
одни летят автомобили.

(«Зимние ямбы»)

---

[1] Архив Н. Н. Ушакова.

Это движение настолько неустойчиво и непостоянно, что все время ждешь внезапной вспышки так называемых дополнительных цветов спектра, и они, действительно, вспыхивают, окрашивая предмет или, как в живописи импрессионистов, тени предметов в красный, зеленый, оранжевый, синий, желтый тона.

В стихах Ушакова цвет, как правило, неотделим от света. Цветовое видение мира, столь характерное для его поэзии, на поверку оказывалось и световым видением. Свет выявлял цвет предметов и определял, как в стихотворении «Дождь», колористическую разработку деталей и, в сущности, всей картины.

Насколько неотделим для Ушакова цвет от света, свидетельствует и одно из самых поздних его стихотворений — «На флейте водосточных труб». Ночной дождик, попадая в луч уличного светофора, мгновенно теряет свою бесцветную серость:

На массиве,
заселенном
сумраком и тишиной,
красный дождик стал *зеленым*,
тронув светофор ночной.

Конечно, эти строчки почти программны для поэта! Его воображение, в свое время пораженное появлением красного, от руки раскрашенного флага на мачте черно-белого эйзенштейновского «Броненосца „Потемкина"», знало силу таких внезапных цветовых вспышек, но вместе с тем в этих строчках и весь характер особого устройства глаза поэта — цветового и одновременно светового восприятия мира. [1]

Яркое и необычное цветовое ви́дение мира с самого начала, с «Весны республики» и до «Якорей земли», было прежде всего обостренным ви́дением своей эпохи. Когда читаешь стихотворение «Дождь» (1931):

Дождя золотистая сетка
так близко —
достанешь рукою.
Как тихо скользит вагонетка!
Лицо у шахтерки
какое! —

---

[1] Более подробно об этом см. в моей книге «Остаются стихи» (М., 1979, с. 183—202).

или стихотворение «Улица яблонь», написанное в Узбекистане в разгар Отечественной войны:

Там — за глиняным военкоматом —
темно-синий стоит апрель.
Персик цветом горит красноватым,
розоватым —
как карамель, —

то видишь, как стягиваются краски к тому или иному образу конкретного времени — в первом случае это Донбасс начала 30-х годов, во втором — военкомат, — чтобы стать цветовой средой того, что поэт определил в названии своей итоговой книги словосочетанием: «Мой век».

«Мой век» вышел незадолго до смерти писателя. В известной мере эта книга вместила все лучшее, что им было создано почти за полстолетие литературной деятельности. Говорю — в известной мере, так как за пределами книги остались не только стихи, предшествовавшие «Весне республики» или созданные уже после сдачи «Моего века» в издательство, но и многие прекрасные вещи, не вошедшие в сборник по иной причине — кажущегося несоответствия его названию.

Вместе с тем «Мой век» был итоговой книгой поэта не только потому, что как бы подводил черту под его полувековой работой, но и потому, что за этой чертой уже намечались некие принципиально новые горизонты и, как верно отметил критик Адольф Урбан, выпустив свою большую книгу, Ушаков «начинал новую работу с чистой страницы».[1]

Это не означало отказа от твердых эстетических принципов, которыми писатель руководствовался на всем своем пути, но стремление понять жизнь как великое целое, где все связано и ничто не должно бесследно исчезнуть, неизбежно вело к переносу акцентов с предметно-бытовой детали как главного средства запечатлеть время на те напряженно-драматические состояния человеческого духа, которые тоже выражают время и вместе с тем разрывают его завесу.

Тенденции к такому изображению жизни намечались в творчестве поэта и раньше, но именно итоговая книга подвела его, с одной

---

[1] Адольф Урбан, Последние стихи Николая Ушакова. — Сб. «О Николае Ушакове», Киев, 1977, с. 243.

стороны, к осознанию исчерпанности некоторых уже многократно использованных им подходов к действительности, а с другой стороны — к несомненному предощущению новых, значительно более богатых возможностей поэтического познания мира в его связях с миром своего внутреннего *Я*.

Высказав как-то мысль, что поэт, родившись однажды, всю жизнь стремится родиться во второй раз, Ушаков, быть может, и не всегда уверенно, но упорно шел к этому своему второму рождению. Перед ним вновь, как в дни юности, лежала чистая страница. Казалось бы, все складывалось так, что она будет заполнена. Обострилось поэтическое зрение. Восприятие человека, которому уже под семьдесят, а затем — семьдесят и за семьдесят, поражает своей трепетностью, чистотой и свежестью. Слово, приученное скрупулезно фиксировать видимое, вещное и предметное, вот-вот готово было освободиться от слишком мощного притяжения вещей, чтобы подняться ввысь и охватить целостность бытия в его не только вещной предметности, но и в тех его проявлениях, которые в вещную предметность не укладываются. Тут было все, что он увидел и пережил, и то, что еще предстояло пережить по-новому. Его *Я* обретало истинную свободу, и тревожное чувство недоосуществленных возможностей стало сменяться чувством возможного их осуществления. И как раз здесь жизнь поэта в результате нелепой случайности оборвалась.

Он умер в ночь на 17 ноября 1973 года в одной из палат киевской Октябрьской больницы.

* * *

Сколько бы ни прожил подлинный художник, одной — даже очень долгой — жизни оказывается мало для осуществления всех его замыслов и внутренних возможностей. Мало хотя бы потому, что мир изменяется вместе с жизнью человека и требует от искусства не только новых тем, но и новых решений.

Ушаков был подлинным художником — тонким, трепетным, всегда не удовлетворенным тем, что пишет или уже написал. Он пристально вглядывался в жизнь и в себя самого, как бы спрашивая: поспевает ли он за нею и не ускользают ли от него ее изменения, способен ли он выразить их так же молодо и свежо, как в начале, когда создавалась «Весна республики»?

Отвечая однажды на вопрос, что остается от поэта после его смерти, он уверенно сказал: «Остаются стихи». Стихи, в которых воплотилось время и люди, идущие сквозь время к своему буду-

щему. С этой позиции он и оценивал все, что успел создать за пятьдесят лет упорного труда, не отказываясь от того, что сделал, и не забывая о том, что предстоит сделать завтра.

Поиски новых поэтических решений были продиктованы мыслью об этом завтра и выражались прежде всего в стремлении к синтезу предметности, которую поэт понимал как сумму конкретных примет нашего времени и той высокой духовности, которую его предельно заземленная поэзия осознала теперь как характерную черту новых устремлений человека XX столетия.

Поэзия Ушакова запечатлела свое время. К этому прежде всего и стремился поэт. Но он хотел, чтобы она передавала людям не только ощущение того, что было или есть, но и того, что будет.

Если, считал Ушаков, читатель будущего скажет о стихах поэта: «Узнаю тебя, жизнь!» — значит, поэту удалось осуществить свою самую трудную задачу — связать время, преодолеть бренность одного человеческого существования, чтобы навсегда остаться с живыми и с самой жизнью.

Евг. Адельгейм

ОТ КНИГИ К КНИГЕ

⟨Автобиография⟩

Родился я в Ростове Великом 6 июня 1899 года, рос на Севере России, учился на Украине, в Киеве, где кончил гимназию и юридический факультет Института народного хозяйства.

Однако юристом или хозяйственником не стал. Разнообразные занятия возбуждали мое любопытство, многие профессии нравились, и только в годы зрелости я понял, что к каждому из этих занятий, к каждой профессии меня влекла заключающаяся в них поэзия живой жизни.

Впервые попытался писать в девятилетнем возрасте.

Гоголевская повесть «Шинель» поразила меня, увлекли гончаровские очерки путешествия: я начал с прозы.

Старуха-просительница наследила мокрыми галошами в присутственных местах и ее выгнали. [1]

Герой же моего географического романа в середине общей тетради успел лишь сложить чемоданы и не добрался до Одессы, откуда должен был идти в кругосветное плавание, так как автор перешел на поэзию.

Одно из первых моих стихотворений было о Бородинской битве, столетие которой тогда приближалось.

В печати выступал еще будучи студентом.

---

[1] Старуха в присутственных местах из детского моего рассказа впоследствии дала начало моим стихам о счетоводах. Они, эти счетоводы, вышли из гоголевской «Шинели», но обрели новый путь — «у нас машинистки ходили в дозор, рубились бухгалтера», а среди великих наших дел было и — бухгалтерское дело.

В одно из июльских воскресений 1923 года я купил в Киеве у Золотых ворот местную газету «Пролетарская правда» и нашел в ней свое стихотворение «Россия», затем вошедшее в книгу «Весна республики» под менее громким названием «Кумыс».

Тогда дорогая для меня строфа —

В автомобиле мне неловко.
Я лошади калмыцкой рад, —
не кажется ли, что толстовка
лишь укороченный халат —

оказалась выброшенной.

Таким образом, первые напечатанные стихи принесли огорчение, но завстихами, удаливший строфу, был прав: «дремотная Азия» безвозвратно уходила, жизнь и живая поэзия выдвигали иное. Редактор киевской «Пролетарской правды», а затем московской «Комсомольской правды» Тарас Костров требовал от нас чувства нового, на первых порах — рабочей и производственной тематики.

С благодарностью вспоминаю и его, и всех тех, с кем сообща учились пропаганде великой нашей современности. Хорошей школой был и рабкоровский клуб при газете «Пролетарская правда».

Уроки грамматики чередовались здесь с лекциями о немецком экспрессионизме, а доклады по проф- и ревдвижению — с учением о метре и ритме.

Победа советского водомера над заграничным, одержанная киевским заводом «Физико-химик», становилась «Илиадой» «Пролетарской правды» и всех ее сотрудников. Так возникали наши производственные оды. Но восторг и раздумье — всегда соседи, и так рождались наши элегии.

Сейчас кажется — мы писали тогда коллективно, дополняя друг друга, воодушевленные единым стремлением — как можно полнее запечатлеть то, чем была насыщена вся атмосфера современности.

Под Киевом, от Поста-Волынского и почти до Святошина, вытянулось огромное, заросшее травой кладбище паровозов. Не раз случалось мне проезжать вдоль бесконечной череды остывших локомотивов, смятых котлов и обгорелых тендеров. Это было символом отшумевших страстей, образом человеческих судеб и дорог, забытых или оставшихся позади и все же устремленных в будущее. Я видел все это не раз, но поэтическая цель открылась, когда один из моих товарищей — рабочих корреспондентов — обронил неизвестные изящной литературе точные слова — почти термин — «кладбище паровозов».

Живое слово и живая картина, соединясь, дали поэтическую вспышку, и в этом, как всегда, — начало стихотворения.

В данном случае ему не хватало неуловимого, но определенного чувства симпатии, конечно, не столько к паровозам щукинским и сормовским, сколько к старикам, сделавшим свое дело ради молодого и нового. Такой поэтический подтекст неожиданно подсказал Чайковский, слышанный в тот же вечер, особенно музыкальная тема знакомой с детства песни «Во поле березонька стояла. . .», впервые прозвучавшая для автора со всей мощью и выразительностью большого и слаженного оркестра.

С благодарностью вспоминаю гостеприимную редакцию киевской военной газеты «Красная Армия». Ее последовательно редактировали Г. Коренев, М. Серебрянский, М. Гус. Наши военные редакторы постоянно напоминали, что боец, как, впрочем, и любой читатель, предпочитает декларациям конкретное изображение.

Весной 1923 года мы, группа киевских начинающих поэтов — Анатолий Волкович, впоследствии переводчик на украинский язык Грибоедова и Бальзака, Лев Длигач, Евгений Нежинцев, Сергей Сац, Борис Турганов, Игорь Юрков и — единственный среди нас прозаик — Ольга Юркова — образовали литобъединение «Майна». Само название «Майна» — «опускай», «вниз» — говорило о программном желании быть ближе к земле.

Советская русская поэзия рано лишилась больного туберкулезом Игоря Юркова. Это был первоклассный поэт — точных слов и цельных образов.

Мы ловили себя на том, что поэтические интонации Юркова становятся нашими интонациями. Возможно, без его стихотворений не были бы написаны мои «Весна-уборщица» и «Лес рубят». Я обязан Юркову и ранним знакомством с творчеством Тычины — поэта, которого немыслимо не любить, у которого нельзя не учиться неповторимости строки, стихотворения, книги.

Студент Индустриального института, будущий инженер релейной службы и переводчик Коцюбинского, Франко и Шевченко, погибший в ленинградскую блокаду Евгений Нежинцев проходил практику в мастерских Юго-Западных железных дорог. Он приносил стихи о воскресающих паровозах и о подымающихся с больничных коек металлистах.

Не помню, до его «Рейса» («Крутой вираж, уходит глубина. . .») или позже написан мой «Мотоциклет» («Круговороты и виражи. . .»), скажу только — творческая перекличка между майновцами была постоянна и, думаю, полезна для каждого из нас.

Я уже печатался не только в Киеве, но и в Харькове и в Одессе. Москва же упорно не давалась. «Красная нива» (не знаю, почему я выбрал для своих дебютов именно «Красную ниву») молчала. «Рабочая Москва», отвергая «Кладбище паровозов», откликнулась быстрой открыткой: «Думайте, о чем пишете. Читайте Пушкина».

Я вел занятия по теории стихосложения в киевском Доме печати, и уже намечались будущие статьи о поэтике, развивающейся во времени, и о жизни, управляющей поэтикой. [1]

Мои агитпьесы шли на синеблузной сцене. Приходилось мне выступать и со стихотворным фельетоном в газете. Иногда мы писали фельетон вместе с будущим переводчиком и редактором многотомных переводных изданий Б. Тургановым и подписывались начальными буквами наших фамилий — Т У Ш. Вскоре нас сменили поэты, затем фельетонисты и драматурги Тубельский и Рыжей. Так родились Братья ТУР.

В начале 1924 года в Киев приехал Маяковский. Посадив нас на эстраде, он читал о хорошем отношении к лошадям (к лошадям ли только?), запросто приглашал солнце на чай, зачитывал приказы по армии искусств, громил и агитировал.

Мы ощущали, что стихи Маяковского возникают в споре за новейшее, справедливейшее, и постепенно вырисовывалась собственная программа:

Кто смеет говорить о смерти,
когда в республике весна!

(1924)

Мир незакончен
и неточен, —
поставь его на пьедестал
и надавай ему пощечин,
чтоб он из глины
мыслью стал.

(1935)

Мне угрожали
бомбой водородной, —

[1] «Узнаю тебя, жизнь!» (Статьи). «Радянський письменник», Киев, 1958.

я ж показал,
да и не в первый раз,
что всё же есть на свете
благородный,
совсем другой энергии
запас.

(1946)

А я писал всё время о любви —
к глухим разъездам,
к старым счетоводам,
к полузаросшим,
но проточным водам,
и все тропинки вдаль меня вели...
Моя любовь
были веков разведка...
Пусть не всегда звенели соловьи,
пусть розы расцветали слишком редко,
но о любви писал я,
о любви!

(1961)

Начинались паломничества в Москву.

Меня радовало свежее утро (киевский поезд приходил утром) московской ранней осени, когда небо необыкновенно ясно и особенно румяны кирпичные брандмауэры. Я любил в московские зимние вечера зеленые язычки газовых фонарей над чистым снежком. В Москве нравилось все — начиная от колесницы Аполлона на фронтоне Большого театра до уличных ларей, в которых работники трамвая держали песок.

«Красную новь» я застал в одном из переулков у Мясницкой.

— Мне товарища Вронского! — сказал я, стараясь быть дерзким.

— Вронский у Толстого — у нас Воронский, — поправил меня благожелательнейший корректор журнала, если не ошибаюсь, В. И. Казанский, и крикнул: — Александр Константинович, еще начинающий!

Не прошло и минуты, как я сидел перед Воронским, читавшим мои стихи.

Воронский направил меня к завстихами «Красной нови» Василию Казину, а Казин — в «Комсомольскую правду» к Иосифу Уткину.

Посещая огромный газетный комбинат на улице «Правды», всегда вспоминаешь те годы, литературный отдел недавно родившейся комсомольской газеты — тесную жилплощадь с полукруглым чердачным окошком и низкий подоконник, на котором часто сиживали Эдуард Багрицкий и Михаил Голодный, Николай Дементьев и Джек Алтаузен, южане и северяне, левантийцы и дальневосточники — все мы. Единственный стул предоставлялся Маяковскому или Асееву, но вежливый Асеев и еще более вежливый Маяковский на завовский стул не садились.

Внизу Черкасский Малый,
Никольская у ног.
Мы все провинциалы,
но дайте песням срок.

И эти песни надо
не долго ожидать, —
светловская «Гренада»,
дементьевская «Мать»!..

Н. Асеев пригласил меня сотрудничать в журнале «Молодая гвардия». Затем стихи мои стали появляться в «Октябре», «Красной нови», «Новом мире», «Прожекторе», «Новом ЛЕФ'е» и в ленинградской «Звезде».

Еще одним жизненным университетом были для меня путешествия по родной стране. Мне случалось ходить пешком по Балкарии и Осетии, бродить по Хибинам и Карпатам, ездить верхом по Алтаю и на грузовике по Кызылкумам, спускаться на плоту по Бие и преодолевать днепровские пороги на лодке.

На мою долю выпало высокое счастье видеть рождение городов, электростанций, каналов и морей — строящуюся страну.

«Весна республики» — первая моя книга, которой Н. Асеев предпослал короткое, но лестное для меня предисловие, — вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1927 году.

За первой последовали новые книги, в сущности, на ту же тему — о победоносной молодости Советской отчизны — «30 стихотворений» (1931), «Горячий цех» и «Календарь» (1933), «Мир для нас» (1935), «Путешествия» (1940), «Северное сияние» (1947), «Вершины перед нами» (1951), «Свежий вечер» (1955), «Веснодворец» (1962), «Есть такая сторона» (1965), «Теодолит» (1967), «Я рифмы не боюсь глагольной» (1970).

Дружба народов открывала нам все новые и новые разнообразные творческие сокровищницы, и со всем пылом молодости мы устремились в перевод, начали с литературы украинской, на первых порах принимая близость языков за легкость.

Знаменитый словарь украинского Даля — Б. Гринченко лежал на наших столах не только в Харькове и в Киеве, но и в Москве и Ленинграде, и наши отметки на полях старого словаря, и обновленный его переплет говорят о том, как часто мы заглядывали в словарь и вместе с тем — как двинулось вперед дело перевода с украинского.

В других случаях, не зная языка подлинника, мы стремились изучением, проникновением в жизнь и культуру других народов дополнить намечавшееся в подстрочниках. Кроме того, мы работали вместе — поэт Дагестана и поэт русский, русский писатель и писатель-узбек.

Моя признательность — Эффенди Капиеву за Сулеймана Стальского и Уйгуну — за Мукими.

С языков братских народов я перевожу более четырех десятилетий.

Переведены мною «Бориславские рассказы» и «Раздорожье» И. Франко, «Каменный властелин» Леси Украинки, украинские письма Шевченко, многие стихотворения этих и других классиков Украины, повести и рассказы Коцюбинского — «Fata morgana», «Дорогой ценою», «Persona grata», «Что записано в книгу жизни», «Тени забытых предков», «Подарок на именины». Я переводил А. Головко и Ю. Яновского, А. Корнейчука и Л. Первомайского-драматурга.

Четырьмя выпусками — в 1936, 1941, 1946 и в 1951 годах — вышли мои «Поэты Советской Украины», где представлены переведенные мною стихи украинских советских поэтов всех поколений.

Не оставляю я начатой в 1942 году работы над переводом классика узбекской поэзии Мукими. Его «Лирика и сатира» вышла тремя изданиями в Ташкенте, двумя в Москве. Сейчас в «Библиотеке поэта» готовится расширенное издание произведений Мукими в моем переводе.

Переводил я и лезгин — Сулеймана Стальского и его предшественника Етима Эмина.

Под нашей совместной редакцией с П. Г. Тычиной вышел в Москве русский трехтомник Коцюбинского (1951). Вместе с М. Рыльским мы делали первый полный перевод на русский язык «Кобзаря» (1939), а затем пятитомник Шевченко (1949).

Мне кажется, нам удалось доказать закономерность переводов шевченковских стихов размером подлинника, но великий подлинник нередко сковывал нас самим порядком своих слов и в дальнейшем нам следует переводить свободней.

В молодости я работал кинорецензентом. В понедельник и вторник смотрел от четырех до шести новых фильмов. В среду писал свои восемьдесят строк. В четверг они появлялись в газете.

Эйзенштейн и Пудовкин, первые опыты Довженко и его шедевры, Гриффит и Чаплин, Бестор Китон и Эмиль Яннингс, «Парижанка» и «Броненосец „Потемкин“», немецкие кинокартины годов инфляции, американские — 20-х годов, и, конечно, наши — казались мне праздником молодого искусства и привели на кинофабрику.

Я стал сценаристом и, согласно договору, каждые полгода давал добросовестный, но не кинематографический сценарий.

Первый забраковал сам А. Довженко. Второй — выпал из плана. Съемки третьего начались, но прекратились. Четвертый был заснят, но лента легла на полку.

Пройдя по пустынным коридорам студии множество километров, я ушел из кино. Я не боялся непривычной работы, но она была не моя. Об этом можно было бы и не говорить, но многие думают, что каждый писатель вместе с тем и сценарист. Однако писатель воплощает жизнь в слове, а сценарист — в зримом движении. Материал различен. Не потому ли добротные литературные абзацы столь часто превращаются у нас в вялые кадры.

Занятия стихом перемежались у меня с занятиями прозой, и одно находило поддержку в другом.

В 1960 году вышла моя книга лирических очерков о Киеве — «Повесть быстротекущих лет». Мне хотелось дать ощущение города и его истории. Работа шла легко. Казалось, стоит найти семечко, кусочек кладки, обрывок железа, и вырастет бор великий, подымутся храмы, разыграются сражения... Не автору судить — чего он достиг. В настоящее время к старым главам прибавились две новые — о Киеве 60-х годов.

В том же году я начал роман «Вдоль горячего асфальта» (вышел в 1965 году), в котором надеялся сказать о формирующемся чувстве советской родины и об ощущении нашего столетия.

Работа оказалась трудной: ведь семена и деревья, кирпичи и дома зависели теперь от характеров. Автор, ожидающий помощи, а не укоризны, понял это, поставив заключительную точку... Роман, третья часть которого значительно переделана, ждет переиздания.

Задуманы три книги статей о писательском мастерстве, литературе и кино. Первая из них — «Состязание в поэзии» — увидела свет в 1970 году. Вторую — «Седьмое поле» — надеюсь кончить в ближайшие месяцы, после чего приступлю к третьей книге...

Вот так — год за годом и от книги к книге, — работая, учишься и, кончив, познаешь радость завершения, но, приступив к новому, начинаешь сначала и переучиваешься. В этом — суть искусства и таковы этапы творческой биографии.

Киев
Ноябрь 1970 г.

ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

ВЕСНА РЕСПУБЛИКИ

1. РАННЯЯ ВЕСНА

Была распутица
  и грязь,
и ветер песни пел в соломе.
Весна украдкой родилась,
как сизый день
в казенном доме.

Великопостный смутный плач
катился каплями по крышам.
В мансарде
грохотал трубач,
и ход весны он не расслышал.
Он думал:
  «Голых веток вой
  и в мокром дворике сугробы —
  последний дружеский конвой
  и похоронный марш
  у гроба».

Но зоркая его сестра
весну суровую признала.
Она топила печь с утра
и жаворонков выпекала.

Что делать:
  черный снег
  и мрак,

ручьев
и ливней
окруженье —
не каждому приметный знак
в снегах живущего движенья.

1926

I

Средь бурь гражданских и тревоги...

Тютчев

2. НОЧЬ НА 25-е

Дождь дымился в эту ночь
пересевом пыли.
Толкачи скользили прочь,
путались
и выли.

А депо кипело.
Там —
в паровозном зале —
растревоженным цехам
ружья раздавали.

Шли цеха за счастье в бой,
разливаясь наспех,
как прорвавшийся прибой,
захлестнувший насыпь.

И над миром грянул гром!..
К утру подморозило,
небо глянуло серó —
как стальное озеро.

Утром шли на тихий Дон
папахи лохматые.
Выпал снег,
и таял он.

Было 25-е.

1925

3. ЗЕЛЕНЫЕ

Кралась орда деревень и сел —
ружьями ветхими хваткая,
На понизовье
картофель цвел,
губерния
пахла патокой.

Как ярославцы по лавам шли,
что на охоту гончие:
«Знашь,
понимашь,
    берданкой пли!» —
и останавливался вагончик.

И вологодские выли всласть,
дыбя льняные бороды:
    «Цайку испить,
    комиссар, слась,
    овецья твоя морда».

И вятичи покидали дом
тоже с винтом,
                не иначе.
Вячкие —
            хвячкие,
                    одного
    сёмеро их
    не боятча.

Комиссар стоял
и ждал конца.
Недолго сермяжники
                        целятся:
    «Овця,
    овця,
    хочишь хлибьця?» —
    а овця
    и не шевелиця.

Но лишь трехдюймовки по деревням
градом прошлись под вечер, —

кулачье войско
четыре дня
крестилось в поповой сече.

*

А от Чека,
цинги
и ран
без всякого изъяна
их командир бежал
в Тегеран
целовать
глаза персиянок.

А у них глаза —
стой, стынь!
А у них глаза —
выколи глаза!
Суслик свистит —
соловей пустынь.
Звезды,
как дыни,
легли в базар.
Много дорог
в Хамадан,
в Мешхед
(от них ни тепло,
ни холодно),
только одной дороги нет
прямо на север — в Вологду.
В Вологде
жаром бушуют печи
и самоваров горячий шум,
в Вологде
милые,
теплые плечи
сладко укутать
в пушной шушун.
А здесь любовь —
не поймешь ни аза,

здесь губы —
    чужие розаны.
    Горек миндаль,
    и скучен базар,
и жить начинать —
    поздно!

1926

4. ПРОЖЕКТОР

Степь свистнет сусликом в ночи,
и замолчит,
и свистнет снова.
И слишком часто застучит
простое сердце часового.

Прислушивайся!
И не спи!
И вдруг —
    как бы пронижет сразу
    спаленную полынь степи
    стрела единственного глаза.

    И, перекладывая луч
    от запада
    и до востока,
    плеснет огнем по ребрам туч
    замаскированное око.

    И на дороге голубой
    шарахнется спросонок птица.
    Но часовой не шевелится,
    и смотрит в небо часовой.

    Закрадывается тревога,
    и озираешься кругом,
    как будто найдена дорога
    к тебе
    бесшумным пластуном.

И в полусони голубой
его сильнее ненавидишь,
и смотрит на тебя, немой,
которого ты сам
не видишь.

1923

5. НЕИСТОВЫЙ БРОНЕПОЕЗД

Черный уголь —
    корм его,
а у печек грейся.
Выскочил из Сормова
и пошел по рельсам.

Номерной,
    без имени,
и крутою силой
по фронтам
    и мимо них
весь состав носило.

Водокачки хлюпали,
    и рожки играли.
Утром —
    в Мариуполе,
ночью —
на Урале.

Воздух вздохом выкрася,
в раздвижную щелку
пулеметом Виккерса
штукатурку щелкал.

Хорошо ли, худо ли —
только все вокзалы
от раздольной удали
било
    и шатало.

Блиндажи недужило
(трещины что жилы),
мостовое кружево
жало
    и кружило.

Так летал без имени,
и крутою силой
к станциям
    и мимо них
весь состав носило.

1924

6. КОННЫЙ КОРПУС

Конное это веселье
катится по пути,
пикой —
        стальной каруселью —
        над головой крути.

Лошади в мыльной истоме,
пар от бараньих папах, —
в нежных черешнях Житомир
потом попон пропах.

Если ладонь шершава —
шашка в шершавой страшней.
Конники под Варшавой
кормят овсом коней.

Есть подгорелый запах
конских копыт и овса.
Конники смотрят на запад.
Ветер летит по усам.

И по шоссейным укатам
конницы звонок шаг.

Здесь мы встречали когда-то
шляхтичей в кунтушах.

1926

7

Есть от полыни переход
к фруктовому цветенью Крыма:
у бурых скал и ясных вод
жара колеблется незримо.

Здесь собирали мы вдвоем
плоды, упавшие по склонам,
ты в милом фартуке своем
несла и фрукты и патроны.

И мы бродили по горам,
и мы глядели в эти дали,
где тралеры еще с утра
на крепких якорях стояли.

С покатой палубы видней
прозрачной темноты глубины —
сквозь прозелени саженей
плывут по водорослям мины.

Как странно знать, что здесь везде
хранится бережно Вселенной
в садах фруктовых
и воде
угроза мудрости военной.

1926

II

Под гулы меди гробовой...

Анненский

Мы помним горькую утрату,
Внимая новый шум лесов.

Пушкин

8. 16 ЧАСОВ 27 ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

В тот скорбный час
единой волей,
что от ремня текла ремню,
вдруг захлестнуло
на контроле
стесненных стрелок беготню.

И лязг,
        и грохоты,
                и свисты,
и стон колес,
                и звон зубил
какой-то вихрь
на целых триста
больших секунд
остановил.

Турбины,
доменные печи
и паровозы,
как в строю,
смахнули
лапой человечьей
слезу
гремучую свою.

По этим швам,
по этим скрепам,
как бы над вольтовой дугой,
дышали ветры,

но не крепом,
а черной
угольной
пургой.

И, громыхая
как по жести,
по воздуху
и проводам
отстукивали
пульс известий
и станции
и города.

И всё,
что стало,
всё,
что стыло
среди станков,
среди снегов, —
свой голос присоединило
к мильонам
скорбных голосов.

1924

9. ТЫ ВХОДИШЬ В САД...

Ты входишь в сад...
у сторожа спроси,
зачем как бы нечаянно сложили
разбитый винт,
разбитое шасси
на этой тихой и простой могиле.

Дощечка с надписью — сверкает медь.
Но разве не видать тебе, прохожий?
Здесь
даже куст желает улететь,
листами машет
и лететь не может.

Здесь летчик похоронен.
Он умел
узнать просторы ястребиной воли.
Над белыми штабами он летел,
и бомбы вздрагивали на гондоле.

И, перегнувшись за высокий край,
он наблюдал,
как вдалеке пылали,
занятнее, чем дровяной сарай,
товарные составы на вокзале.

И летчик гнал домой,
но аппарат
вдруг разучился облаками реять.
И летчик гнал домой,
и был он рад,
что падает за наши батареи.

А ты пришел сюда, —
среди аллей
остановись,
прохожий торопливый,
подумай о полете голубей
и о земле —
упрямой и ревнивой.

1925

10. БУКСЫ ГОРЯТ

Горох рассыпав по мостам,
как дробь по дружным барабанам,
состав шатался
здесь
и там
и разогрелся
слишком рано.

И кто-то в буксах далеко
заерзал,

застонал,
зарезал
гранитным прахом,
наждаком,
тоскливым зубом по железу.

У тормозов
и у рессор,
у налетающих площадок
истоптанное колесо
просило суетно пощады.

Оно визжало целый путь,
трусливой иволгой свистало,
что не могла уже свернуть
от разъяренного металла,
хрустела сломанным пером
и громче плакала,
по мере
того
как проплывал перрон,
мешочники
и дом в фанере.

1924

11. КЛАДБИЩЕ ПАРОВОЗОВ

Не в честь любимой строю мавзолей,
когда закат торжественен
и розов, —
мне всех кладби́щ
печальней и милей
забытое
кладби́ще паровозов.

Железные листы дрожат едва —
их точит ржа
и ветер зыблет шалый,
и поросла зеленая трава,
где прежде сердце пламенем дышало.

Тебя запомнят —
ты писал и жил,
но жизнь железа и огня забылась.
Благодари,
что в этой меди жил
крутая кровь
гремела
и дымилась.

Неистово ликуя и свища,
окутываясь паром светло-серым,
они летели,
эти «С»
и «Щ»,[1]
к незабываемым дебаркадерам.
В них золотые бились пламена,
но сердце стало.

Подойди, прохожий!
Такой погост
людских погостов строже,
благослови
стальные имена.

1923

12. ЛЕС РУБЯТ

1

Мы любим спелый голос жней
и голос пáрней спозаранку,
но что печальней,
что нежней
деревьев,
тронутых рубанком!

Струна распиленных досок, —
твой звук
медлителен и ровен,

[1] Паровозы Сормовского и Щукинского заводов.

а лес в снегу,
и душен сок
разделанных в сугробе бревен.

Ночей минувших холодней
горят серебряные ночи,
и валит жар от лошадей,
и от снегов,
                    и от рабочих;
крепчает воздух,
        лишь дохни —
        и звезды сыплются охапкой,
        косматые, летят они
        на воротник,
                            башлык
                                    и шапку.
И на морозе
                    сладко биться
о рукавицу рукавице.

Тулупов золотое пламя
пурга колышет на ветру,
и вот
        зубастыми углами
пила въедается в кору.
И визг,
        и лязг,
        и вдруг со сна,
роняя космы
сонной седи,
как пьяная,
пойдет сосна
хвататься за руки соседей.

Ты непоседа.
Там и здесь,
в Дер'люфта[1] суетной конторе
тебя влечет
        одна болезнь —
в высокое седое море.

---

[1] Бывшее Русско-Германское общество воздушных сообщений.

Твоя душа — всегда беглянка,
в каютах
    и купе она.
А жизнь деревьев
    на делянке —
    заря во льду
    и тишина.

2

Мы любим грустный голос жней
и нежность вечерами ловим,
но что печальней,
что нежней
деревьев,
тронутых пилою!
    Прямой, язвительный смычок —
    запомнил лес его навеки, —
    он ранит
            скрипку горячо,
    и проступает кровь на деке.
А ты летишь
    лесистым яром
с курьерским,
    и на канапе
ты скрипку вынешь из футляра,
и скрипка начинает петь.
    И в сыроватой сени просек,
    в пролете сонных площадей
        сухое дерево
        попросит
        как бы пощады
        у людей.
А голубых порубок ветер,
твой инструмент назвав на «ты»,
другими стонами ответит
сквозь земляничные кусты.

1925

III

В России всходят зеленя
и бредят бременем покоса!

Асеев

Русь, Русь! .. Твой пастуший рожок
Мы вытрубим в рог изобилья...

Сельвинский

13. ВЕСНА РЕСПУБЛИКИ

Весна,
седеющие села,
малиновки со всех сторон.
Перелетел за частоколы
черешен розовый трезвон.

Но в синих снах,
и в сонной сини,
и в нежной яблочной пурге —
возможно ль мыслить
о бензине
как не о друге,
а враге?

Крепите,
стройте
и буравьте, —
здесь, над проселочной трусцой,
встает
весна в олеонафте
и отливает зеленцой.

В природе есть
глухая зависть,
когда приветствуешь завод,
и даже маленькая завязь
железный ощущает плод.

И даже лошади жеребы
тобой, ревнующий «рено», [1]

[1] Автомобиль.

и выползают небоскребы
высоким стадом на гумно.

По дну ползучего оврага
в вороноград,
                    в переполох
идет мятежное Чикаго
на огурцы
            и на горох.

И вижу — на дуге трамвая,
уездной качкой растрясен,
«Известия» распродавая,
босой
        несется
                Эдисон.

Ему,
    весне
        и солнцу верьте!
Весна фруктовая ясна!

Кто смеет говорить о смерти,
когда в Республике — весна!

25 июня 1924

14. ЛАЗАРЕТ

Пыхтел и попыхивал лазарет,
сестры по лестницам лазали.
Приполз паровоз,
    и духу нет,
    и пел, задыхаясь, Лазаря.
    Его подергивало и трясло —
    на костылях с Поволжья.
    Не инвалид —
                    нельзя на слом, —
    он жить и работать должен.

Столпились хирурги вокруг стола,
    а жалобная машина,
    свои шатуны поджав,

легла,
и маяли без кокаина.
Долбило, обделывало долото,
металлы с клещей стекали,
его обмотали большим бинтом
из гаек,
винтов
и стали.

И сутки прошли,
и сутки плюс
других часов восемнадцать.
И доктор прощупал в колесах пульс,
и сердце стало стучаться.
И сердце сердилось,
что на аршин
спрятано в черной коросте,
но мастер сказал:
«Живи,
дыши —
на степи,
на топи,
на версты».

И ждала сухая трескучая степь,
и ждали друзья на вокзале.
Его с больничных ведомостей
на третьи сутки списали.

1924

15. УГОЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ

Арбели
от Юзовки
с углем громыхали,
и от этой музыки
ветры
круче стали.

Справа,
слева,
около,

и свистя,
и лая,
ахала
и охала
непогода злая.

Уголь снизу
стелется
черным
первопутком,
в угольной метелице
тучи, ветлы, будки.

От летучей мелочи,
от пустой безделки,
перепутал стрелочник
и пути
и стрелки.
Мыться до утра
ему
у криницы чистой...
Поезд
крыл
Украину
грохотом
и свистом.

1924

16. САМОЛЕТ

Чертеж исполнен.
И вдали —
над крышами домов и пылью —
такие стройные рули,
такие скроенные крылья.

На солнце он блеснул крылом —
и пересвист дорожный ветра, —
а после
под прямым углом —

в пространства,
                    в тучи,
                              в километры!

Дана такая быстрота
и плоскости даны такие,
чтобы вращением винта
пронзить водоворот стихии
и пролететь...

Ни вихрь,
              ни звук
тогда, казалось, не догонят.

А ты завидуешь внизу,
и плещут в воздухе ладони.

Апрель 1923

17. МОТОЦИКЛЕТУ

Круговороты
                  и виражи —
певучие стволы руля!
Я не прислушиваюсь даже
к тебе —
звенящая земля.
Иная музыка — услада
(а не виола и кларнет).

О жесткокрылая цикада,
стрекочущий мотоциклет!
Тебе навстречу —
              прах
              и смерчи,
крутой
и непреклонный шлях,
и шумен
шелест гуттаперчи
на улетающих камнях.

И дрожь,
и звон,
и слиты спицы,
и ты летишь
из-за угла —
стальная
зоркая
зарница, —
мимосверкнувшая стрела.

1923

18. ГОЛУБОЙ УГОЛЬ

Только вечер подплывает ближе,
мы огонь мерцающий следим.

Океан сухую сушу лижет
языком серебряным своим.
Обегая каменные груды,
пеною кипящею шумлив,
он несет в бетонные запруды
голубой и радостный прилив.
Чтобы,
проскочивши все преграды,
под гремучий вздох
и тяжкий «ах»
пасть
освобожденным водопадом
и кружиться в жадных желобах.
Ты полюбишь
этот гул пчелиный,
монотонный, многоверстный рой, —
пусть пронзительней
жужжат турбины
и кипит и рвется водорой,
чтобы,
выскочив из самострела,
по тугому
медному шнуру

молния зеленая летела
и зарницы бились на ветру.

1923

19. ЭТОТ ГОД

Озимым колос обряжая
и грея зерна яровым, —
он должен
    грянуть урожаем
    по гумнам
    и по кладовым.

Он должен солнечными днями
    до сладости налить плоды,
    чтобы нависли над плетнями
    в тяжелых яблоках сады.

И пусть
    в гречихах сотни пасек
    медок лелеют молодой,
и пусть
    товарные в Донбассе
    углем тучнеют и рудой.

Цеха котельные!
    Не дрейфьте,
    есть дело наливным баржам, —
    летит фонтаном жирной нефти
    из бурых скал Азербайджан.

И все моторы ходят громом,
и, отделяясь от земли,
уже плывут к аэродромам
воздушных рейсов корабли.

Еще деревни, может, хмуры —
течет в ночные облака
от Волховстроя
и Шатуры
голубоватая река.

Так пусть,
дома и домны видя
и синее сиянье то,
в рабочем фартуке Овидий
о веке мыслит золотом.

1925

ФРУКТОВАЯ ВЕСНА ПРЕДМЕСТИЙ

Отворите только окно —
так ветви сами врываются
в комнату.

Гоголь

20. ФРУКТОВАЯ ВЕСНА ПРЕДМЕСТИЙ

Разъезд,
товарная,
таможня...
И убегает под откос
за будкой железнодорожной
в дыму весеннем абрикос,
еще не зелен,
только розов.

И здесь,
над выдыхом свистков,
над жарким вздохом паровозов, —
воздушный холод лепестков.

В депо трезвон
и гром починок,
а в решето больших окон
прозрачным золотом тычинок
дымится розовый циклон.

И на извозчичьем дворе
хомут и вожжи на заборе
в густом и нежном серебре,
как утопающие в море.

В депо,
в конюшни
и дома
летит фруктовое цветенье.

И сходят лошади с ума
от легкого прикосновенья.

1926

21. КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МАЙ

Если в груди узко
песне мастеровой,
вскройся
дребезгом музыки
мимоидущих войск!

Взводы за взводами.
(Так
тихим походом
рожь.)
В камни проулков,
в такт,
падай,
печать подошв.

Яблочный цвет на рубаху,
в дуло — яблочный цвет!

Май, налетевший с маху,
в легкую зелень одет.

Вот подошел к палисаду,
бросил в казарму огонь.

Весен чужих —
нам не надо.
Нашу весну —
не тронь.

1923

22. РЕКА

Плывите, темные плоты,
качайтесь, шалые шаланды,
волна, волнуй,
волна, валандай
огни
и оловянный дым.

На угасающем закате
кочуют лодки, как ладьи,
и глуше,
глуше
дышит катер,
и пристань
пристальней глядит.

И над молчаньем сонной грусти,
над вздохом медленной реки
сигналы,
звезды,
поплавки
в одном свинцовом
гаснут устье.

1924

23. РАДИОПЕРЕДАЧА

Клубилась ночь, как пар,
и, сузя
косые блики,
свет зачах...

Сидели члены профсоюза
в глухой квартире
при свечах.

Они из четвертной бутыли,
не подымая мутных глаз,

вино
в стакан
и мимо
лили,
дрались
и плакали зараз.

И вдруг
за суетою бранной,
в дыму табачном
и хвальбе
качнулась бедная мембрана.
И стало мне не по себе.

И снова пили все донельзя,
и над стаканами
один
о лебеди,
о милой Эльзе
грустил непьющий Лоэнгрин.

*

Приятель,
пейте, всё равно!
Качайтесь до утра в столовой.
Всему унизиться дано,
что лишь вчера казалось ново.

1926

24. ОТКРОЙ ОКНО

Ты в комнате такой живешь,
где темны потолки
и низки, —
здесь
старики, не молодежь,
сдавали паспорт
для прописки.

За стеклами скопился дух
баулов
и ларцов,
а в шторах —
щеглов,
герани
и старух
еще остался бедный шорох.

Как жил скупец и холостяк,
исполненный домашних таин,
у самого себя в гостях,
где слишком молчалив хозяин?

Как равнодушные жильцы
не чувствовали разложенья
шуб
и шалфея,
и гнильцы
плодов,
лежащих без движенья?

И чем могли они дышать,
не растворяя пыльных окон?
И как печальная душа
не смела вылететь высоко?

Ты по старинке
в эти дни,
быть может, шторой
окна застишь.
В цветную пу́стынь распахни
окошко —
напрямик
и настежь!

У нас уборка
и весна,
и вечерами золотая
плывет туманная луна

в мохнатых яблонях
и тает.
И в травах стелется тепло,

и так высокий ясен воздух,
что кажется —
в твое стекло
стучатся
соловьи
и звезды.

1925

25. ВЕСНА-УБОРЩИЦА

Пыль углов
и беспорядок
ты проходишь напролом
треском щеток,
флагом тряпок,
гуся ломаным крылом.

Гардероб седой Европы
в несгораемых шкапах, —
все развесим
мы салопы
на балконах
и кустах.

Мы подымем
палкой воли
(потому что не слабы)
теплую мякину моли —
гнезда
бабочек слепых.

Тленье бабочек несносных!
Сонь немытого окна!
Зреют всюду,
зреют весны —
всем уборщица нужна.

Наша,
        золотую губку
        в пальцах розовых зажав,
веет красной,
     веет юбкой
из восьмого этажа.

Подоткнув свои подолы,
паутину рвет в углу,
и мелькает
     локоть голый
по заплывшему стеклу.

Снизу —
          подоконник белый,
сверху —
синий потолок,
а твое кошачье тело
шерстяной стянул платок.

Пой,
     уборщица,
               и комкай,
если разбитная ты,
эти
     чахлые соломки
и бумажные цветы.

Эти
     полочки с вещами,
этот
     розовый
уют,
где добротные мещане
над гитарами поют.

1925

РАЗРЯДЫ

...страсти разряды —
человеческим сердцем накопленной.

Пастернак

26. ОЗОН

Гроза над городским кварталом
сухим разрядом грохотала,
и плыл на город горизонт,
роняя в капельках озон.

И ставни хлопали, и двери.
За каждый задевая шест,
с лиманов шли
                глухие звери,
и фосфор источала шерсть.

И от униженной земли
поднялся сыроватый запах,
как будто звери принесли
тюльпанов
и полыни в лапах.

1925

27. ВОДА ВЕСНОЙ

Памяти Н. Ю. Петкевича

Листы березы сладким клеем
горят на лунном берегу, —
а мы, рыбак, с тобой лелеем
челнок,
жаровню,
острогу.

И, нагрузив свои корзины
уже нарубленным смольем,

мы в полусонные низины
с тобой и месяцем плывем.

И пламя сквозь железо прутьев
в сырую и седую мглу,
в стеблей сплетенных перепутья
роняет светлую иглу.

Она изломанною реет,
как будто бы горячий луч,
в среде хрустальной костенея,
коснулся молчаливых круч.

И кажется —
        круги и звуки
        пошли в воде
                        и под водой, —
ты наклонился —
            ходят щуки
            в дыму туманном под тобой.
            У них разбойная башка
            и перьев оловянных нечет, —
            они из полного брюшка
            икру серебряную мечут.

А луч косой издалека
уже мешает спать природе,
заходит ходуном река —
такие голавли проходят.

Пройдут такие окуни́,
в глухую глубь роняя тени,
что только руку окуни —
и чешую рука заденет.

Качнется в тине
                        свет
                            и мох,
и дно подымется живое,
и ты сухой полюбишь вздох,
пока челнок скользит травою.

И, осмотревши берега
охотничьим
веселым оком,
ты скажешь:

— Падай, острога,
сквозь прошуршавшую осоку.

И вот
в коренья под водой,
в стоячий сад
и в сон летучий —
трезубец осторожный твой
звездой ударился колючей.

О лодку
«голубым пером» [1]
забилась пойманная щука.
Ты деревянный этот гром
назвал
и страхом
и разлукой.

1926

28. К ПОЛЮСУ

Не по шоссейным дорогам на Муром,
не пересохшим Днепром в Кременчуг, —
грузные гуси
летят на Мурман.
Нынче за ними и я полечу.

Жизни моей страховой полис
яблоням,
югу
или кому?

---

[1] Слова Г. Р. Державина.

Нынче лечу
на печальный полюс —
в зарево зорь,
в ледяную тьму.

И полетели
тюленьи долины,
льдинки в Стожарах
звенят, дрожа.

Птичий базар
поглядел с вершины
на проплывающий дирижабль.

Звезды зимуют в снежном севе,
острым лучом ударяя в люк.
Бледным сияньем встречает север,
шведская шхуна спешит на юг.

Шведскую шхуну встретил рано,
ночь наступила,
и нет утра, —
тянется к тучам из океана
волн промерзающая игра.

Амундсен летал —
не вернулся Амундсен,
в воздухе редком
молчи и стынь, —
может, и мне
никогда не вернуться
из этих косматых
и сонных пустынь.

Может быть, там,
позабытый вами,
кончу во льду неумелый полет.
Теплое облачко
над губами
станет снежинкой

и уплывет.
    Столько снежинок —
    сколько вздохов...

Вам же другой предназначен удел,
у вас по канавам
в густых елохах
яблочный месяц зазеленел.

У вас
        сенокос —
                    тяжело телегам,
пшеничный в печи
и над домом дым.
А здесь
        даже сердце
становится снегом —
самым пушистым
и молодым.

1925, 1926

29

Кто зверолов — тот женолюб.
И в пышные постели лягут,
чтобы дышать
у горьких губ,
что горче недозрелых ягод.

    Брусника —
    ягода лесная,
    брусок косу мою подсек —
    ножом охотника
    пожинаю
    твой убегающий побег.

Простоволосая,
босая ли
            ты выйдешь, —
долго ль до греха?

Мы звероловы,
мы не охаяли
твои серебряные меха.

Любовь и Севера и Азии,
пожатьем пламенной руки
в каких морей
седую празелень
ты кренишь
наши маяки?

В какие заросли
и поросли,
в какой силок
под вечерок
запутается,
словно коростель,
как заплутавшийся чирок?

1924

30. ЛУНА ЗА МОРЕМ

Я знаю сумерки природы —
у моря
я к таким привык.

Луна-летунья непогоды
не кажет
голубиный лик.

И ты не знаешь, что с тобою,
и ловишь фосфор на лету,
и проступает
голубое
сквозь волн
рябую черноту.

Луна за водяною кручей
бесшумным
катится ядром.

Но ты, рыбак,
себя не мучай
неуловимым серебром.

Оно прольется мимо, мимо,
за край взволнованной земли, —
оно в волнах неуловимо, .
как призрачные корабли.

Им нет рожденья,
нет возврата —
они скользят
в зеленый ил.
Но вспомни,
ты давно когда-то
по светлым палубам бродил.

1926

ФРАГМЕНТЫ

Pas de pleurs, pas de plainte vaine.
Je sais respecter d'avenir.

Musset [1]

31. ЕЛИЗАВЕТА

1

1. Жара и листья.
Еле-еле
скользя с листа на новый лист,
воздушный мед
в зеленом хмеле
неуловим, но золотист.

И Лиза,
выдержала ты ли
барду в опаре

[1] Ни слез, ни тщетного стона. Я умею уважать будущее. Мюссе (франц.). — *Ред.*

и какой
поднялся ветер от бутыли
с анисом и антоновкой?

Здесь градусов высоких власть
и в русых косах запах винный.
Здесь в сенокос приходит страсть
на сеновалы и в овины.

И по субботам слышат старицы
по баням шепоты и шашни —
Ярило круто в банях парится,
а веник —
как чаек вчерашний.

Уже невмочь Елизавете:
«Пойдем,
запишемся в Совете».

2. Но всходит между тем война,
как степи крымские в апреле, —
Елизавета не вольна
не плакать у своей постели.
Елизавета,
не посетуй —
в его отъезде нет вины:
он — добровольный непоседа,
бездомный партизан войны.
(Бывало,
быстрые татары,
орду в отряды разделя,
катились грозною отарой
по океанам ковыля.

Ревел верблюд,
визжали оси,
дышали балки,
у реки
дымились облака,
в колосьях
мелькали рысьи колпаки.

Шли на рысях
разведкой дикой,
ночлег
и дом найдя везде,
где с хохолком пушистым пика
летела к северной звезде,
и где пилав,
и где победа,
где облака издалека...)
Твой друг — такой же непоседа,
как татарва,
как облака.

3. И вот
письмо принес почтарь.
ОН пишет
(страшно прочитать):
«...что бабам песни да гулянки,
да шейный а́нглийский платок,
а мы живем на полустанке
без пулеметов и порток.

Красноармейцы рады,
если
у них картошка в котелке,
барон дает солдатам «нестле»[1]
на сахаре и молоке.

У них и шинеля и френчи
заморские,
не как-нибудь;
я, между прочим, здесь повенчан,
выходит —
старое забудь».

2

1. Задышит осень Перекопа
камсой соленой и укропом,

---

[1] Питательная мука.

в Очаков побежит дубок,[1]
волна колотится о бок,
и дальше облачной гряды
эскадры иностранной дым.

Морская пена величала
шумливым шепотом ночей
боев трагических начало
над полуостровом бахчей.

И к бурым скалам Хаджибея[2]
струя прозрачная несла,
травой и гноем голубея,
убитых рыхлые тела.

И виноград уже обмяк,
и слушал он, как Крым грохочет.
Большефонтанный слал маяк[3]
глухое Т —
в глухие ночи.

И потянуло холодком —
не отпускает политком.

2. Он дезертир,
пришел с нахрапа,
не ожидали на вокзале, —
пылал шиповник,
дождь накрапывал,
и девки веники вязали.

И по горушкам стлались заполоски
такими свежими утрами,
все облака играют взапуски
с опушками и клеверами,
и розовая Кострома
в осеннем зеркале застыла.

---

[1] Парусник.
[2] Турецкий поселок на месте нынешней Одессы.
[3] Маяк у Одессы.

Земляк припомнил задарма
губернию и голос милой.

3. Над злаками и лебедой
стеклянная влеклась засу́ха,
кузнечик,
как перед бедой,
трещал торжественно и глухо.

Несло больницей.
В сенокос
стояли травы чуть живые,
и лезвия стучали кос
о землю,
как о мостовые.

Колосья треснувшей земли
ночами душными хирели,
сухие молнии цвели,
еще не цветшие доселе.
И вдруг его письмо...
и летом
нашли в лугах Елизавету.

Чернела кровь,
оплел вьюнок
косу австрийскую у ног,
и муха в изумрудных латах
ползла уже тяжеловато,
мохнатый чистя хоботок.

4. Воспоминания для нас —
земля,
присохшая ко спицам.

Земляк закатит тарантас
в реку и смоет пыль водицей.

Уже бунтуют на дворе
его гнедые и мордастые.

Он лошадям в большом ведре
овса медвяного нашастует.

И удила они грызут,
копытом бьют о камень тупо.

И засвистел горячий кнут
по крупным и дрожащим крупам.
И...
опрокинулось крыльцо...
Деревней,
сечами,
лесами
осенний ветер
бьет в лицо,
и дождь летит над волосами.

И губы нежные коней
и кровь
и мыло
оросили.
Вот так лететь,
забыв о ней,
холмами северной России!

Вот так —
привставши на лету,
без шапки выглядя бездомней,
ловить звезду
и темноту,

устать
и ничего не вспомнить.

*

Здесь овода к обеду злят
угрюмых телок и телят.

Здесь по укатанным дорогам
влечется тополиный пух.

Любовь глядит на женщин строго,
тебе она — мгновенный пух.

Подуй —
и полетит пушок,
и станет холодней дыханье.

И что в сердцах нехорошо,
то скажешь хорошо стихами.

Между 1924 и 1926

32. МУЗЫКА

Какие соловьи зальются!
Пернатый край,
веселый край, —
ветрами трудных революций
в оркестрах струны разбирай!

1

От звонкой россыпи горошин
сокрытого в листве певца
воздушный мостик переброшен
в неотвердевшие сердца.

Антенн серебряные струны
и в птичьем горлышке струна —
лишь ветер северной коммуны,
гуляющий по сторонам.

Лишь северных виолончелей
и всех вибрирующих жил —
разгоряченные качели,
которым ветер удружил.

Пернатый край,
какие дни,
какие щелканья
и гуды
от соловьиной стукотни,
от молоточков ундервуда!

2

В России плакали и пели
«в те баснословные года»,[1]
и снова, мир, твои недели
пришли в поля
и города.

И снова вспаханные долы,
и самолеты на лету.
Мы победили
смерть,
и голод,
и таборы,
и нищету.

Волынка — ржавая певунья,
мы заменили голос твой
такою звучною латунью,
такой певучею рудой.

И кажется,
на самом деле
ты услыхал тягучий звук:
в долинах яблони запели,
роняя яблоко в траву.

3

О черноземная, густая,
глухая
музыка земли, —
опять окопы вырастают
и нашей улицей легли.
— Весна,
а чем дышать
у рундуков на Хитром рынке? —
Но обнадежена душа
каким-то громом
под сурдинку.

---

[1] Тютчев.

4

Гром под сурдинку,
в громобой
ты разгремишься, нарастая.
Гуляет ветер ледяной
в серебряной смычковой стае.

Лети, пронзительный смычок,
жужжи
по жилам
зло
и зыбко!
Мне кажется —
в мое плечо
врастает яростная скрипка.

Россия — трудная страна,
но все пути отсюда торны,
ее железная струна
гудит
по кузницам
и горнам.

Картечью брызни, громобой,
в тревоге меди нарастая.
По спинам ветер ледяной —
такая музыка простая.

1926

ВИНО

33. ВИНО

Г. В. Шелейховскому

Я знаю,
трудная отрада,
не легкомысленный покой,
густые грозди винограда
давить упорною рукой.

Вино молчит.
А годы лягут
в угрюмом погребе, как дым,
пока сироп горячих ягод
не вспыхнет
жаром золотым.

Виноторговцы — те болтливы,
от них кружится голова.
Но я, писатель терпеливый,
храню, как музыку, слова.

Я научился их звучанье
копить в подвале и беречь.

Чем продолжительней молчанье,
тем удивительнее речь.

1926

ТРИДЦАТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

I

СКАЗАНЬЕ СТАРЫХ ВРЕМЕН

Не знаю, что значит такое,
Что скорбью я смущен;
Давно не дает мне покоя
Сказанье старых времен.

Гейне

34. ФЕВРАЛЬ ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМНАДЦАТОГО

Текли землянки и окопы,
как черная в снегах река,
как вся Восточная Европа
сквозь меховые облака.

Холмы,
слободки,
норки,
сучья
и оловянная земля
казались вдумчивей
и лучше
на мокром ветре февраля.

Он гнал
хлебофураж и пленных,
товарный порожняк взамен,

он ландштурмистов
гнал на смену
из Волочиска
в Сен-Кантен.
Он интендантов гнал на смену,
он, заглушая буксы визг,
гнал порожняк
под хлеб
и сено
из Сен-Кантена
в Волочиск.

И шел Эйхгорн глухим распутьем,
где сто снегов, свергаясь в ров,
пузырились слезинкой ртути
на пашне
четырех ветров.

Эйхгорн глядел в окно вагона
и видел
мутную весну,
стога,
сорок,
Березину
и снег
времен Наполеона.

1929—1930

35. ОТ ЭТОЙ ВЕСНЫ

1

Опять о весне.
Что мне делать с весной!

С такой и под старость не сладишь.
От крепкой крапивы шел воздух квасной,
в казармы врывался ландыш.

От этой весны,
разметав камыши,
над жаркой Десной играя,
на бархатных крыльях
неслись черныши
к Пустынному Николаю,[1]
и мотыльки по горячим горам
стояли столбом пунцовым.

От этой весны
шестисот грамм
достигли зайчата в Zoo,
пыльца задышала,
как теплый пушок,
над шишкой пурпурной
и липкой
и посылала тебе *гребешок*
на Украину
dein Liebchen.[2]

2

От этой весны
целлулойд гребешка
сиял лучезарной мастикой.

От этой весны,
от подарка дружка
в бою становилось тихо;

от этой весны
серебром развесным
мерцали ручьи новолуний,

от этой —
почти сумасшедшей —
весны
германцы
балдели по клуням.

⟨1929⟩

---

[1] Пустынный Николай — дачное место под Киевом (на Десне).
[2] Твоя милая (нем.). — *Ред.*

36. ВЗРЫВ НА ЗВЕРИНЦЕ

(Киев, 6 июня 1918 г.)

Июнь и гаммы.
И от них
балдел тропический парник
мансард,
базаров
и растений.
Проснулся к девяти Евгений,
гитару снял
и «шагом арш» —
преображенский двинул марш,
но, впрочем, думал
о напасти
ломбардов,
и о браке с Настей,
и почему ее район
от центра удален.
Ее район —
гораздо выше, —
район
монастырей
и вишен,
ее район —
снарядный склад.
Громоотводами рогат,
среди сусальных туч
и кашек
глядел он, словно нездоров,
в глаза
монашков
и ромашек,
в березы синих островов.
(Писал всё это Нéстéров.)
Когда-то здесь,
с откосов хмурых
спускаясь древнею тропой,
из хвои выходили туры
к глухим ручьям на водопой.
И здесь же
тучу пара вздул

расстрел небес — грозы разгул.
В дыму рогатые сараи
метались,
воя и сгорая,
дома и звонницы хлеща
хвостами вихря по хрящам.
Казалось,
красных туров стадо,
вздымая вишни на рога,
над городом
и взрытым садом
брело «по запаху врага».

И горизонт был весь помешен
на лепестках различных мешек.

Так рвался в 9.30 склад:
перемещая наугад
надгробных памятников плиты,
щадил стакан, в саду забытый,
и,
сея штукатурки мел,
над смятой Настенькой гремел.

Горели в тучах лучезарных
платки сестер,
плащи пожарных.

Прорвав котельный строй солдат,
бежал Евгений мимо хат;
над скарбом нищенским и грубым
вокруг еще чадили трубы,
еще —
подобные звезде —
рвались снаряды в борозде,
еще в раскрытых сводах дома
часы шли
с музыкой знакомой
и птица висла над гнездом.
Узнал Евгений милый дом:

сплошные красили закаты
его,
сидел ок
и палату, —
едва коснись спины больной —
и зазвенит хребет струной
давно расстроенной гитары.

*

Вязали буйных
санитары.

1930

37. ЗАКАТ

Ich weis nicht was soll es bedeuten,
Das ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Heine

Кресты над Днепром,
и не жарко,
и поднят напрасно бекас.
Над главами
скверов и парков
парчовый закат
не погас.
Скользит он с соборов горячих,
как розовый жир по воде,
кукушек случайные дачи
и лодку
кармином задев.

Повстанцы лопатою быстрой
взбивают волну добела,

---

[1] См. перевод, данный в эпиграфе к разделу «Сказанье старых времен». — *Ред.*

и отлетели на выстрел
на синей скале
купола.

И немец свалился в ухабы
среди камышей и осок, —
с ним рядом
его пикельхаубе,[1]
и шрам на виске не засох.
И шепчутся черные кисти,
что луч за горами исчез.

В шуршащих метелках и листьях
исчерпаны краски небес.

Лишь лодка — в серебряной пене,
лишь гребли[2] — в волне рассыпной,
лишь слышно
глухое шипенье
ночных тростников
за спиной.

⟨1931⟩

38. ПЕРЕНЕСЕНИЕ ТЕЛА ЭЙХГОРНА НА ВОКЗАЛ И КАЗНЬ ДОНСКОГО

В Киеве эсером Донским смертельно ранен генерал-фельдмаршал Эйхгорн.

Из газет

Кримгильда — рыжая супруга,
оставь шитье,
чадит смола над гробом друга
и воронье.

---

[1] Каска.
[2] По-украински — запруды, плотины.

Твой Зигфрид в темной колеснице.
Из влажных жил,
из розовых венков струится
могильный жир.

Убийством кончилась охота,
и вдоль зари
с добычей туш идет пехота,
трубят псари.

Идут баварцы и саксонцы —
весь гарнизон.
Штандарты пали сивым солнцем
на горизонт.

Голодных волкодавов глуше
хоралов гром.
Кримгильда, закрывая уши,
глядит на гроб.

Кримгильда думает о мести,
срывая плач.
На конской ярмарке в предместье
стоит палач.
Он на помосте хорошеет.

Гремя доской,
выходит
и вставляет шею
в петлю
Донской.

⟨*1931*⟩

39. СЛОВО О ПАРТИЗАНЕ ПУСТОВИТЕ

Ой, спіткнувся козак Нечай
На хміль, на тичину...

«Дума о Нечае»

От зарниц в овечьем небе
над свеклою непочатой
полыхает красный гребень,

Пустовит дарит девчатам
германский *гребень.*
Пахнет вялым сеном.
Глухо.
В жирном яре за каплицей
рясы верб
и дынь желтуха.
Теплый шмель в тычинках злится,
жужжит над ухом:
　　— Посмотри —
　　　　от страха серый
　　　　тмин на сонном огороде
　　　　мнут
　　　　солдаты из ландвера,
　　　　бугаев черкасских вроде.
　　Тикай, добродий!
Побежал он перепутьем
переулочек и улиц.
Хрупких верб сшибая прутья,
полк гусей с болота сдули
синие пули.
И запнулся за ворота,
　　　　за колок в курчавых травах.
Налетела
　　　　слева,
　　　　　　справа,
куркулей полтавских рота —
вся желторота.
Сбили голову в науку,
как с тычка — с тычины галку;
кнурам
и брюхатым сукам
сволокли ее на свалку.

(И ветер в балках.)

Ветер в листьях,
　　　　　　ветер в хвое,
вылетай, лети на волю,
чтоб, от сабель голубое,
на ветру бы встало поле.

(Повстанцы в поле.)

В зорях бронзовой дубравы
шапки собирай лихие,
чтобы встал над переправой
в рыжих гривах свежий Киев.

(Идут на Киев.)

Будяки цветные сея
над скелетами убитых,
через Брянский бор
на север
взвейся
с сердцем Пустовита.

(Стучат копыта.)

Пусть оно летит горячим
на серебряном подносе.
Пусть
оно поет
и плачет
горькой иволгой
под осень.

(Проходит осень.)

⟨1931⟩

40. НОВЫЙ СЕДАН

> 6 ноября 1918 года американские и французские войска заняли город Седан.
>
> *Из газет*

Гремя наступленьем чугунным,
французы вступают в Седан.

— Гони
этих плачущих гуннов
по черным и мокрым садам.

В сочельник
врывайся
к ним на дом
и, свечи в паркет затоптав,
— гони их
от елки прикладом,
мой бравый и добрый зуав.
Там щеки профессора схожи
с картофельною шелухой.
— Гони его,
друг чернокожий,
в халупу
на остров глухой.

И мимо идут батареи,
и, грязь расплескав на квартал,
солдатам,
чтоб были бодрее,
из «форда»
кричит генерал:
— Пруссаки нас гнали когда-то
в такие же сивые дни.
— Гони
этих бошей горбатых
из богаделен,
— гони!

Ворчат старики за работой,
крючком задевая петлю.
— Гони их
в седое болото
веселым штыком, пуалю!

Бросают кресты и медали
в осеннюю речку они.
— Гони их
из кресел
и спален,
на полуостров
— гони!

О славе,
о скорби,

о визе
грохочет густая река.
Как сто истощенных дивизий,
проходят в кустах облака.

Что было страною воронок,
что ночью пыталось сиять,
разрывом,
дождинкой,
вороной
взлетало
и падало
вспять;
оглохнув в семействе ударных,
пятнистым и без бровей
встречало
больницами армий
трескучего
тротта
Бродвей;
еще по привычке и в трансе
отстреливалось;
без глаз
катилось кладбищем —
на дансинг,
мясною торговлей —
на джаз.

Что было изрытой полянкой,
что стало летучей золой, —
в медлительный
гимн
негритянки
свисало
как дождь голубой.

Что видело
Марну
и Сомму,
что стало глухим рубежом, —
валилось,
как лист невесомый,

на страшные
струны
банджо.

Чтоб после,
возникнув из пепла,
от боли высокой
прозрев,
иная Германия крепла,
знаменами
вторя
заре.

1928

41. В ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ ПО НОЧАМ...

В двенадцать часов по ночам
монарх переходит границу,
и, полные
тучи влача,
по вереску
ветер струится.

Навстречу ночным поездам
текут эшелоны валькирий.
Спешит император в Потсдам —
и свечи
на главной квартире.

Проснулся баварский король,
саксонский проснулся
и принцы.
Война и реванш —
их пароль,
и нападенье —
их принцип.

И Бисмарк из гроба встает,
и старому Мольтке не спится,

и пальцы,
желтее, чем мед,
листают тетрадь диспозиций.

Ландштурм по могилам окрест
встает
в эту пору глухую,
целует оплывших невест,
детей поседевших целует.
На теплой соломе дворов
в беззвездное время такое
ласкает храпящих коров
и веялки
темной рукою.

Тугими звонками поют
протезов охрипшие струны,
и всюду солдаты встают —
от Ипра
до Камеруна.

Скользит во дворец их отряд,
и принцы остолбенели,
и бюргер с подругой не спят —
им тесно
и душно в постели.
И прерван
военный совет,
и свечи оплыли...

Тогда-то
косматой Аллеей Побед
мотор пролетает
крылатый.
Песок за мотором влача,
над вереском ветер струится.
В двенадцать
часов
по ночам
монарх
переходит
границу.

Ноябрь 1928

42. ТРИДЦАТЬ ГЕТМАНЦЕВ

Ах, война, война — кабак,
русской горькой жаркий дых.

Тридцать гетманцев-рубак
спят,
не ставя часовых.

Фастов, Бахмач, Кременчуг
не устали баловать:
гетман смотрит —
где бунчук,
где печать
и булава?
Гетман ходит по дворцу —
тонкий, выбритый черкес.
Вышел он на улицу —
Киев в облаке
исчез.

Только
каплет с каланчи,
только
снег идет на юг.
Кто шатается в ночи —
вурдалак
или сердюк?

Призрак плачет:
«Черный пан,
у Жулян не видно зги,
посмотри
на мой жупан,
посмотри
на сапоги.

Френч варшавского сукна,
в лоскутки разорван он,
на плече красней-красна
царский треплется погон.
Ноги белые видны».

Призрак плачет:
«Черный пан,
я отнес в кабак войны
и ботфорты,
и жупан.
И со мной в корчме ночей
пили тридцать панычей».

Гетман трубит полный сбор,
перед ним
в снегу
собор.

Тридцать гетманцев в гробах,
спирт лиловый на губах.

1928

43. УКРАЙНА ГЛУХО ВОЛНОВАЛАСЬ

Как быстро время протекло, —
уже январь не за горами.
Начальник станции в стекло
глядит сквозь тощие герани.

Каких-то паровозов дым,
каких-то эшелонов волок, —
и на площадках голубых
оглобли задраны двуколок.

На кукурузе снег повис,
и в инее лесные дачи.
Неведомый кавалерист
по шпалам
на восток проскачет.

Летят теплушки кверху дном,
мосточки головы срывают.
Солдат в буфете ледяном
от черной оспы умирает.

Он мертвой матери сказал,
что вылечить его не поздно.
Луна в нетопленный вокзал
плывет торжественно
и грозно.

Слепец частушки говорит,
и «яблочком» рокочет лира.
Начальник станции зарыт
перед крыльцом своей квартиры.

Глядят по-прежнему в стекло
сквозь кисею
его герани...

Как быстро время протекло, —
уже февраль не за горами!

«К Киеву приближались части Красной
Армии».

Между 1928 и 1930

44. ТРИ ЛАНДШТУРМИСТА

Вдоль рудничных ям,
вдоль кремнистой
и красной бакальской [1] земли
в Германию три ландштурмиста
из русского плена брели.

И первый сказал:
«Я доволен —
осадную ночь напролет
старуха моя
в мюзик-холле
на проволоке поет».

Другой говорит:
«Слишком поздно
идем мы в родную страну,

[1] Бакальские рудники на Урале.

отобраны
Эльзас
и Познань,
и сам император
в плену».

И кухня прогрохотала,
завыл кашевар
и замолк.
На смутных каменьях Урала
пирует
повстанческий полк.
Он парит кору на рассвете,
сосет одуванчиков мед.

С друзьями прощается третий
и к партизанам идет.

1929

II

У ГРОБОВОГО ВХОДА

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть.

Пушкин

45. СНИМАЮТ ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ III

1

Над Москвой летучие
облака.
Желтый купол в тучах
и река.

Над рекою черный
монумент, —
у него как жернов
на уме.

Над осенним миром
смотрит он.
Черная порфира,
черный трон.

Бронзовые тони
шаровар.
Он зажал в ладони
черный шар.

И на черном шаре
черный крест.
Флаги задышали
и оркестр.

Царь — он брови поднял.
Удивлен,
почему сегодня
шум знамен,
почему сегодня
у столпа
лестницы,
и сходни,
и толпа?

2

Над Москвою черный
монумент, —
у него как жернов
на уме.

Время смято резко,
и как раз
налетели фески
на Кавказ;
прежде думал — дебри,
в ночь одну
немцы на серебряном
Дону,
и над старым сыном,
в головах,

комиссары в синем
    и трава,
и над внуком царским,
    молодым,
не значок гусарский —
    горький дым.

3

Флаги и плакаты
    как заря.
Жаркие канаты
    жмут царя,
    шею обложило
    в жадный жгут,
    бронзовую жилу
    ломы жгут.

Распалился гневом
    царский лик —
головой налево
    царь поник,
и — глухой расправы
    старожил —
голову направо
    положил.

В дождике стаканы
    на столбах
    слышат истукана
    громкий «ах»,
повторяют арки
    там, где храм,
медного монарха
    медный храп;
дождь стекает сиро
    по усам.

Облака —
            над миром —
                        паруса.

1927

46. МОСКОВСКАЯ ТРАНЖИРОЧКА

1

Зима любви на выручку —
рысак косит,
и — ах! —
московская транжирочка
на легких голубках[1]
замоскворецкой волости.

Стеклянный пепел зим
стряхни с косматой полости
и — прямо в магазин.

Французская кондитерша,
скворцам картавя в лад,
приносит,
столик вытерши,
жемчужный шоколад.

И губы в гоголь-моголе,
и говорит сосед:
    — Транжирочка,
    не много ли? —
И снова
        снег
            и свет.

2

А дед кусать привык усы,
он ходит взад-вперед:
иконы,
      свечи,
            фикусы —
густая дрожь берет.

Он встретил их как водится,
сведя перо бровей,

---

[1] Высокие щегольские санки для двоих.

и машет богородицей
над женихом
и ей.

Короновали сразу их,
идет, глухая, прочь
над пухом
и лабазами
купеческая ночь.

3

Меж тем за антресолями
и выстрелы
и тьма:
крутою солью солена
московская зима.

Бескормицей встревоженный
и ходом декабря,
над сивою Остоженкой
вороний продотряд.

Под ватниками курятся
в палатах ледяных
сыпного
и recurrens'a [1]
грязца
и прелый дых.

За стройками амбарными
у фосфорной реки
в снегах
чусоснабармами [2]
гремят грузовики.

Метелица не ленится
пригреть советский люд,
и по субботам ленинцы
в поленницах
поют.

---

[1] Возвратный тиф.
[2] Чрезвычайное управление по снабжению армии.

4

Московская транжирочка,
хрустя крутым снежком,
спешит своим на выручку
пешком,
            пешком,
                        пешком.

На площади у губчека
стоит чекист один.
— Освободите купчика,
хороший господин!

Захлопали,
              затопали
на площади тогда:
— Уже в Константинополе
былые господа.

5

А там нарпит и дом
ищи;
и каждый день знаком —
каретой «скорой помощи»,
встревоженным звонком,
и кофточками старыми,
и сборами в кино,
случайными татарами,
стучащими в окно.
Вчерашним чаем,
лицами
сквозь папиросный дым,
и. . .
наконец, милицией
над пузырьком пустым.

1927

47. ЛЕДИ МАКБЕТ

Стали звать ее Леди Макбет.

Лесков

1

Из объездов по окру́гам
налетел лесник домой.
Бурку с плеч,
арапник в угол,
шапку по́д щеку —
да крой
храпом флигель.

Ночь и, кроме
храпа,
«мышья беготня».
Леди Макбет бродит в доме,
свет ладонью заслоня.

2

Вы живая, без сомненья,
но зачем вас привели
в сонное нагроможденье
страхов,
тени,
мебели?

Я не прежний завсегдатай
честолюбия
и той,
что в одних чулках когда-то
кралась лесенкой крутой,
что кармином губ кормила
и на лесенке тайком
говорила:
— Будешь, милый,
вместо мужа лесником.

3

Петушок охрип
и стонет.
В чашку
рукомойник бьет.
Леди на свои ладони
смотрит
и не узнает.

И светелка поседела,
посинела лесенка.
    На ларе большое тело
    окружного лесника.
Он лежит на шубах чинно,
против меловой печи.
Кровь стекает по овчинам
и по лесенке
журчит.

4

Леди Макбет,
что такое?
Бор идет из-за реки,
дышат листья,
дышит хвоя,
дышат папоротники.
Киноварью и зеленым
наступая всё быстрей,
выпускают
по району
черно-красных снегирей.

Мимо ВИК'а,
мимо школы
свищет сучьев темных дых.
Вот уже у частокола
вся опушка
понятых.
Леди Макбет,
    где патроны,
    где револьвер боевой?

Не по честному закону
поступили
вы со мной.
То не бор в воротах,
леди, —
не хочу таиться я, —
то за нами,
леди,
едет
конная милиция.

7—10 января 1927

48. ЛУБОК

Скворешницы,
лабазы,
клети.
Колотят звонари вовся.
Почтмейстер на мотоциклете
летит,
и ветер по осям.

Что фуксии — в цвету девчата,
и каждое окно — лубок.
Перед кондитершей крупчатой
на ставне
глупый голубок.

И одуванчиков в лазури
пушок кочует голубой.
Купчиха думает о буре, —
«как будто в бурях
есть покой».

А щеки медные накрася,
раскинув юбки,
как штандарт,
сидит в лазурном тарантасе
египтянка с колодой карт.

Колдуй,
воровка,
так и этак,
чтоб, стать почтмейстершей спеша,
к хозяину мотоциклета
не опоздала
нэпманша́.
Крестей и виней
ветер черный
с ладони метит —
в небеса.

Село пропахло
сельдью,
шорней,
продажей
сена и овса.

1928

49. У САМОГО МОРЯ

Молочными волнами
весь берег окроплен.
Скользит над валунами,
как паутина, лен.

Я слышу
лай легавой
и резкий ост в полях.
Я вижу
торф,
и гавань,
и кузов корабля.

Везут на бойню эсты
взволнованных свиней:
не сыщешь в мире места
подобного — тесней.

Крутые лютеране
на прачечном плоту
жерлицами тиранят
уклеек
и плотву.

Художник в красном светре
сидит у эстакад.
Шиповником обветрен
за кирками закат.

И в Pharmacie[1] студенты,
в халатах и очках,
душистое unguentum[2]
сбивают в ча́шечка́х.

Но только ветер сильно
качнет
мольберт
и плот, —
химической красильней
и мистикой
пахнет.

Луной волну обрызжет,
и ноги проминать
выходит
латник рыжий
на тихий променад.

И смотрит в окна зданий,
качаемый в воде, —
не видно ли восстаний
в красильной слободе?

1927

---

[1] Аптека (франц.). — *Ред.*
[2] Мазь, крем (лат.). — *Ред.*

МОЛОДАЯ ЖИЗНЬ

50. ДЖИММИ ХИГГИНС

В Белом море — ветров дыханье.
В Белом море —
английский флот.

Из Америки
прислан механик —
Джимми Хиггинс —
на северный фронт.

С кем он виделся?
Что он встретил
в горькой тундре,
в трудном лесу?

Он проснулся уже в лазарете,
и рука у него на весу.

Партизаны Архангельск брали,
наступая на много верст.

Джимми Хиггинс легкий тралер
к островам королевским вез.

И над Лондоном небо сырое,
неприветливое висит.

«Джимми Хиггинс,
вы были героем».
— «Бедный Джимми,
ты инвалид».
В лазарете король английский.

«Я станок свой и мир люблю!»
Это Джимми
по-большевистски —
вспыхнувшему королю.

«Джимми Хиггинс,
солдаты не дети,
так нельзя говорить с королем.
Что написано
    в этом билете?
Что ты носишь
    на сердце своем?»

Джимми Хиггинс молчит недаром, —
всё равно на него донесут,
    как он встретился с комиссаром
    в черных папоротниках — в лесу.

1924

51. В ЦИРКЕ

Над веселым кругом манежным
лампы первой величины,
легкой музыкой —
                    вальсом нежным —
конь и всадник
                увлечены.

Отдых смутный
и воздух сладкий,
и не дышат
и дышат все.

Сердце кружится акробаткой
в неожиданном колесе.

Ловкий клоун,
судьбу кувыркай!

    Без трамплина и гамака
    мы летим через купол цирка
    в проплывающие облака.

Кресла дальше,
                туманы ближе,

и сквозь них —
рассыпной костер.
Помогай,
неуклюжий рыжий,
в небесах растянуть ковер.

По ковру мотыльки,
и узор
их,
как легчайшая вата,
летуч.

Хорошо
в голубых озерах
с островами
случайных туч.

Хорошо,
пролетая этак,
слышать
встречного ветра
хлёст
и наигрывать из опереток
на стаканчиках ясных звезд.

Хорошо
на больших вершинах
с золотистой луной вдвоем.
Но внизу —
и друзья,
и машины,
и стихи
на столе моем.

Значит, нам с небесами не спеться,
не расстаться с тобой, земля.
Хорошо
соскочить с трапеции
на манеж
и сказать: voilà! [1]

1924

[1] Вот, пожалуйста (франц.). — *Ред.*

52. АДМИРАЛ ЗЕМЛЕЧЕРПАЛОК

Во дворе,
где кирпичный брандмауэр,
за пузырным стеклом,
в номерах
он живет —
шоколадный мавр, —
крытый солнцем
речной адмирал.

Он повсюду незаменим —
крестный сын боевого огня.
И
хотя мы ровесники с ним,
он гораздо моложе меня.

Приказанье отдав без длиннот,
на рассвете
реку веселя,
он проводит
брюхатый дредноут
в маслянистых
цветных киселях.
И за ним,
разваля на плес
туго вскормленные короба,
землесос
и другой землесос, —
весь в матросском белье
караван.
А под вечер
        тростник
        и причал
                станут тенью
                и уплывут.

Контрабасы пивных по ночам
                океанским прибоем ревут.
И трехгорные
                штормы

яхт-клуб
укачали
и рвут якоря.
Адмирал,
Христофор Колумб —
ничего себе был моряк!

Адмирал,
вы слыхали звон,
да забыли его давно:
не по рекам ходил Язон
добывать
Золотое руно.

Адмирал,
не платя за фрахт,
сколько черных недель напролет
Ледовитый
грузил на «Фрам»
синевой полыхавший лед.

Адмирал,
удивительных стран
вас не трогают
острова!

Адмирал говорит:
— Мой стакан
за широкие баржи в дровах.
Не за море,
травы голубей,
не за айсбергов звонкий затор, —
за испуганный взлет голубей
с тротуаров
на крыши контор.
Не за теплых магнолий разлив,
не за воздух
сплошной камфары, —
за скользящий
сквозь лестницы лифт
и горячего цеха
дворы.

За буксир с почерневшим флажком,
прошуршавший по жирным волнам,
за апрель
над глухим порошком
мукомолов
и угольных ям.

1927.

53. ПОХИЩЕНИЕ АФРОДИТЫ ИЗ МУЗЕЯ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ

1

Хмурый мрамор и прохлада.
Парфенон.
Спит музейная Эллада
у колонн.

И, в колонны,
Афродита,
заманя,
не глядите так
сердито
на меня.

Выставленная веками
напоказ,
почему нельзя руками
трогать вас?

Как пристало Афродите
в тишине, —
дайте руку и сойдите
вниз ко мне.

2

Легких мифов завершился цикл —
за углом трепещет мотоцикл.

Я трублю в рожок, в седле дрожа.
Задремали ваши сторожа.

Дремлют тоже
экспонаты.

У витрин
ни прохожих,
ни пернатых —
я один.

3

И едва в природе
брезжит день,
Афродита сходит
со ступень
мимо вешалок и стоек
в вестибюль.

И Москва в густой
одета тюль,
и замоскворецкий ветерок
тихо веет вдоль ступень и ног.

У пустого пьедестала
ни души —
брошенное покрывало
и кувшин.

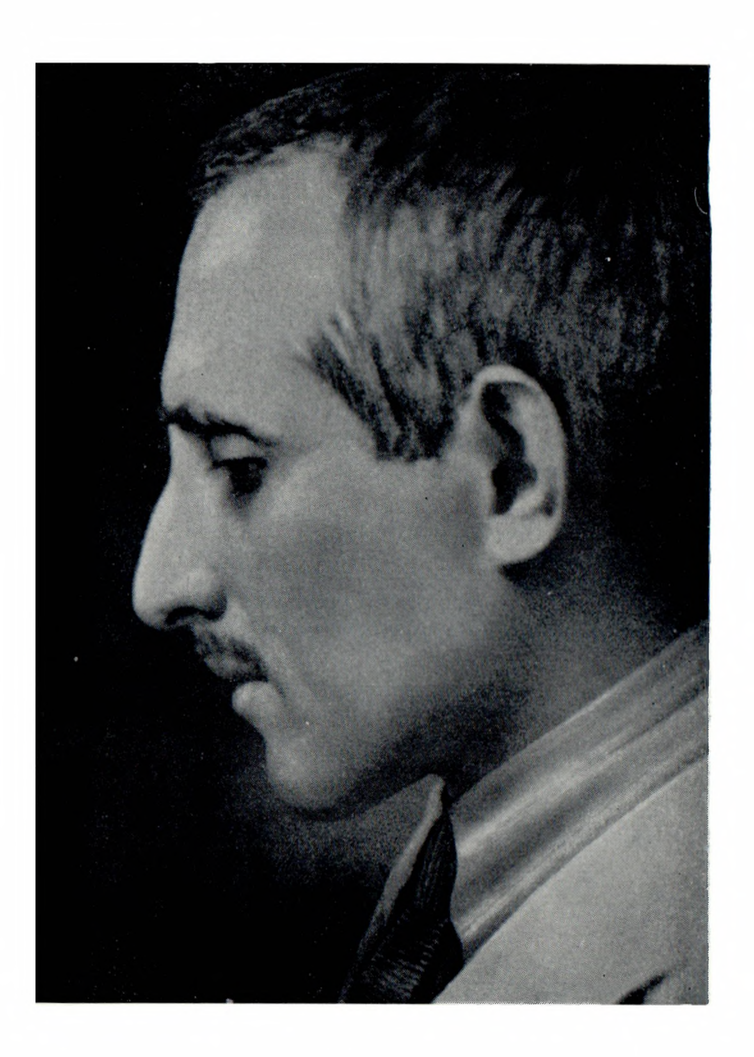
4

Розовеет мостовая,
и уже
ласточки взлетают
в гараже.

По деревьям и по стенам
жар горит,
словно розовая пена
там, где Крит.

Словно розовое море
у олив,
светлой бронзы в зорях
перелив.





Хорошо,
увидя эту
медь,
ласточкой к рассвету
улететь.

5

Афродита,
Афродита,
ранний час
легким облачком карбида
встретил нас.

Покачнувшись сзади на седле,
не грустите о своей земле.
Руки мне на плечи положив,
посмотрите, чем наш город жив:

свежевымыт воздух голубой,
и совсем не прежняя любовь.

1927

54. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ВЕСНА

Профессор закончил экзамен.
Пушистым каштаном задет,
в окошке за кафедрой замер
румяный
университет.

И лак,
и клеенку лекторий
сквозь шторы
закат захлестнул.

И вот не ботаник — историк
опять сочиняет весну.

Идет он к швейцарской налево,
и шляпу ему подают.

Как лютик, цветет линолеум,
и двери скворцами поют.

Он сходит в цветные владенья
косых мезонинов
и клумб.

Виденья,
виденья,
виденья
        взлетают
        на каждом углу.

Ему начинают казаться
в пунцовом меду
над торцом
сквозь грозди
янтарных акаций
две черных серьги
и лицо.

Теснимый из дому томами,
как страсть,
прибывающих книг,
он молча беседовать с вами
в апреле
и в мае
привык.

Он ждал вас в апреле и в мае,
трескучей степи меломан,
чтоб вместе
с площадки трамвая
приветствовать
                        ночь
                            и лиман.

У линий,
мостов
и оврагов,
в лучах семафорной зари
залив —

рафинадом на шпагах,
туманною жженкой горит.

От жженки,
от милых вакаций
ушедших студенческих лет, —
в губернии желтых акаций
и свечи,
и бледный рассвет,
и зеленеют овчины
ночных сторожей по дворам.

И бродишь совсем не по чину
на старости лет до утра.

1928

55. ПИСЬМО О ВЕСНЕ

Начались Контракты,
и река
приняла характер
сквозняка.

Темная готова
встать, как дол,
двинув лед лиловый
на Подол.

С половодьем вместе
чуть серей
Киев и предместья,
чем сирень.

А туман потрафил
теплоте.
В дворик типографий
залетев.

Он пролился наземь,
во дворы

бывшие гимназии
укрыв.

(Далее постскриптум
о ручьях,
что на зависть скрипкам
бьют в ровчак.)

Хорошо в апреле
молодым.
У снегов с капелью
нелады.

Тает,
тени реют,
как пушок.
И в другое время
хорошо...

1928

III

И «РАВНОДУШНАЯ» ПРИРОДА

56. ПРИЗНАКИ ВЕСНЫ

На параллели
Москвы и Ростова
грачи прилетели
и строятся снова.

Отмечено в Сквицах
Ошанской округи —
пенье синицы,
а также пичуги.

Случай отмечен,
хотя и ранний,

цветов над сечами
зацветанья.

Под Ленинградом
гренландская муха
кружилась стадом
над самым ухом.

Лесным институтом
отмечены пчелы:
пригрев на минуту,
луч солнца учел их.

Пылают поляны
и черные рощи,
а ветер румяный
все сучья полощет.

И дождик то с шумом,
то под сурдинку
прольется над ГУМ'ом
и над Ильинкой.

И в улицах скользких
заря золотая;
глухою Никольской
рысак пролетает —
и воздух лиловый
обеспокоен.
Четыре подковы
звенят над Москвою.

Но тише и тише
в проулках пригретых.

И письма ты пишешь,
и все без ответа.

1927

57. ЛЕГКАЯ ПОГОДА ХОРОША

Легкая погода
  хороша.
Покрывает всходы
  пороша.

Всюду обозначен
  разный след,
птичий и собачий
  в том числе.

За глухой дорогой
  в полосах
снег на травах трогает
  лиса.

Я напрасно поднял
  карабин.

Что это сегодня
  воробьи
грянули по грядам
  (чирк и хруст),
и оттуда градом
  в красный куст?

Легкая погода
  хороша.
В это время года
  пороша,
риги лучезарны
  в этот час.

Вылетает парный
  тарантас.

По равнинам ровным
  тень,
    тень,
      тень.

— Лидия Петровна,
добрый день!

Холодно встречают
мой поклон.

Розовее чая
клен,
клен,
клен.

Я напрасно поднял
карабин.

Что это сегодня
воробьи
косяком трескучим
там и тут
зачерпнули сучья
на лету!

1927

58. СПЕШИТЬ, КАК МНЕ, НЕ НАДО ГРАЖДАНОЧКЕ МОЕЙ

«Спокойною удачей
отмечена давно
в дровах
и в клумбах
дача
с окном на полотно.

Глядишь в стекло лениво—
и мимо комнат
вдруг
пройдут локомотивы
на север
и на юг.

А дома тихо...
(Впрочем,
всё ж слышно,
как везде
желает доброй ночи
звезда
другой звезде.)
На блюдечке старинном
уже тринадцать лет
закапан стеарином
последний твой билет,
и вялой цвели ладан
в бауле прежних дней:
спешить,
как мне,
не надо
гражданочке моей».

Так думал,
с вихрем споря,
простуженный турист,
снегов
и плоскогорий
семь суток
слыша
свист.

Но, возвратясь с становий
и ледников
домой,
он альпеншток готовил,
очки
и рюкзак свой.

1929

59. ОСЕНЬ

...Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет.
Она жива еще сегодня, завтра нет.

Унылая пора! очей очарованье!

Пушкин

Рябина в огороде
редеет и горит,
и в тот же срок приходит
ангина и плеврит.

В редакции со светом
пьют чай и говорят
месткомщицы,
поэты
и лифты шумят.

И ветер листья катит
над красным ручейком.
Пока дыханья хватит,
глядит в окно
лекпом.

Ему всего несносней,
что ветер всюду вхож —
под кепи папиросниц,
под зонт
и макинтош.

Что, рассердясь сверх нормы,
он рвать и путать рад
над дачною платформой
седых гусей отряд.

Что начало смеркаться
не в шесть,
а в три часа.

Что на стручки акаций
упали небеса;
что стекла санаторий
дрожат от черных слез.

При темных лампах спорит
с больной
туберкулез.
С лица ее не сходит
багровый цвет:
она жива сегодня,
а завтра нет.

Унылая пора,
очей очарованье?..

1928

60. ЛЕДОХОД

Смотрите на пристань,
　　на лопнувший лед:
все волны на приступ
стремятся вперед.
Их синие перья
над бурей парят.
　　Холодные звери
　　плывут и храпят.
　　Их быстрая пена
　　уносит вперед,
　　им сердце,
　　　　　　и вены,
　　　　　　　　　　и мускулы рвет.
　　И тает у ив
　　многоребрый костяк.
Высокий разлив
у лазури в гостях.
На снег и на прутья
купальщиц-ракит, —
на все перепутья
уже он разлит.

Где смытая пристань?
Где взорванный лед?
На приступ,
                на приступ,
                                на приступ —
вперед!
Все речки овражьи
сливая в одну,
на пристани вражьи
стремите волну.
Гоните
лиловый
медлительный лед,
что зверем былого
из пены встает,
чтоб тысячи верст
под собой потопив,
до северных звезд
расстилался разлив!

1928

61. ПОЭЗИЯ

Трактиры в антеннах,
и горизонт,
и тракт,
и летят под мосток
луга.
Лишь встретятся
      почта
да хриплый «фордзон», —
проедет товарищ из округа.

Брезентовый пыльник,
      портфель
      и наган —
над колеями и лужами.

Природа ложится к его ногам
и кажется
обезоруженной.

Она отдает ему
холод
и зной,
настоянные на железе,
и
вместе с инструктором
и весной
и есть,
вероятно,
поэзия.

1930

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ

62. ГОРЯЧИЙ ЦЕХ

Домна твердила:
      «Дыши,
      гуди
      жаром и пылом песенным».
Как распустился подсолнух среди
ввинченных в небо
лесенок?

Яркая краска
                  его пера
в сумрак
            могла бы выручить.
Печек бушующая жара
била
      из щелок и дырочек.

Паровички розовели во рву.
Бункеры были темными.
Подсолнух сказал мне:
      «Я здесь живу
      и, видите,
      дружен
      с домнами».

1931

63. ОПЯТЬ НА РОДИНЕ

Песок перрона хрустнет круто,
и в дверь заносит
кондуктор дальнего маршрута
фонарь и осень.

И в дверь увидит каждый зрячий,
что не напрасно
обоз по времени горячем
зовется красным.

Гостеприимные скворечни
сквозь сучья реют.
Зайдет в контору огуречник,
узнает время.

Начнут другие подыматься,
забеспокоясь.
Оказывается —
двенадцать,
и скоро
поезд.

Свои мешочки вскинут парни.
Вновь хрустнет гравий.
Товарищ с ближней сыроварни
кашне поправит.

И пассажирский озабочен
и пышет паром
под разговоры тихой ночи
с почтовой парой.

И кто-то проволокой плещет,
задев случайно.

А у меня всего две вещи —
баул и чайник.

1931

64. СОЛЬ

Кругом полынь и привкус хины,
и, крепким натром солона,
цветную от лучей равнину
чуть лижет
ровная волна.

Бреди в растопленном рассоле,
сбирай огонь его
и жди
горячей и тягучей боли,
с которой встреча впереди.

У солеварни,
как пристало,
звездой крупчатой полон чан,
но каждое зерно кристалла —
иголок
и зубцов колчан.

А ты,
стихам сиять позволя,
стеснил оправой трудных строк
крупинку
драгоценной соли,
полыни
горький ветерок.

1924

65. КЛАССИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ

1

Уже на зябкие поля
сентябрьские нисходят зори.
И, трубам перелетным вторя
передового журавля,
углом построенная стая
висит
над млином жестяным.

А моторист,
пласты листая,
сквозь медленных «фордзонов» дым
косые созерцает взводы,
входящие
в цветную тьму.

Как будто весть пришла ему
о близком отдыхе природы.

2

Краток день,
и вот приходят сроки —
сад заржавел,
даже полдень мглист.

В двор асфальтный
меж домов высоких
спускается
осенний
лист.

Он бумажный,
медленный,
и, словом,
хоть и дышит,
прежней жизни
нет.

Мы за чаем утренним в столовой
зажигаем
темноватый свет.

Сквозь табачный дым из отдаленья
пробивается
случайный луч.
Поворачиваем отопленья
непослушный,
непривычный ключ.

Кончен завтрак,
и немного позже

моросит туман,
и всё во сне.

Этот сонный сев —
уже не дождик.
Этот бедный вздох —
еще не снег.

3

Сквозняк и сучья.
Близкая зима
вздувает пыль,
и в воздухе вечернем,
боясь упасть
на темные дома,
свисает купол
серебра и черни.
И кажется —
прохожий ли вздохнет,
иль прозвенит рысак
седым копытом —
и вывернутый купол упадет
и всё придавит
грузом ледовитым.

Но радуйся —
горбатые поля
песком снегов
на тридцать верст пылят,
и открываются большие тучи.

Зерно в тепле
под пеленой летучей.

4

И вновь фанфары,
и опять гобой,
и сучья машут гнездами
и стаей
ворон
и галок.

Траурный конвой
за красной колесницей выступает...

И кажется —
лишь заглянуть в глаза
или до рук
дотронуться руками —
и скатится
горючая слеза,
свернется снег
и запылает камень.

Но радуйся
о мертвеце своем —
он строил,
он страдал,
он был огнем.
В печи последней
легок прах нетленный.

Свиданье двух огней
благословенно.

Между 1927 и 1931

66. ДОЖДЬ

У неба
из светлого ситца,
у тучек,
не слишком высоких,
как легким дождям не проситься
в подсолнух районов далеких?

Донбасс на мгновение ясен —
до самой Ясиноватой
все вышки,
все шахты
в Донбассе
от теплых дождей
синеваты.

Там лошадь,
на уголь ступая,
с опаскою ставит ногу.
Скажите —
она слепая
или забыла
дорогу?

Дождя золотистая сетка
так близко —
достанешь рукою.
Как тихо скользит вагонетка!
Лицо у шахтерки
какое!

Лишь луч из-за тучи брызнет,
сейчас же
идет на убыль.
Как всё это
нежно в жизни,
как всё это
в книгах грубо!

1931

67—68. *ЗИМНИЕ ЯМБЫ*

1

Январь,
но тает во дворах,
и снег чернеет по дорогам,
а тонких облаков игра
напоминает мне
о многом.

Такая нежность в небесах,
как будто
в дымных хороводах
на сверхчувствительных весах
судьба колеблется природы.

И вдруг —
заговорит вода,
и вдруг
качнется на антенне
грачиха
с веткой для гнезда,
и заскользят по небу тени,
и снова станешь молодым
и выбежишь без шапки в сени.

Всё это сделал тонкий дым —
пародия зари весенней.

2

Летучим пеплом серебря
булыжник площади раздетой,
спешат
снежинки января
в сраженье темноты и света.

В кочующих столбах зимы
жаровни стрелочниц застыли.
Пустыми фарами
из тьмы
одни летят автомобили.

И голос радиомембран
сквозь гривы ледяного роя,
сквозь луч,
внесенный в ураган,
поет:
«Мы новый мир
построим».

1931

69. А МИР ТВОРИЛСЯ...

Здесь даже пес припал к ногам,
и душно дачнице кисейной
от псины,
от шмелей,
от гамм,
от листьев в высохшем бассейне.

И снова гаммы.
Вот те раз, —
куда уйти от них с террасы?
Здесь начиналась много раз
мигрень,
и бегали за квасом.

И, желтым зноем опален,
дыша
и задыхаясь вяло,
с открытым ртом
упал пион
на стеганое одеяло.

Он умирал полуседым.
И люди в тесноте немилой
надеялись:
«Пересидим
на даче
сотворенье мира».

А мир творился в мелочах,
он агрономам слал декреты,
пока
цветок над пеплом чах,
пока
играли гаммы где-то.

1930

70. ДЕРЕВНЯ

(От земства до наших дней)

> ...Нанял я вольных и поехал проселочною дорогой.
>
> *Пушкин*

1

А день горел всё далее,
и в небе утренней поры
угаданные таяли
далеких облаков пары.

Не сознавая времени,
его пространством заменя,
чернее и беременней
к заре катилася земля.

Кругом перезаложена,
шла кулакам,
и плыл по ней
почтмейстер
с сумкой кожаной,
да странничек,
да жар слепней.

Бедняк бродил по Питеру
от Пасхи и до ноября
в офенях
и в кондитерах,
в стекольщиках
и в грабарях.

Свое хозяйство бременем
переложив на тощих баб,
не знал он шума времени,

2

А шум переходил в набат.

По избам тараторили,
  что за овинами в снопах
  чужая территория,
  и воздух пулями запах,
  что,
  громыхая
  буцами,
  Маруси в бриджах голубых
  сбирают контрибуцию
  по двести веников с трубы.

  Сдают их англичанину
  и парят комиссарских жен,
  а баня их —
            отчаянье,
  и веник —
          спиртом обожжен.

И власть казалась временной,
она была —
почти ничья.
  Заняв на пашню мерина,
работали у кулачья.
Водились те с милицией,
сдавали продналог в УЗУ.

3

Но всё же
        вне традиции
набат
    переходил
            в грозу.

Как он гремел
  сквозь пар
          ночной,

сквозь рыхлый снег,
который свеж,
как будто
конный нарочный
с винтом
и пачкою депеш!
Как бился
темный колокол
про МТС,
где сталь
и лак!

Из клети
тащит волоком
седой сундук
седой кулак.
— Бери,
гонец,
двенадцать шуб,
— бери,
конец,
бандитский клеш,
но я — кулак —
тебя спрошу,
куда,
зачем
меня ведешь?

— Ну выходи в такую темь:
с твоею песней кончено.
Конвой в сенях.
Бегут на Кемь
зеленые вагончики.
А полночь там —
бледна,
строга,
и звезды все —
потушены.
Одна алынь,[1]

[1] Волна прилива.

да острова,
да в башенках
отдушины.

4

А здесь
журчит, журчит весна
вдоль снежных глыб в расселины.
Она вначале
не ясна
и потому
рассеяна.

Среди соломенных дворов,
над сероватой кашицей,
при бледном
блеске вечеров
она
знакомой кажется.

Но так нельзя судить о ней, —
простая по обычаю,
она другой весны скромней,
сознав
свое
величие.

1931

71. В МТС

Пойдет снежок неторопливый,
и снова
свежий воздух пуст,
и вновь,
как бы протерт олифой,
коричневый
проснется куст.

И тенью
сеялка покроет,
и радиаторы в рядне.
Известно им:
они герои, —
и потому скромны
вдвойне.

Не такова весна сырая,
от нас отставшая кругом, —
гордится
льдинкой на сарае,
навозцем,
мокрым петухом.

1932

72. ОН ЕДЕТ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Он смотрит в окно
в тревоге
еще непонятной,
и мимо
щиты у железной дороги
к глубокой заре
уносимы.
Не ради пустой длинноты
вошедшего в моду стиля
он едет
сжигать дредноуты,
которые всем опостыли:
ведь с ним говорили греки,
и классов не понял толком
хозяин библиотеки,
в которой
одна полка;
на гулкой латыни ученый,
оглохший
от меди этой, —
он видел на саблях ЧОН'а
закат университетов;

он думал —
убогий странник,
идущий по темным селеньям,
купит своим страданьем
работающее отопленье;
а после
вошел он в касту,
которая
как-то сразу
его сослуживцев очкастых
приучивала
к джазу.
И восторгалась «фиатом»,
которая при этом
сердцем пролетариата
считала магнето.

Казалось,
что новый мир свой
понять
и увидеть он хочет...
А интеры в кистях тырсы
осыпаны
сыростью
ночи.

И каждая капля
в тревоге,
и южная ночь
посинела
от факелов вдоль дороги
над танками
земотдела.

Между 1930 и 1932

73. ЗЕМОТДЕЛ В БЫВШЕЙ ГОСТИНИЦЕ

Умирает старая,
темная пора
с тройками, с гитарами
по ночным дворам.

С тайною гостиницей,
 где скрипят полы,
где на вас накинется
 нож из-под полы.

Там трюмо пятнистое
 в низких номерах,
там звенят монистами,
 там кричат «ура!».

Груня одинаково
 потчует гостей,
рдеет розан лаковый,
 под струной у ней,
и платочек ситцевый
 полетел с плеча.

Там с самоубийцами
 шепчется
 свеча.
Пишут длинным вечером
 при свече они,
что любить им нечего,
 некого винить.

И зрачки их у́же всё,
 медленнее дых.
И цыганки в ужасе
 обегают их.
И на всех накинется
 лысый половой.

 А теперь
в гостинице
 штаб полевой.

По чугунным лестницам
 знойно до чего
самым спелым месяцем
 пышет ЦЧО,
пыльником и оводом
 дышит день-деньской.

По прямому проводу
говорят с Москвой:
«По степи разведчики», —
круглые глаза,
степь стрельнет кузнечиком
из-под колеса,
мотоцикл с корзиночкой,
груша на руле.
«Золотая выручка —
зреет чистый хлеб».

1931

74. СЪЕЗД СОВЕТОВ

Серебряной тучки ярче,
среди пакгаузов товарных
вокзал Ярославский,
как ларчик,
украшен
ножом
кустарным.

Четыре уральца,
а пятый,
который в мехах гуляет, —
из стран,
где морские львята
шлепаются кулями.

А здесь очертанья тонки
Кремля
и зимней аллеи;
трубят полуторатонки
с глазами
луны милее,
и мерным снежинкам вторит
антенна
в Замоскворечье.
Лыжник полярных факторий —
он выступает с речью.

А в тусклом эфире слышно —
сквозь снежное опусканье
дрожат
флексатонов вишни
и стонет
песец в капкане.

И в этом дрожанье голом
над проволоками
и шестами
дюжинами глаголов
всходит
одна шестая.

И вновь Ярославский над бездной
ночей
за пакгаузами.
В этом
вся прелесть дороги железной,
встречающей
лампы
буфета.

1931

75. МЫ — НАСТУПЛЕНИЕ

Мы — наступление на этих,
чьей скрыни кованы бока,
кто зажимает ключ от клети
подушками
до потолка.

Кто,
пряча в шубу клюв совиный,
под тыном стелется,
и вдруг
летит
с овина
на овины

шипучего
пера
петух.

Таких гоните из траншеек,
из мокрых и ползучих
ив,
в отвислых ярусах ошеек
пунцовой мухой
окропив.

Чтобы
горячих топок хрустом
был каждый из таких отпет.

В строю
одно лишь место пусто,
так занимай его,
поэт!

Когда же в звездах волокнистых
услышишь небо над собой, —
узнаешь ты
снаряд по свисту
и назовешь его —
судьбой.

⟨1933⟩

СЧЕТ

76. БЕЖЕНЦЫ

На пашне
и в кустах смородины,
уже предчувствуя неладное,
они сбирали
пепел родины

и на груди
хранили ладанки.

И, завтрак при лампадке комкая, —
глазел прожектор неприятеля.
Они бледнели над котомками
и лошадей в оглобли пятили.

Теснились,
и неслись,
и падали.

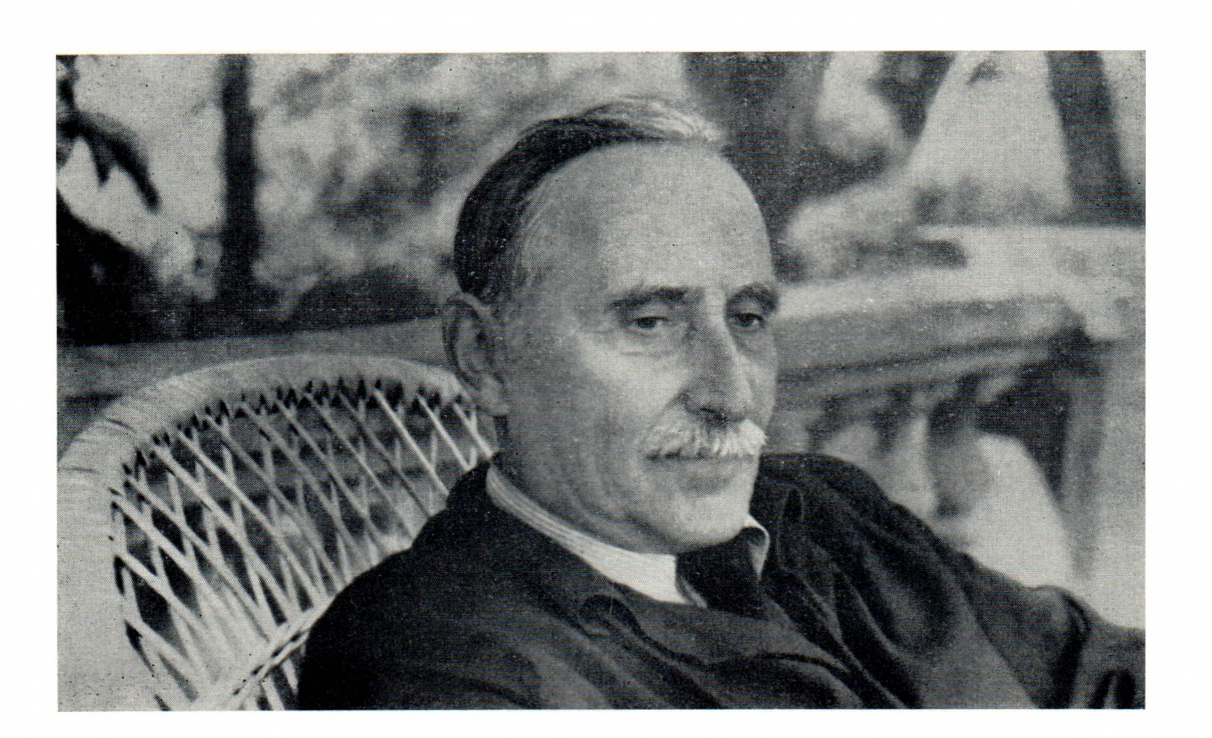
И ночь текла,
как бы слепая,
над миром
фур,
канав
и падали,
косые звезды рассыпая.

И ночь пальбой над полем охала,
горя серебряным и розовым.
Они по рельсам шли
и около
за угнанными паровозами.
И в заморозки при кострах,
на запасном пути
тоскуя,
они бездомный гнали страх
и дружбу приняли мирскую.

Когда неслись дымки вечерние,
в буфете III-его
над баками
все чайники
и все губернии
им стали близки
одинаково.

1924





77. ПАМЯТЬ

1

Семнадцатый.
Как зябь черна
и как белы
солдаток лица!

Скрипела древняя страна
в березах
из дешевых ситцев.

Скрипит не так ли по ночам
возок попов,
спешащих к гробу,
и слишком страшно
паничам
от старых писем
и коробок.

И сеется туман косой,
и небо —
то темно,
то брызнет
какой-то лысой полосой —
границей
между сном
и жизнью,
и всё упорно,
не случайно
уже иного ждет хозяина.

2

Хозяин новый,
где ты?
Слушай, —
с холодных веток листьев рой
на бакан фронтовых теплушек
слетал лимонной мишурой.

И новый открывался вид,
　　которому теперь не скрыться,
на чахлых травок дифтерит,
на жесть
и на картон позиций,
на винницу в огне
и чан
　　бледно-зеленых шишек хмеля.
Глаза твоих однополчан
от браги в котелках
трезвели.

И вот кострами
　　　　　　и папахами
усадьбы
вдоль дороги
попахивали.

8

Зимы неотразимой взгляд
за паровоз без дров в ответе.
Как саночки с пайком скрипят
сквозь сонный снег
десятилетья.

Какие слышны голоса,
встречающие флагов сурик,
как на постройках
по лесам
гуляет вьюга —
враг лазури.
И шлет в фанерный лазарет
в мешочном облаченье
певчих.

Но ржут рубанки на заре:
чем ветер злей,
　　　　　　тем люди крепче.

4

И свежей пашнею во рву,
и экскаватором над бездной
я эту силу назову —
цветок истории железной.

Он распускается в буран,
сияя миру неуклонно
дрожаньем радиомембран
над дымом посевной колонны
и каждым заревом огромным
в стране
          подсолнуха
          и домны.

5

Он распускается в снегу.
Снега журчат
          и вишней стали.
И я на сердце берегу
тычинки вороненой стали.

1927

78. И ВСЕХ ЗАНЕСЛО

Повисли морозы ледком по усам,
                    по сурмам,[1]
               по добрым бекешам.
Загоны[2] топтались на месте,
а сам —
Петлюра был бледен,
и пешим
встречал он полки,
и хоругви неслись

[1] Трубы.
[2] Отряды.

над паром мерлушек
и шапок;
уставив мохнатые морды ввысь,
смеялись селянские шка́пы.[1]
И всех занесло...

И не видел хотя
зернистого шторма снежинок,
но подымался
в ночи
на локтях
печерский коричневый инок.
Он падал, и полз,
и глядел над собой
в пещерок
и выходов гущу,
встречая лампадой
лампас голубой
скрывающихся
и бегущих.
И в черный мороз
без чикчир и рубах
сплошным пузырем серебристым
ложились под скальпель
отряды рубак —
отчаянные кавалеристы.

И всех занесло...

И сквозь рамы казарм
сугробы врывались весь вечер,
над топчанами
свистел их азарт,
он фирном садился на печи.

И всех занесло...

И Евгений, окрест
больничным халатом провеяв,

---

[1] Клячи.

узнал
        и снежинки,
                и крепость,
                        и крест,
и арсеналы трофеев.
И круглые ядра,
и полный колчан
орудий под сивым покровом
он в исступленье топтал
и кричал
многодюймовым:
                        «Добро вам!»

И всех занесло...

1929

79. ДЕЗЕРТИР

Познав дурных предчувствий мир,
в вокзальных комнатах угарных
транзитный трется дезертир
и ждет
        облавы
        и товарных.

И с сундучка глазком седым
на конных смотрит он матросов,
и, вдруг устав,
сдается им
и глухо просит
папиросу.

И зазвенел над ним замок.
И с арестованными вместе
он хлещет синий кипяток
из чайников
тончайшей
жести.

Пайковый хлеб
лежит в дыму,

свинцовые
пылают блюдца, —
он сыт,
и вот велят ему
фуфайку снять
и скинуть бутсы.

Свистят пустые поезда,
на полках —
тощая бригада.
Над мертвецом висит звезда,
и ничего звезде не надо.

1929

80. СИМ-РЕКА

Листья летят в Сим-реку.
Звезды летят в Сим-реку.
Ими усыпала
каждый шаг
красная
осень шахт,

Плачет башкир — дурной пилав,
лист через Сим
пустился вплавь.

— С кем воевал твой сын,
рыбак? —
И отвечает он так:

— Из бревен сложена броня,
и бронепоезд ахает,
красноармейцы смерть бранят,
качаючи папахами.

Подстерегает их отряд
хорунжия Хропушина.
У них цигарки не горят,

фонарики
притушены.
И впереди —
темным-темно,
нигде ни светлой скважины, —
разобранное полотно
на сто четыре
сажени.

Звезды летят в Сим-реку.
Воды летят в Сим-реку.
Папоротники
и малые
мхи
кроют скалы малахит.

В лодке еловой
плывет рыбак,
честное слово,
плеснул чебак,
честное слово,
слышит река
трудную речь старика:

— Красноармейцы встали враз,
хватаясь
за оружие:
лишь встретит станция Миасс
бессмертной славы души их.

А прииск к утру оголя,
глухая и бесплодная,
заря
вздувает уголья
за домнами холодными.

Вскочил хорек
　　прыжком косым,
а волк завыл —
　　по свету
　　вой.
Лежит на листьях
мертвый сын

в рубашке
сатинетовой.

Полночь.
В Челябинск прошел «максим»,
дождик в осинах заморосил,
кружит река,
несет река
лодку
без рыбака.

Воды летят в Сим-реку.
Годы летят в Сим-реку.
Воздух пуст,
и на сотни верст
видно
паденье
звезд.

1928

81. ЭМИГРАНТКА

Маргарита,
кто не пьян
болью балалаек?

Ночь над розами румян
сквозь крюшон
пылает.

Ночь осыпала золой
золотые веки.
Говорят,
под Би́рзуло́й
бьют Петлюру греки.

Говорят,
Нахичевань
занята Красновым.

Где ты будешь ночевать,
Не в Москве ли снова?
Но сегодня черных риз
слишком беден вырез.
С острия ключиц повис
твой озябший ирис.

Чернота плывет с окна.
Равны на рассвете —
прах
солдатского сукна,
пыль твоих косметик.
В кумаче Нахичевань.
Ржет мотор в гараже.

Где ты будешь ночевать,
ты не знаешь даже.

Между 1926 и 1929

82. БАЛТИКА

Балтика в качанье,
    и вдали
водят англичане
    корабли.

Волны полным тыном
    в нос
        и в бок.
Серые мартыны,
    соль
    и кокс.

Щелкнул жаркий щелок
    через борт
и ключом из щелок
    книзу бьет.

Щелоком обдуло
    (тоже так)

тонкие дула
    в кожухах.

Взбрызги и каскады
    не с того ль,
что идут эскадры
    на Стокгольм.

Жгут валы огулом
    и кишат
не с того ль,
    что дула
    на Кронштадт?

Балтика в качанье,
    и вдали
водят англичане
    корабли.

Выставим приборы,
    рюмки им.

— Вы за разговор?

— Поговорим.

— Как бы
    мичман в доску
    ни был пьян!?

Только берег плоский
    да бурьян.

1927

83. ГАЗОВАЯ ВОЙНА

В городе работали
    заводы
    и пивные.
В городе жизнь текла, вольна,

Вечером пятого
мальчики шальные
сбивают с ног:
— Война!
— Война!

У обывателя две заботы:
белье в чемодан,
в пятки душа.

Ночью шестого
чужие самолеты
в перистом небе
винтом шуршат.

Рельса о рельсу.
Тьма.
Сиянье.
Вздрогнул в луче
серебряный рой.
Люди прекрасные, как марсияне,
вас не обманешь сиренью сырой.

Еще дегазируется мостовая,
еще продолжается темный полет,
еще, обуглившись, остывает
чужой самолет
и чужой пилот,
и просыпается город сразу.

Седьмого
рупор басит с вышины:
— Вниманье!
N-ск очищен от газа.
Списки отравленных
вывешены.

⟨1933⟩

84. ВОЙНА

Так.
Я знаю тебя наизусть
по урокам годов пережитых.

Ты — над глинищем ливень,
ты — грусть
кавалерии
в стоптанных житах.

Ты — ревущий вокзал на ветрах,
ты — горластый горнист,
и едва ли
ты не встала с ночного одра
сумасшедшим в крестах
и медалях.

Ты — столбняк,
ты — сыпняк,
ты — ровчак,
куда раненые заползают.

Я хочу удержать
за рычаг,
и где твой вестингауз —
я знаю.

Мне известно,
куда ты летишь,
злой экспресс,
и о чем ты хлопочешь.

Этот дождь торопливый,
и тишь,
и с убийствами
темные ночи.

От такой тишины по земле,
от такого

глухого безмолвия
даже в рукописях на столе
      пробегают
            короткие
                  молнии.

Только тронешь перо —
      и курцшлюс.
Только вымолвишь слово —
      и сразу
            по Европе,
                  как воды
                        сквозь шлюз,
                        хлынут шлемы
                              за волнами газа.

— Я, товарищ начальник, знаком
      с этой музыкой
            бесноватой,
прикажите —
                  сумею стихом,
разрешите —
                  смогу и гранатой,
чтоб пробиться в иные века,
чтобы с будущим перекликаться.

———

Эти строки писал я,
пока
легкий дождь
шевелил акации.

1927

85. ПОЭЗИЯ

Счастливец тот,
кто в знойный час —
час стрекозы над Гиппокреной —
следил,
как отгоняет пену
губою бархатной Пегас,[1]

кто в ссылке позабыть не мог,[2]
как одевался в мрамор свежий
его лазурный городок
и попадалась глина
реже,[3]

кто ведал степь,
где пел поэт,
палатку с пестрою периной,
где тонок голос комариный,
где «от судеб
защиты нет».[4]

[1] Крылатый конь. Числится в обществе муз. От удара его копыта образовался поэтический ручеек — Гиппокрена.
[2] Овидий Назон.
[3] Современник Овидия, император Август говорил: «Я оставляю Рим мраморным, получив его кирпичным».
[4] «Цыганы» Пушкина.

Но бесконечно счастлив тот,
кто видел взорванные скалы,
пока сквозь пар
днепровских вод
огнями
небо полыхало;
пока,
производя анализ
дневным занятиям своим,
два берега
перекликались
и всё
завидовало им.

1930

I

86. ЛИСТЬЯ НАД МОСКВОЙ

Лист сентябрьский кру́жится,
с кленов отрываясь,
над лазурной лужицей
на путях трамвая.

Вьется, вьется рябеньким
высоко и низко
над фасадом с пряником
в духе модернистском.

Обречен заранее
прикоснуться к пыли,
он летит над зданием
в конструктивном стиле.

На чернильном фраке он
лорда из фанеры
вдруг отмечен факелом
в праздник пионера.

В полдень золотистыми,
    к ночи голубыми
Кремль осыпан листьями
    в сероватом дыме.

Листья рдеют, реючи,
    над вагонным взвизгом,
Александр Сергеевич
    красными обрызган.

Легкие да звонкие,
    и куда их гонит?
Кинутся вдогонку
                и
    просятся в ладони.

Смелые, без пропуска,
    будто сыплет звезды
винт,
    черпнувший лопастью
самый свежий воздух.

1932

87. ТОВАРИЩУ ГОРЬКОМУ

Россией назывались эти
    и степь,
    и топь,
и суховей,
и визг цыганки на рассвете,
и свечи
тысячи церквей,
и жаркая парча с мощами,
и двор острога,
и лабаз,
и молчаливые мещане,
    где каждый третий
    был лобаст,
крик петухов,
и лай собачий,

и вся осенняя пора,
когда чиновник
едет с дачи
и от зимы не ждет добра,
когда кондитерский калачник
скрипит на четырех ветрах...
И всё таким казалось крепким
и выстроенным на парад,
как дом казенный,
с тяжкой лепкой,
как копья
и орлы оград.

А время шло...
Вы были с теми,
кого их слух не обманул,
кто
в этой тишине
и теми
уже слыхал
подземный гул.

К присутственным местам
с окраин
он дул,
пока,
свинцом богат,
сплошными галками ограен,
носился
над рекой
закат.
И, к полночи
перерастая
трещотки сторожей кругом,
он дул
над царским горностаем
и над купеческим бобром.
И ваши книги
тем дороже,
что каждая —
рассказ о ней,
сейсмографом

неясной дрожи,
взорвавшей землю
в десять дней.

1932

88. ЯБЛОКИ

Стой, земляк,
ты позабыл едва ли
наших детских будней череду:
помнишь,
яблоки мы воровали
в золотом усадебном саду?

И, окопной ржавчиной рыжея,
ты запомнил
яблоки
не зря.

Ночь соломой шелестит в траншее,
блещет небо,
листьями соря.
От войны и сентября природа
полыхает заревом двойным.
Мы скорей,
чем за четыре года,
поняли
значение войны.

И едва дожди заморосили,
день,
а темь
да темь
опять, —
мы пошли всем фронтом по России
яблоки медовые сбивать.

По садам они висели старым,
охраняли их чугун и медь.
Было нашим «бенцам» и «паккарам» [1]
хорошо на желтый цвет лететь.

[1] Марки машин.

Ничего,
что яблоня кипела,
градом капель и сучков кропя, —
мы узнали,
как бывают спелы
яблоки
такого Октября.

1925

89. КАРАБАШ

Как древний пейзаж знаком:
село башкирское вдоль пашен,
и тишина,
и вдруг
завком
под красной шапкой Карабаша.
Там озера дырявый шелк
дышал у дамб
в сплошной осоке.
Паровичок из цеха шел
и голосом кричал высоким.

Он вскрикивал из жирной мглы,
где ночь табачную будили
фанфары
дисковой пилы
и блеск
со стороны плавилен.
И воздух был огнем задет
над всем,
что нашей мысли мило, —
над копанью,
где нефти цвет,
над партизанскою
могилой,
над всем,
где тишина была,
над всем,

что отлетело с нею,
над всем,
что греет добела,
огнем
и воздухом
владея.

1931

90—92. *ТРИ ЗИМЫ*

1

Трубит пурга
в серебряный рожок,
как стрелочник на запасных путях.
И, холодом лазурным
обожжен,
в перекати-снегах
трещит будяк.

И, может быть,
в сухое серебро,
на самый край
чешуйчатой земли,
угрюмые налетчики Шкуро
хорунжего
на бурке
унесли.

И что им делать в воздухе таком:
ломать щиты в высоких штабелях,
на паровоз идти за кипятком
или плясать
с метелью «шамиля»?

Зевает лошадь,
вытянув губу,
дымит деревня,
к ночи заалев.

С свечой в руке
лежит джигит в гробу.
Хозяйка
вынимает
теплый хлеб.

1929

2

Трамвай пургой обескуражен.
Сквозь сон снегов глядеть легко ль?
Летит
из темного гара́жа
глазами легкими
«линкольн».[1]

Он и в метели дальнозорок,
он цепь с колес
сорвать готов,
трезвоном
заглушая сорок
московских
вьюжных
сороков.

Мелькнет вагон
и тухнет сразу.
Блеснет.
И где он —
вырезной
с зеленой бабочкою газа —
фонарь,
засыпанный зимой?

---

[1] Автомобиль заграничной марки с борзой на радиаторе.

Седой рысак под сеткой красной
(на всем ходу, не как-нибудь)
его
старается напрасно
горячим мылом
захлестнуть.

Постой, зеркальная борзая, —
сквозь жар костров
и снежный дым
мы вызов и тебе бросаем
и, близко время,
победим!

1930

8

КОЛЕСНИЦА АПОЛЛОНА НА ФРОНТОНЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Снег. Над снегами
московские крыши
красное знамя
зимы колышут.

Может быть, это
огни светофоров
пурпурным цветом
плеснули на город?

А на театре
возница,
и эллин
красными спицами
снега расстрелян.

Встречен ладонью
милиционера,
стал на фронтоне
с лирою серой.

Кони обветрены
    пеной зеленой
над всем серебряным
    котильоном.

И ожидаешь
    у снежной Эллады,
только трамваи
    не те, что надо.

3-й проходит
    и № 4-й.
Звезды и хвоя
    в стеклах затерты.

«В» продымится
    и № 17.

Медный возница
    хочет прорваться,
но застывает,
    ладонью встречен.

Рвутся с трамваев
    римские свечи
и потухают
    в Замоскворечье.

И небожитель, и быстр
    и разгневан,
правит сквозь искры
    в багровое небо.

1932

93. ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Ах, этот бой на башне Спасской!
    Не высота ль
пересыпает без опаски
    ночной хрусталь?

С зубцов Кремля и с караулок
дымится свет.
Свернет трехтонка в переулок —
вывозит снег.

Подняв свой воротник,
не узнан
никем кругом,
среди машин в сугробах грузных
идет нарком.

Проходит в лунный и зернистый
снег января,
где торговали букинисты
и пекаря.

Он молча входит в наркоматы.
Склонясь к столам,
курьеры спят в пустых палатах
без снов
и ламп.

С лиловых,
желтых,
синих папок
и с теплых труб
ночь кинется десятком лапок
в свою нору.

Он тихо раскрывает двери,
и, просияв,
луна
на книгах бухгалтерий,
как кисея.

И карандаш его нередко
сквозь мягкий дым
роняет на поля заметки,
как жар с звезды,
которая зовет к ответу
вас и меня,

снега одной шестой планеты
воспламеня.

Что я скажу?
И ночь, как вечер,
прошла не зря:
мой труд раскрыт.
Потушим свечи —
уже заря.

1929

94. 9 ЯНВАРЯ 1905 ГОДА

Рваным паром заметен,
полк проходит без знамен,
на свету и в темноте,
мимо конок и аптек,
мимо складов дровяных,
мимо жестяной Невы.

Барабанщик в глаз и в бровь
палками швыряет дробь,
на шинели обваля
снег зеленый с фонаря,
мечет палками горох.
Петербург от них оглох.

Шторы в тихой зеленце,
император во дворце
на войска и на гранит
из-за шторы поглядит;
удивлен и оскорблен,
мимо окон ходит он.
Поглядит — и снова шаг, —
от шагов трезвон в ушах.
В белых шапках снеговых,
Петербург оглох от них.

А убитых наповал
возит, возит катафалк.
От литых паникадил
в церкви дым понаходил,
и архангелы вокруг
блещут бляхами кольчуг
и летят туда, где «несть
воздыханье и болезнь».
И над гробом — вздох старух.
Глохнет в вздохах Петербург.

1933

95. КРАСНОФЛОТСКАЯ

Морю не спится
от грозных погод.
Наши эсминцы
идут в поход.

В брызгах и каплях
сумрак повис.
На море волны
то вверх,
то вниз.
Много ли,
мало ли —
влево,
вправо
плаваем,
плавали,
будем плавать!

В машинах жарища,
в воздухе — лед.
Чего они ищут
ночь напролет?

Шумная пена —
снега белей, —
пушки,
антенны

чужих кораблей.
Много их?
Мало ли,
слева,
справа.
Плаваем,
плавали,
будем плавать!

Командам не спится
от непогод.
Вышли эсминцы
в учебный поход.
Сколько их?
Сколько —
тайна моя.
Скользкая,
горькая
брызжет струя.
Много ли,
мало ли:
наше право.
Плаваем,
плавали,
будем плавать!

Выпьем поэтому
за молодых —
шапочки цвета
ночной воды.

Выпьем за молодость
«стариков» —
звезды
и золото
вдоль рукавов.
Много ли,
мало ли:
наше право.
Плаваем,
плавали,
будем плавать!

1932

III

96. ОЧЕРЕДНАЯ ВЕСНА

Товарищи,
снова синеет весна
за рощами и заборами!

Какая в этом году она
холодная
и нескорая,
какая застенчивая на вид!

И смотрят грачи —
под квартирами
из прачечной
ручеек летит,
радугу имитируя.

И мимо осыпанных ливнями сел,
где вили венки
на Троицу,
отставшую льдину
приносит Псел,
а завтра
и Волга тронется.

А завтра
сквозь солнце,
с дождем пополам,
жаворонками прыская,
пойдет,
загудит,
задымит по полям
четвертая большевистская.

Из ящика цирка,
вдали разглядев
весну
на пригретом гравии,
вновь дремлет,

вновь думает лысый лев
о небе своей Аравии.

А здешнее небо
бледнее вдвойне
и сыплет мерцаньями редкими,
пока проступает в моем окне
луна
голубыми ветками.

1932

97. МАРТ

Сугробы горами
  лежат у крыльца,
а дома герани
  под клеткой скворца.

И в комнате старой
  у низких окон
недоброй гитары
  рассеянный звон.

И вечер на зданья
  огнем полыхнет,
и ветер настанет,
  и ледоход.

Но этот и ранний
  и строгий закат
скворцу и герани
  и струнам не рад.

И горе не в том,
  что отрадой сердец
один под окном
  невеселый скворец,
а в том,
  что от сплетен,

от жизни во сне
не может пропеть он
тебе о весне.

И горе не в том,
что герани одни
цветут под окном
в эти сизые дни,
а в том,
что не к сроку
они расцвели
в густой и жестокой
и сонной пыли.

Беда небольшая,
что домры игра
всегда украшает
твои вечера.

Но только зачем этих струн
говорок
грохоты льдин на ветру
превозмог?

И в комнате старой,
среди темноты
над бедной гитарой
задумалась ты.

За окнами ветер
и ледоход,
и в огненном свете
утро встает

и, радуясь юным
и молодым,
стекает по струнам
и пальцам твоим.

Играет в тумане
заря вдалеке,
и вспыхнет,
и тает,
и тянет к реке.

А с шатких мосточков
глядят на струи
в румяных платочках
подруги твои.

И струны ты хочешь
порвать сгоряча,
чтоб слушать до ночи,
как льдины звучат.
Чтоб слушать,
чтоб слушать
часами подряд,
как, старое руша,
потоки гремят.

1928

98. СТЕНА КОММУНАРОВ

Французы чтят умерших.
Слава богу,—
кладбища не запущены!
Видна
в шнурах плакучих ив,
нависших строго,
отмеченная пулями стена.

Быть может, коммунары, при расстреле,
предчувствуя исход борьбы иной,
уйти в кирпич
и стать стеной хотели

и не сумели сделаться
стеной.

И, может быть,
в года гражданских бедствий,
как высшим мужеством заведено,
они сердца
оставили в наследство,
и с уваженьем
принято
оно.

Еще звенят венки из скорбной жести,
как колокол,
очерченный стрижом,
но гражданин столичного предместья
совсем другим венком обворожен.

И, надписи на ленте познавая,
он шляпу скинет
и подавит вздох,
и скажет он,
что есть стена живая,
и вам рукой покажет
на восток.

1926

99. ТРАУРНЫЕ ТРУБЫ ЖУРАВЛЕЙ

Памяти Маяковского

Торф затопило.
И мы над ним.
Стало нас меньше как будто одним.

Воздух без края, разлив без границ.
Где же наш
самый
громкий горнист?

Здесь
он водил
свой серебряный
полк,
здесь
он гремел,
и здесь
он умолк.

Вербы в воде — как черный паром,
воды играют его пером,
воды уносят послушный пух,
каждый ручей
от слезы распух,
каждый ручей
прощается с ним.
Что же, товарищи,
полетим!

1932

100. МАЙ

На каштанах
за домами,
тронув свечи лепестков,
в их серебряном
тумане
сколько
быстрых
хоботков!

Пчелы
за работой
новой,
хорошенько посмотри —
в каждой лодочке
цветковой
заблудилось
целых три.

Если воздух
медом дразнит
до круженья головы,
значит,
май —
цветочный праздник
шубок
черно-голубых.
Значит,
смычкой май ликует
фабзавучей
и щеглят,
значит,
в нашу мастерскую
пчелы теплые
летят.
Ты в оконные прорезы
посмотри на суету:
раскаленное железо —
те же яблони
в цвету.

Дым
таким же медом
дразнит,
вдоль заката
пронесен.
Значит,
май —
весенний праздник
красных с золотом
знамен.

1925

101. МОЙ СОЛОВЕЙ

Всё депо раскрывается в степь.
И в луне, и в тюльпанах долины.
Как не слушать
на каждой версте
пересвист,
перещелк соловьиный?

Блеск по веткам скользит на перрон.
Соловей и стучит и сердится.
У него под крылом,
        под пером,
наливается яблоко сердца.
Он глядит на большую весну,
задыхаясь в серебряном гуле.
Я уверен:
такую струну
не на рельсопрокатном тянули.
Будем встречным друзьям говорить
убедительным слогом петиций,
        что должны
        над цехами парить
        эти курские
        теплые птицы.
Есть программа на полную жизнь,
и важней она
многих заданий:
соловьиного соло держись
и степного тюльпана в стакане.

1927

IV

102—104. *ТРИ ЛЕТА*

1

Это лето нас всех доконало,
даже Днестр
от пальбы пересох,
и по трубам водоканала
фосфорический шел песок.

Всё,
        что тучей далекой было,
        что катилось
        ливня синей,

висло гроздью
восточных кобылок,[1]
и трещало
в мильон челюстей,
и кишело смарагдом и чернью,
и у нижних ползло по плечам.
Я прошел пятьдесят губерний,
видел
чехов
и англичан,
но не думал,
что может рассада
поседеть
от персидской орды.
Прямокрылое наглое стадо
раскрывает
железные рты,
и тяжелые головы клонит,
и закрыло
случайный стожар,
и крылечки немецких колоний,
и колеса молдавских мажар.

1921

2

Везде,
куда хватает глаз,
торговые горят палатки
морозом, втиснутым в облатки,
и газ в баллонах
не погас.

Меж столбиков цветных,
на фоне
сиропов с содой пополам,
сифоны сипнут от симфоний,

[1] Саранча.

и ложки
скачут
по волнам.

И волны рыжего оттенка
готовы брызнуть к рубежам,
где ставили недавно к стенке
и рыл окопы
буржуа.
Но перекресток струй шипучих,
фонтанов выстрел голубой —
военной бури
частный случай
и, значит,
не последний бой.

И верно —
глохнет шум в стакане,
и золотистая вода
смиряет пузырьков скаканье
и затихает
навсегда.

1927

3

Трамвай несет под звон и гул,
скользя стеклом по листьям мокрым,
ночного токаря баул,
блистанье
никеля и охры.

И нет его.
И синь бледна,
и над глухими овощами
при всех звездах
стоит луна,
о близкой осени
вещая.

И заводской сияет двор,
где луч плывет по черным ребрам
Еще готов один мотор,
и следующий пульман собран.

А ночь идет.
И в блеск сквозной
скользит звезда
вдоль тихой ночи,
и, как бы сговорясь
с звездой,
везде
кузнечик забормочет.
И темный поезд облаков
сияньем жестяным затронут.

Еще один мотор готов.
Еще окончены вагоны.

Глядит надменно интурист:
— Откуда
вдохновенье это,
где вид вокзалов неказист
и ждут мешочники билета?

1931

105. АМЕРИКАНКА

(Летнее кино)

Она всегда готова к бою.
И неприятелю назло
платок ее —
фуляр ковбоя —
завязан тщательным узлом.

А там американке дерзкой
преград и остановок нет.
Летит по шпалам за курьерским
с корзиночкой мотоциклет.

И в кабаке,
где пляс и виски,
она с бандитом хлещет ром
и пишет чеки,
как записки,
автоматическим пером,
чтоб тут же,
позже
или раньше,
поочередно ждать за них
навахи,
выстрела
и ранчо,
где лекарь
вместе с тем — жених,
где даже бабочка рябая,
где пастор,
освящая брак,
вам скажет:
— Тот лишь не дурак,
кто, падая,
не погибает.

1933

106. НАКАНУНЕ

Жаркое небо
стригут стрижи,
делая
виражи.

Мимо детей
и мимо клумб
взлеты
и новый румб.

Им хорошо.
Ни за что не отдашь
высший
их пилотаж!

А облаков
не больше двух,
каждое —
розовый пух.

На переплетах
тетрадей и книг
дымные тени
их.

Книгу раскрыл я,
и говорит
прошлой войны
инвалид:

«Гонит пехоту
мордастый капрал,
черт бы его
побрал.

Встань да ложись,
подымайся вновь.
Поле —
навоз и кровь.

В поле носилки
и доктора.
Мясо висит
с бедра.

В сколько он ценит,
толстый мясник,
каждый такой
золотник?»

— Знаю, товарищ,
не мы начнем
эту игру
с огнем.
Только стране
моей укажи,

как ей работать
и жить,
    если не ласточки
    имя ее
    ластят,
    а воронье,
    и резеду
    в голубой траве
    облаком
    срежут ОВ,[1]
    и прогремит батарея,
        летя
        через мое
        дитя.

Может быть, лучше,
    храня покой,
лечь на приклад
щекой?
Может быть, лучше
для вас и нас
вовремя
выверить глаз?

1927

107

Не поспевает жизнь за нами.
Еще оркестр гудит в ушах,
но пешеход проносит знамя,
    с манифестации
    спеша.

Еще дают в месткоме пряник
от двух часов до девяти,
еще трамвай —
других упрямей —

[1] Отравляющие вещества.

идет
не по тому пути.
Еще пекут,
взбивают,
жарят
и кипятят китайский чай,
но морщится
воздушный шарик
и умирает невзначай.

И управдом звезду снимает,
презренной
прозой говоря,
и прячет,
может быть,
до Мая,
а может быть,
до Октября.

1932

МИР ДЛЯ НАС

108. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Театр распахнут, словно бой,
и мы — его солдаты — ценим
искусство жертвовать собой
не только на высокой сцене.

И нам не нужен хитрый грим,
 который нас бы онелепил:
пусть говорят,
 что мы горим
 и наши волосы,
 как пепел.

Мы, вольным воздухом дыша,
ведем, как прежде, пьесу эту,
затем,
что в ней живет душа,
какой
и у Шекспира
нету.

Между 1932 и 1934

I

109. УТОЧКИН[1]

(1910)

Пешком,
 в ландо,
 в таксомоторах
 на керосиновом ходу
и в циклонеттах[2] мы,
 которых
так много в нынешнем году.

Сарай уже зовут ангаром,
и в ожиданье
два часа
под солнцем яростным, но старым
зонты
 стреляют
 в небеса.

Две жердочки как будто крепки,
и табурет прилажен к ним.
Пилот в велосипедной кепке
ни с чем на свете не сравним.

И, все бечевочки проверив,
как бы с американских гор,
над морем страусовых перьев
 он валится
через забор.

Киоски извергают воду,
матчиш безумствует кругом.

Поэт стоит с открытым ртом:
— Летун отпущен на свободу!

1935

---

[1] Один из первых российских авиаторов.
[2] Трехколесный автомобиль.

110. ТАК НАЧИНАЕТСЯ ДЕВЯТЬСОТ СЕМНАДЦАТЫЙ

(Гипноз)

Не улица —
сплошной ручей.
В казарме ратники
закрыты.
Сквозь сто ручьев,
сквозь сто ночей
трубач их кличет:
До
ко-
ры-
таа!
А бабам ихним — бог подаст.

И главный прапорщик
тогда-то
в лихой папахе,
не вихраст,
глядит,
глядит
в глаза солдатам.

Идет
и тут же тает снег,
и потому
он так обиден.

Бородачи
как бы во сне
встают,
не слыша
и не видя.

Как некий пар висят дворы,
как пар развешена дорога.
Деревьев
смутные костры
дымят,
но запылать не могут.

И валятся густым гуртом
отряды маршевые
в поле.
Мужик
с еще набитым ртом
кричит «ура»
и в воду колет.

Над ним
парит
мильярд сапог,
картонок
и обрывков жести.

Монах,
присев за бугорок,
туман войны
с улыбкой
крестит.

А если штык ему к груди,
а если так прервать сраженье,
чтоб сон остался позади
и наступило
пробужденье.

Между 1932 и 1935

111. МАСТЕРСТВО

Пока владеют формой руки,
пока твой опыт
не иссяк,
на яростном гончарном круге
верти вселенной
так
и сяк.

Мир незакончен
и неточен, —
поставь его на пьедестал
и надавай ему пощечин,
чтоб он из глины
мыслью стал.

1935

112. СЛАВА

Там, в волнах за льдиной многоглавой,
полуснег кочует — полудым.

Но как быть нам
с нашей хитрой славой,
сухопутным и немолодым?

Мы бледнеем
от пустого факта,
на душе у нас нехорошо,
если критик наш
или редактор
не по нашей улице прошел.

Мы не спим,
и тишины
нам мало, —
мы не спим,
хотя в конце концов
и жилплощадь
не грозит провалом,
и не слышно передвижки льдов.

Ночь обычна,
небо ясно в меру,
несмотря на самый поздний час,
всюду ходят милиционеры,
несомненно охраняя нас.
В магазины хлеб для нас доставив,
рядом
ровно дышит хлебзавод.

Может быть,
не думать нам о славе,
и тогда она сама придет.
Об одном лишь думать нам,
быть может,
чтоб была у нас строка верна,
чтобы мир стихотворенья ожил,
как на храбром сердце
ордена.

1934

II

113. ПРОМЕТЕЙ

Захлестывая снегом губы,
тропа выводит на карниз,
и с сумкой ты и с ледорубом
на страшной
высоте повис.

И сотни синих, жарких простынь
внизу
раскинули поля,
пока вверху —
в пустыне острой —
снегами
коршуны пылят.

И каждый отлетает грузно,
и видно —
он по горло сыт.

Кто Прометею *объяснит*
покой долины кукурузной?

20 августа 1934

114. ПУТЬ В СВАНЕТИЮ

Иглами стояли в небе скалы,
впрочем, небо провалилось вниз.
Снег всё шел
и таял.
Вылетала
узкая тропинка за карниз.

Пять часов была всё та же слякоть,
пять часов пурга неслась в упор, —
я не знал,
что можно горько плакать,
с кристаллических
спускаясь гор.

Я не знал,
что снег опасен глазу,
что лицо себе я обожгу.
То, что издали казалось базой,
было темной тенью на снегу.

Я не знал,
что возбуждает жажду
этот всеми проклятый снежок,
падал я
и подымался дважды,
я идти уже почти не мог.

Как же там краснознаменцы наши —
плотник,
каменщик
и подрывник —
путь ведут в страну старинных башен?
Вероятно,
крылья есть у них.

1935

115. ЗАГЭС

Колпачки церквей.
И словно проба
ржавых пил,
визжит зурна,
хотя
я четыре дня в Тифлисе пробыл,
к винным погребкам
не подходя.

Надо мною,
над рекою в пене,
над мерцаньем виноградных гор
золотую руку
поднял Ленин
замкам пепельным наперекор.

Он как бы приподымал завесу,
становился проще и ясней —
синий снег
на крутизне за лесом,
этажерки деревень
под ней,
кукуруза
в каменных оградках,
облачко
в ущелье ледяном...

Воздух был,
конечно,
самым сладким,
самым удивительным вином.

1935

III

116. ГЕРОЙ

1

Когда-нибудь за пять минут
тебя тромбоны отпоют.
И на гражданской панихиде
оратор по наряду
выйдет
и скажет слово как-нибудь,
　　что в жизни,
　　а не в смерти суть,
　　что жизнь воспринимают разно
　　у нас
　　и в странах буржуазных.
И вновь задребезжит оркестр
над хвоей —
пальмой здешних мест,
над хвоей
с бантами из стружек.
Погода станет хуже, хуже.
И гроб несут.
И тот охрип.
И этим угрожает грипп.
И в страусовых перьях лошадь
косит,
но сена не предложат.

Ухабы,
ямы
там и тут, —
того гляди — перевернут.
И сам покойник понимает,
как стыдно умереть не в мае.
Другое дело у Довженко.
Стоишь,
а за тобою стенка,

и пули скачут,
о тебя
свои головки затупя,
и в мамонтовых тыквах ветер,
и гроб
          увозят
                    на лафете.

Не увозили мертвых этих.
Красноармеец и краском —
они раскинулись крестом.
Над заводским двором и лужей
погода становилась хуже.

От юнкера спешил петух.
Он от сплошных дождей опух,
он убегал
в сырые палки
подсолнухов,
и было жалко
его
и двор,
который дрог
под тучами больших дорог.
А через лужи конных трое
шахтера гнали под конвоем.
Достигнув рынка,
он бежал...

2

Был дом в четыре этажа.
И в доме лесенка витая —
вела,
за полы вас хватая,
в не слишком вежливый парник
чиновниц,
кошек
и портних.
И на прохожих
шумной синькой

рвалась за двери
керосинка.

Перил волнистая черта
вела и выше —
на чердак,
где звезды, полные покоя,
в окно глядели слуховое.

Ах, слуховые окна!
Вы
калитки темной синевы.
Как много гроз
и грустных грозок
встречали вы,
в летучих росах
качая рукава рубах.

И ливень свежий стиркой пах,
шумел
и уходил куда-то
за линию степных закатов,
где на Бердянск
и на Ростов
скользили тени поездов,
длинней
не видели которых.

И счетовод проснулся:
— Воры!

О, этот тихий стук шахтера!

Ему ответил счетовод,
комодом заграждая вход:
— Нехорошо тревожить сонных,
к тому же я в одних кальсонах.

И думал:
вьюшек стукотня,
и в тучах
лунный ветер воет, —

в ночной рубашке
под конвоем
погонят вместе с ним меня.
Но дверь открыл он,
образцово
железным не гремя засовом.

Луной брандмауэр обрисован.
Секретным язычком ночник
не будит сторожей ночных
и любознательной соседки.
Проскачет
ординарец редкий.
Уже и не слыхать
копыт.
Морковный чай уже допит,
и 56-ю пробу
яичницы
признали оба.

А счетовод
четвертый день
сходил по лесенке
лишь в темь,
не подходить стараясь близко
к разведке
местной
и английской,
пока,
сквозь первый снег застав,
по коням
бурки распластав,
не взял предместья
полк матросов.
А снег всё шел,
от зарев розов.

Шахтер собрался в полчаса,
прощаясь,
обещал писать.
Но писем не было. Тем лучше:
молчанье — знак благополучья.

8

И вот уже снежок на сучьях.
И смотришь,
снегу на аршин.
И ночь
как зеркальце в глуши.

И дома — зеркальце худое.

Оно тебя не беспокоит,
и без него ты знаешь сам
о первом снеге в волосах,
о первой роковой морщине.

Как полагается мужчине,
от полотенца и воды
как будто молодеешь ты,
не чувствуя проклятых нервов,
могил не замечая первых
своих друзей,
но недалек
академический паек.
И заводской кирпичный домик
уже в иных гигантах тонет,
вещая мраморной доской
о прежней жизни заводской.

Но жив мой счетовод.
И даже
в Москву собрался...

С саквояжем,
с подушкой,
с зонтиком своим,
волной туристов выносим,
он вышел с Курского вокзала.

Москва в дыму дождей блистала,
Охотным рядом озаря
канун
седьмого ноября.

Я помню лунные колонны,
я помню строй краснознаменный
президиума.

Счетовод
в четырнадцатый ряд идет
и занял место в ряде этом,
согласно выданным билетам.
О нем забыли.
Лишь красном
его сверлил косым глазком.
И мысль, как лесенка витая,
уже в других местах витая,
его вела
в дурной парник
чиновниц,
кошек
и портних.
И полночь,
память беспокоя,
в окно взглянула слуховое.

Но не могла закрыть она
ни ромб его,
ни ордена.
И орден с пурпурной эмалью
при магнии
казался мальвой.

Краском блеснул,
над креслом встав,
конспектом предыдущих глав
и кончил
дверью
и комодом.

На сцену звали счетовода.

Семен Семеныч меж знамен
смущался,
славой осенен.

«Юпитер»
раскаленным чаном
глядел в глаза
однополчанам,
сопел,
шипел
и вдруг поблек.
И зал зардел,
как уголек,
и рдели
в крепкой строчке кромок
зеркальные ремни из хрома.

4

Вновь прежний город.
И ночник
не будит сторожей ночных,
соседок,
кошек,
домочадцев.

Ты гостя ждешь —
и не стучатся.

Ты гостя ждешь —
он не идет.

Как одуванчик,
счетовод
каким-то пухом
веет
старым.
Побриться бы!
Комод татарам!
Дверь настежь!
Ветром молодым
пройтись по лесенкам витым
и время, лучшее на свете,
еще за воротами
встретить!

Да здравствует сырая осень —
скороговорка ливней в просе,
глухие тучи в три ряда,
столбы, столбы
и провода...
Они спешат,
спешат куда-то
под бледным лучиком заката,
который теплится,
дыша
под тучами в три этажа.

23 апреля — 7 мая 1933

IV

117. СЧЕТОВОД УШЕЛ...

Счетовод ушел, того не зная,
что, быть может, не вернется он,
скобяною музыкой трамвая —
ржавыми ножами — оглушен.

В комнате его еще знакомы
              стол,
              комод фанерный
              и кровать,
но уже заходят управдомы
сургучами комнату пятнать.

Жакт его еще шумит в прихожей,
но въезжает новый счетовод,
и на прежние совсем похожи
              стол,
              кровать
              и диктовый комод.

Знамя нашей веры — наша правда —
сутки, уплотненные вдвойне,

каждый месяц нам считают за два —
как героям
на большой войне.

Но, как бы в сраженье, хмуря брови,
от побед суровые почти, —
на секунду время остановим,
квартиранта старого почтив.

1934

118. ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ

Птица, влетевшая в окно,
означает смерть.

Упраздненная примета

В окно влетела птица — я умру,
но котлованы роют на ветру,
везут кирпич
дощатые подводы,
насосы
жирную качают воду,
и нефтяная радуга на ней,
в корытах известь от весны синей,
и диск пилы
скрежещет то и дело.

Зачем к больному ты в окно влетела?
О ком ты плачешь?
Ты поешь о ком?

А в этом воздухе почти морском,
как голубые шхуны,
бродят тучи,
как голубые мачты,
ходят сучья,
то обнаружив,
то опять закрыв
на сноску обреченные дворы, —
здесь каменная лечь должна дорога.

Ты крыльями моих висков не трогай —
    на улице
    в разводах грязевых
    загруз
    и трудно дышит грузовик.

    Его шофер сошел
    и давит грушу,
    труба кричит,
    и сразу стало глуше.
    Бежать к нему...
    Скорей ему помочь...

Но этот пух в глазах!
Прощайте.
Ночь.

1934

119. ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД

Гроб твой выносят — ящик из цинка.
Съемка идет под софитов напев.
Гроб твой несут,
заломив гиацинты
и провода на полу задев.

Вот он в вагоне.
    Толпа на вокзале —
    как пораженная тишина.
    Только пластинка с темными глазами...
    в международном
    журчит одна.

    Только пластинка с черными глазами...

Пылен и пуст товарный вагон,
    и саксофон на блокпостах замер,
    начался мост,
    и стучит ксилофон.
    Солнечной, яркой погоде рады,
    воды сверкают, сияет дол.

На отмели —
гибкие, как наяды, —
девушки
играют
в волейбол.

— Разве не холодно?
— Бабье лето!
— Осень зеркальная!
Там и тут
с белой березы, в лазурь одетой,
желтый
снижается
парашют.

Воздух стеклянный на синей подкладке, —
эта подкладка — ледок почти.
Снова встречаются на площадках
сеялки,
бороны,
грузовички.

Всё, что ты строил, любил и трогал,
сотнями,
тысячами насчитав, —
висло дымком
за железной дорогой
на тыквах оранжевых и на щитах.

Встретясь с гремучей коробочкой мака,
в красных крапивах теряло свой след.
Жить бы, работать с иным размахом —
не на десяток —
на тысячи лет.

Чтоб не осенняя тень,
и не ладан,
и не склоненные копья знамен, —
мир —
он не смеет быть не разгадан,
то есть до корня
не изменен.

1934

120. ДЕВОЧКА В КРАСНОМ

Девочка в красном пальто
скользит вдоль железной дороги.

Не то это блюз,
                  не то
румба —
            большие ноги.

Мы смотрим в окно сперва,
плечами
едва поводим.
Но вот начинает трава —
легкая
         по природе.

В росе —
хоть на брошки бери,
зеленая —
               хоть ослепни —
танцует,
            как на пари,
и всё великолепней.

За ней вылетает вокзал,
тележки,
            тюки в рогожах.
Кто это сказал:
— Пассажир?
Танцевать?!
Не может!

Да взять комсомольцев одних,
хотя бы и некурящих.
Послушайте,
                  проводник,
где ваш музыкальный ящик?
И даже два старика,
спрыгнув
            с полок
                        упруго,

приплясывают
слегка,
перебивая друг друга:

«Выбежишь на балкон
к звездам,
задетым паром.
Ночь.
Соловьи
с трех сторон.

В комнате
свечи,
пары.
Не то это полька,
не то
тустеп
или хиавата».

Девочка в красном пальто
одна
во всем виновата.

1935

V

121. ДАЛЕКОЕ РАДИО

Не горишь ты блистательным светом, —
ты мерцаешь,
но знаешь сама,
что ты радио
с дальней планеты,
по которому
сходят с ума.

Отзвенело оно, отзвучало,
затерялось
на синем пути,

промелькнув
без конца,
без начала,
и мне места себе не найти.

Не красивая ты и не слава,
да и голос не слишком хорош,
но дано ему
страшное право,
и ты, править страшась,
не поешь.

1935

122

Невозможно на вас сердиться.
Да и годы теперь не те.

У меня —
        высота
        и птица,
        убегающая в высоте...

У меня —
        сирень на террасе
        ливнем смята и залита,
        и гроза
        каждый венчик красит
        в электрические цвета,
        и не в стеганых одеяльцах,
        а в цветочной пыльце
        и в росе
        всех моих гаражей
        постояльцы
        предо мной
        собираются все...

У меня —
        в отшумевшей столице
        свет сквозь листья
        и холодок,

и вдали
темно-синие ситцы
облаков
и железных дорог,
и друг другу
совсем не мешают
влажный воздух,
и уголь,
и тмин...

У меня —
вся страна большая...
А у вас —
вот такой — я один.

8—9 октября 1935

123. ЦВЕТУТ ГОРТЕНЗИИ В БАТУМИ

С синих шапок провисают
капли с небом пополам —
над косыми парусами,
прислоненными к скалам,
над цистернами
и краткой
перекличкой
поездов,
над маисовой посадкой,
опускающейся в ров,
над зелено-жарким горном
ослепительной земли,
над страной высокогорной,
отдыхающей вдали.

Ты в воде,
и темной гущей
нефть играет
вкруг тебя.

Гроздь гортензии плывущей
рыбы
ртами
теребят.

Море в странствующем дыме.
Моря нефтяную гладь
хочет шапками своими
синий берег
закидать.

Ты выходишь,
ты сердита:
— Посмотрите,
ну и грязь!

Говорят,
что Афродита
здесь
из нефти родилась.

1935

124. СЕЗОН ОТКРЫТ

Вдоль дворов и дорог
сизый снег-сахарок —
здесь и там озарен
пузырем.

На лице легкий зной —
принесенный весной,
он песком пирамид
перемыт.

Он остужен в пути,
но с утра до пяти
все веревки бельем
обольем.

Покачнулся за ним
нежилой мезонин,
и его медальон
оголен.

Видит лев у крыльца —
укротительница,
без собак и прута
в воротах.

Над портфелем ее
звонких сучьев район
подымается вверх,
словно верфь.

Над рулеткой ее
мчатся птицы вдвоем,
потеряв на ветру
по перу.

Лев ревет, — у крыльца
посетительница́
обрекает на слом
льва и дом.

Зверь оперся на шар,
гневной пеной дыша
на серебряный шов
сапожков.

Над венгеркой глухой
ветер машет ольхой,
всей расцветкой горя
снегиря.

И сучки на правах
крейсеров и брандвахт
гонят прелый листок
в водосток.

1934

VI

125. БОЛЬШОЕ ПОЛОТНО

Лошадь в травах жестковатых
ничего не̇ говорит.

Небо. Насыпь. Экскаватор.
На тележках грабари.

Глину, колымажки эти
отражает конский глаз.

Хорошо, что есть на свете
тихие друзья у нас.

1935

126. НА ШОССЕ

Только тень от автомобиля,
различимая не всегда.

Ночь кочует на север
или
убегает на юг
звезда?

Вслед за тучкой
плывет другая

или фосфор
сквозь листья несом?

Мы спешим,
мы звезду настигаем,

мы накрыли звезду
картузом.

А она
    опять
        над стогами
переменчива,
        но легка

и чиста,
    как вода в стакане,
улетевшем
        под облака.

Только ветер на гладком гудроне,
только ветки на всем ходу.

Всё равно
    мы ее нагоним —
ускользнувшую
        звезду.

1935

127. ОСЕНЬ

Над поздними мальвами
буйно заросших баштанов,
среди огневой,
но начавшей чернеть
красноты,
пятнистый и в ржавых иголках
шарик каштана
летит и летит,
проваливаясь сквозь листы.

И в полном сиянье,
и в блеске листов лучезарных,
в коричневой накипи,
в бурой,

в багровой,
в рудой,
в багряной,
в пурпурной
проходят составы товарных
с пшеницей из Таганрога,
с бакальской рудой.

И пыль пролетает.
И, темную воду
нашарив,
за искрою искра
проносится вдоль пути.
И небо краснеет,
и первый белеет фонарик:
к нему всё идешь и идешь,
и к нему не дойти.

Мне жить бы хотелось
у самой железной дороги,
чтоб в ясном,
оранжевом и голубом сентябре
огни семафоров
встречались со мной на пороге
и стрелки светлели
на темно-пунцовой заре.

Чтоб, этим червонным,
червленым
и черным заляпан, —
закат бы звенел и темнел,
пока не замолк.
И шли б поезда,
и я бы снимал свою шляпу
пред каждым из них,
кто исполнил осенний свой долг.

И пыль улетела б за ними.
И, в мальвах нашарив
зеркальце сажалки,
звезды мерцали б вдали,

пока на разъезде
сквозь листья
игольчатый шарик
летит и как будто не может
достигнуть земли.

1934

ПУТЕШЕСТВИЯ

ВЕЛИКАЯ РАВНИНА

128. НОЧНОЙ ПОЕЗД

(Отъезд)

Уже окончена посадка.
Перрон как будто неживой,
и смотришь
с некой грустью сладкой
на поезд
уходящий твой.

Идет...
И ночь прогрохотала.
На тихой станции одни
сквозь белый пар глядят сигналы —
разнообразные огни.

И отлетает,
тает пена
паров на станции ночной,
и дальняя
поет сирена
уже
над дальней стороной.

1937

129. СТИХИ О ШЕВЧЕНКО

На верстовім шляху в полі...[1]

Т. Шевченко

Поэт, быть может, в самом деле
шел по дороге столбовой, —
и тройки с свадьбами летели,
и арестантов
гнал конвой,
встречались хаты
и палаты,
брела холера мимо сел,
сам всероссийский император
ему
дорогу перешел,
чтоб славы раздобыть немного
и пережить дела свои
хотя бы
в приговоре строгом:
змея переползла дорогу,
но след остался
от змеи.

1939

130. СТАРЫЙ КИЕВ

Мы ничего не забываем,
и хорошо знакомы нам —
в овраге
улица кривая
и колокольни
по холмам.

Чем был черней
в овраге вечер,
чем ночь в ярах
была страшней, —

[1] На верстовой дороге в поле... (укр.). — *Ред.*

тем ярче
разгорались свечи
нагорных
золотых церквей.

Их золоченые громады
пылали жаром
сквозь стекло.
Ведь даже и слепому надо,
чтоб было
где-нибудь
светло.

1936

131. СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ

Малый флигель меж сараями:
три окошка, два крыльца...

Там в шкатулке несгораемой
были деньги у отца.
Жил он правилами старыми,
аккуратно вел дела.

Убежала мать с гусарами
и в трактире умерла.

Дочка молится — не ленится...
От тоски на волоске,
бродит черная келейница
в мантии и клобуке.
Монастырь построен выгодно —
над лесами, не в степи...

Старший сын сидит безвыходно
в желтом доме на цепи.
Божья мать с безумным отроком
улыбается ему.

И ведут цыганки под руки
сына младшего в тюрьму.
1937

132. СТОЙКИЙ СОЛДАТ

Почему-то, отчего-то
он остался невредим.
Полтораста самолетов
бомбы
сбросили над ним.

А он спал под гром и грохот.
Был и весел и здоров —
от шрапнельного гороха,
от вороньих потрохов.

Азиатская холера
разгружала фронт
и тыл,
а он пил из лужи серой
и водой доволен был.

Ливни отшумели рано,
лед свистел над головой, —
он гулял в фуражке рваной
словно в шапке меховой.

Царь не удержал престола,
сапоги разбились в прах, —
а он шел, вдвойне веселый,
в интендантских лапотках.

Ни шестнадцатидюймовым,
ни жандармам полевым
он не поддавался, —
словом,
жил красивым и рябым.

Только баба голосиста —
сладкоглаза
и бела —
встретила
того артиста
и вкруг пальца
обвела.

1936

133. РУСЬ

Как на другой звезде,
совсем далеко
кресты церквей
и сонный окоем,
но раздается
звон кольчуг и клекот
воды,
сомкнувшейся над кораблем.

И надо мной
в степи прошла орда,
и я лежал
на темном дне Цусимы.

Незримые стекаются года
и на суде присутствуют, незримы.

Пронизанные стрелами насквозь,
изведавшие океан и пламя —
свидетели сошлись, как повелось,
и мужество
глаголет их устами.

И, не страшась услышать приговор,
я говорю по чести и по праву:
— Ты не кликуша,
и твой сын не вор, —
мы заслужили
в общих муках славу.

Стоим мы оба пред одной судьбой.
Я сам — судья
и сам всему свидетель,
за все века
прославленный тобой,
за все века
перед тобой в ответе.

1938

134. СТРОИМ ГОРОД В ЗАПОЛЯРЬЕ

О, эти ночи-невидимки
и тьмой скрываемые дни
Сначала
        камешки одни
        торчат на невысокой льдинке...

И речку выхлестнуло льдом,
и цирки гор в метельной пене,
но едет в тундру первый дом
и прибывает на оленях.

Хотя еще живут в палатках,
стирают,
            курят,
                        тесно спят, —
но вагонетки в горной складке
о новой славе говорят.

И первый дом — знакомый, старый,
шоссе уже сменило гать,
уже
из-за цементной тары
косых березок не видать.

Строгают,
            рубят,
                        стенку гонят,
раствором брызжут из корыт, —
и город в молоточном звоне
за башней мельничной открыт.

И, перегнать весь мир готовы,
себя мукой запорошив,
пространства в пелене лиловой
туманным блеском хороши.

На склонах летнего режима
снежок ли уползает вниз,

ручей ли это
недвижимый
над черным цирком перевис?

Озер невнятных
и болот
светлеют
и темнеют пятна.
Деревьев здешних,
вероятно,
два века длится оборот.

В теплице розан,
и поет
над ним варакушка приятно.

1936

135. ЭЛЕКТРОВОЗ В ХИБИНСКИХ ТУНДРАХ

Сосна или стрела —
в лишайники, в корения,
в гранитный грунт вошла,
вонзясь по оперение.

Горелым мох пропах,
дымок валился хлопьями
на тундру,
                        впопыхах
утыканную копьями.

Торчали вкривь и вкось...
Посмотришь — и не верится...
Гарпун ли это?
                                кость?
или кривое деревце?

А он и здесь трубил —
квадратный,
                        крепкий,
                                        грамотный...

Он шел среди могил,
в которых смерзлись мамонты.

К ступенчатой гряде
он шел среди разбуженных,
разбросанных везде —
камней
          или оружия.

Не узкой шел тропой,
      без нежности и ревности
      осматривая бой
      в музей не сданной древности.

Пред ним была страна
с открытыми дорогами,
и эта старина
его отнюдь не трогала.

И пара ловких дуг,
как бы схватившись за руки,
захватывала дух,
в реку срывая радуги.

Вот он и шел такой
домой,
          а не на вылазку,
под шелковой мукой
в фабричных окнах Кировска.

1936

ВЫХОД К МОРЮ

136. ВЫХОД К МОРЮ

Приземисты, чернобороды,
в тулупах рваных, мужики
среди песков искали воду,
рубили избы у реки.

Морских еще не зная флагов,
но дальним морем заняты,
те избы из кривых оврагов
перебирались на плоты.

И в одуванчиках поляны
глядели с берегов
туда,
где с лесом золотым беляны
несла
зеленая вода.

Нас даже в лодках хоронили
и, храм поставив кораблем,
о плавающих говорили,
молебны совершая в нем.

Но впрочем,
только в парус веря,
в багор
и крепкое весло,
ручьев мы оставляли берег,
и в Ледовитый
нас влекло.

И, в тундре ставя частоколы
и с пресною водою чан,
посад мы называли Колой
и в нем встречали англичан.

Не раз мы били их...
вестимо,
и попадало нам не раз,
но Севастополь
и Цусима
от волн
не отучили нас.
И чтоб волна не изменяла,
но хорошо служила нам, —
матросы гнали адмирала
босого
по кронштадтским льдам.

И мы следим,
как в час прилива
волна в свеченье голубом
толчками,
но неторопливо
скользит,
сойдясь над валуном.

1936

137. ПЛОТЫ

Струи плакучей ивы
касаются воды.
Плывут неторопливо
в сырую ночь плоты.

И дуги веток карих
мерцают вдалеке,
течет огнем фонарик
по дымчатой реке.

Горит
и сам не знает,
дрожа витым лучом,
о чем
предупреждает
и говорит
о чем.

Подчеркнут черной тенью
зигзаг его огня.
О тихое теченье,
куда
зовешь меня?

О, тихое теченье,
туманные луга!
Стоят,
полны значенья,
на берегу стога.

Стоят как бы в тумане,
во весь высокий рост,
а луг,
как Мыс Желанья,
весь
в смутном пепле
звезд.

1939

138. КАЧАЕТ В ЛАДОЖСКОМ

Ночь и волны с банками в разладе
были цвета меловой муки.
Только где-то спереди и сзади
на камнях
мигали маяки.

Умывальник в мутном коридоре
в таз плескал водою,
и не раз
швабрами мы угрожали морю,
через борт
летевшему
на нас.

Вещи разной формы и размера,
ширина,
длина
и высота,
горизонт в стеклянном круге серый —
всё меняло каждый миг места.

Впрочем,
волны не искали выгод, —
я игрой их скачку назову.
Лишь под утро
нам открылся выход
Ладожского озера
в Неву.

1937

139. СЕВЕРО-ЗАПАД

Весь город —
      избы, да поляны,
      да на амбарах невода.
Мгновенной рябью от моряны
как будто стянута вода.

А небо свисло для просушки
со всех жердей.
И вдалеке
лежит орел
на медной пушке,
как бы на медном пятаке.

И Петр в зеленой треуголке
по целым дням
скакать готов
в заляпанной своей двуколке
вдоль плотников
и верстаков.

1938

140. СТИХИ О ПУШКИНЕ

Писцы,
жандармы,
вестовые.
Хоть мутный снег валит с утра, —
стоит безмолвная Россия
и не уходит со двора.

Уж лучше б расходились, право!
И меры принимает власть.
Нетрудно гроб украсть,
но славу
нельзя у мертвого украсть.

И всё полно глухого смысла —
дворец,
присутствия
и прах:

другой невольник чести выслан,
он пал,
      и пушки в колеях,
      и южные пылают горы,
      и мачты из воды торчат.

Царь,
не дождавшись приговора,
молчит
и принимает яд.[1]

1936

141. СТАРЫЙ ПЕТЕРБУРГ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Как битюгов стучат копыта!
Как бубенец гремит в пути!
Нева без всякого гранита
течет —
господь его прости!

И — повторенные Невою —
какой-то храм,
какой-то хлам
над потрясенной мостовою
сползают к баркам
и дровам.

Весь город как мукой пронизан...
Меж ведер,
ящиков
и плит,
пожарных лестниц
и карнизов
пучок травы
в окне висит.

---

[1] Существует версия, что Николай I отравился.

Полуживой, полуотпетый, —
он просит солнца
и подпор.
И «скорой помощи» карета,
пригнувшись,
катится во двор.

1936

142. МЕДНЫЙ ВСАДНИК

Так, медный царь! На всем скаку
стремян не знаешь, — тем плотнее
твоя посадка.
И в снегу
венец лавровый
пламенеет.

И шкура барса под тобой...
Над льдом и снегом
(ныне добром),
над всей чешуйчатой Невой
конь
ловко
к всаднику подобран.

И я доеду в свой черед, —
трусит не валко и не шатко
моя извозчичья лошадка,
возница
песенки поет.

1936

143. БИБЛИОТЕКАРИ И СЧЕТОВОДЫ

Библиотекари и счетоводы
живут со мной
на этаже одном.

А части,
возвращаясь из похода,
проходят с дружной песней за окном.
И мы становимся как бы крылаты,
впуская песню
в горницу свою...
Еще мы в штатском,
но уже солдаты,
еще мы дома,
но всегда в строю.

1939

ДОРОГА В ГОРАХ

144. СТИХИ О ШОТА РУСТАВЕЛИ

Колокола, и Кельн, и черепица.
А рыцари уходят на Восток.
У коновязей войско шевелится.
Вот и замолк
далекий топоток.

А к Киеву несутся тучи-хмары,
и Венгрия
и Польша начеку.

В доспехах светлых воины Тамары
идут по насту
прямо к леднику.

И сван царицу славит и епископ,
к ней мудрецы спешат издалека.
И аналой поэта полон списков,
где о Тамаре
каждая строка.

Гигантов слезы,
будущая слава
неразделенных
и пустых ночей!

Он подданный,
он не имеет права —
министр финансов...
нищий казначей![1]
Вдоль горных рек,
вдоль каменных извилин
я сам бежал бы от упрямых дум,
чтобы меня кинжалом ослепили
и я не видел
золотой ханум.

1939

145. КРАСНЫЕ В ГОРАХ

Искрометная и крутая,
из-под мутно-зеленого льда,
через камни перелетая,
в два потока
неслась вода.

Между скал и корней железных
лопушком поросла земля.
Коршун
плавал
в лиловых безднах,
даже крыльями не шевеля.

А гора серебром и чернью
повисала над ним высоко.
Пастухи
в тишине вечерней
предлагали нам молоко.

Нам горянки готовили ужин,
увлекая песней своей.
Их глаза
нам казались у́же
от слегка подбритых бровей.

---

[1] Существует мнение, что Руставели был казнохранителем царицы Тамары.

Их серебряные кувшины
чуть покачивались над головой.
Будто фосфорные, вершины
превращались
в дымок голубой.

Даже скромницы,
как в тумане,
посылали с башен привет.
И за ними
сквозные ткани
заметали
их плавный след.

Обмотав себя башлыками,
топоры на плечо положив,
лесорубы спешили с нами
за туманы,
за темный обрыв.

И с поклажей горных орудий,
как канатные плясуны,
проходили кони и люди
по мостам, не верней струны.

Выбегали навстречу малине
и чинара,
и грецкий орех.

А река
прорвалась
и в долине
разлилась
на двенадцать рек.

1938

146. КРОВНИК

1

«Смерть ко мне не подпуская,
пусть вокруг меня плывет
в войлочных шляпах стая —
первый
детский хоровод.
Сестры,
тоже вейтесь гневным
хороводом надо мной,
как китайские царевны,
отстраняя смерть фатой.
Встаньте, воины, рядами,
отгоняя смерть, как дым,
рукавами,
башлыками
с позументом золотым.
Пусть придут коровы тоже,
все рога
склонив в строю.
Так, от смерти отгорожен,
посредине
я пою...»

И сван замолк, — такое дело, —
свершилась месть.
Недоглядело
селенье,
башня не спасла
(на что уж высока была),
а дети не предупредили,
а сестры самогон варили,
косили воины ячмень,
коровам, верно, было лень
прикрыть хозяина от пули, —
они рогов не повернули
навстречу кровному врагу.

2

И вот село на берегу.
Процессия подходит к дому,
где всё убитому знакомо.
А он не видит ничего.
Несут собрата своего —
четыре
черных дровосека.
За ним идет старик калека.
И почему он инвалид?
И кем он ранен — не добит, —
соседом ли за перевалом
иль здешним земляком бывалым?
Всё угрожало старику:
    река, летящая в реку,
    стоячий бор,
    и мост висячий,
    и перекладина с ворот.
За мертвым внуком дед идет.
Старик привык,
старик не плачет.
Отвыкнуть, кажется, пора —
ведь с места сдвинута гора, —
пора заговорить о новом.

3

В малиннике, в лесу еловом
шоссе —
        как будто коридор
меж снежных и зеленых гор.
Обследует свои владенья
дорожный мастер.
                Грузовик
на мост взбегает без сомненья,
уверенно вступает бык
на тот же мост с соседом рядом.
Сверкая шелковым нарядом,
под черным дождевым зонтом
на муле темно-золотом
в Хаиши скачет щеголиха.

Шофер-москвич
степенно,
тихо
дорогу женщине дает.
За поворотом поворот,
и с каждым новым поворотом
раскрыты в новое ворота.
А утро — что за благодать!

4

Как хорошо идти и знать,
что небо сине-голубое
ножом не вспыхнет над тобою,
что пулей мудрости былой
тебя не поразят навылет,
что деревянною пилой
подлец
тебя не перепилит;
тебя на суд не позовет,
лукавым словом не убьет,
не выйдет из суда веселым...

5

И снова каменные села,
и шиферные берега,
и церкви турие рога,
и снова башни
и простенки...

Крестьянки в кожаных митенках,
подняв на вилы вороха,
спокойно веют,
без греха
проходит день,
и мост висячий
хоть прогибается и плачет,
но это ничего не значит,
и перекладина с ворот
на голову
не упадет.

1938, 1955

147. ТАЗИРЕТ

Ах, рубаха на нем какая, —
двадцать пуговиц — все блестят!
Как следил он,
не уставая,
за маневрами
ястребят!

Тучи утром, на перевале,
снаряженные в перелет,
Тазирету передавали,
что письмо его дома ждет.

Пять ветров, быстрей эскадрилий
пролетев
у его головы,
в Заромаге ему подтвердили:
— Есть
действительно
из Москвы.

Волн воздушные шли дуэли,
над рекой между скал бурля,
и сказал Бурон:[1]
— В самом деле!
Заказное!
Ему!
Из Кремля!

Это ночь над горою голой
или в звездах аэродром?
«Вы зачислены в летную школу», —
Тазирету пишет нарком.

1939

---

[1] Заромаг и Бурон — селения по Военно-Осетинской дороге.

ПЕТУНИИ — ЦВЕТЫ КОММУНОТДЕЛОВ

148. ЧЕРНИГОВ

Мы скамью облюбовали
там,
 где сквозь голубизну
 бронзовые
 на бульваре
 пушки смотрят на Десну.

 На блистающие мели,
 на блестящие луга,
 на скользящие без цели
 в синем небе облака.

Над шоссе кирпичным круто
купол вырос вдалеке,
через каждых три минуты
ходит катер
по реке.

Не тускнеет луг зеркальный,
спят на якоре суда,
только пленная
в купальне
тайно
плещется
вода.

Рдеет в водах полуостров,
мишурой листвы горя.
То Земфира в шарфах пестрых
или краски
сентября?

Увяданье, догоранье,
волны дальнего тепла —
словно осень
над геранью
полог неба
развела.

1937

149. ДНЕВНИК ПРОИСШЕСТВИЙ

Ласточки летели, улетали,
но куда — не рассказали мне,
утренники
ранние застали
ласточек на речке Ирпене.

Сколько их погибло на рассвете?
Мы к полудню отыскали двух —
шевелил уже не резкий ветер
перышки послушные
и пух.

Впрочем,
всё по-старому над кленом
луч бродил,
с листа на лист скользя,
впрочем,
клен стоял таким зеленым,
что моложе выдумать нельзя,
лежа в Ирпене, дышали травы,
голубела черная вода,
по мостам
налево
          и направо
дачные
ходили
поезда.

1936

150—151. *КРЫМ*

1

Катер, дождиком гонимый,
плотная несет вода
мимо Кореиза,
                    мимо
Ласточкиного гнезда.

Мимо Ялты и Никиты
к Аю-Дагу самому,
подымая нос сердито,
опуская вниз корму.

— Это замок готский?
                    — Что вы. —
то Ййла́ уходит в дым.

Быстрым ливнем затушеван
голубой
        и серый Крым.

Голубой и светло-серый...
И кладбища мусульман,
будто старые карьеры,
проступают сквозь туман.

На кинжале из гранита
там
    гранитная чалма.
На мгновение открыты
кипарисы
        и дома.

Смотрит темная природа,
как взлетает на волне
дальний призрак парохода
в электрическом огне.

1937

2

ЮЖНЫЙ БЕРЕГ

Из полутьмы страны гористой
под всплески
гавани ночной
идут машины,
    как туристы
    в пыли,
    с мешками за спиной.

И тишина.
Сверчкам и водам
секретничать сквозь сон пора —
фотографы,
экскурсоводы
им уступают
до утра.

От тюбетеек,
палок,
брошек
лишь ночью можно скрыться нам,
покуда
жестяной горошек
луны
танцует по волнам.

Но тучи закрывают море,
оно чернее, чем графит,
один маяк на Ай-Тодоре
хрустальной
горенкой
горит.

1937

152—155. *КРУГЛЫЙ ГОД*

1

Вся родина передо мной...

Весна.
Прозрачно небо,
и луна ясна.
Еще над заколоченной беседкой
горит она
и темно-синей веткой
рисует на окошке голубом.

Высокомерный,
с вытертым горбом,
верблюд весну заслышал между вышек.
Пока над нефтью жар ее не выжег,
на промыслах она всего нежней.
Курганы дюн
раскрыты перед ней.

А яблони в уборах подвенечных
среди пространств сияют бесконечных.
Весь в лепестках,
среди сквозных небес
фургон остановился МТС,
и жаворонки
                    в синем поле
                                        прыщут.
Лишь груши цвет напомнил мне кладбище,
на черном лабрадоре восемь строк
и проволочный
под стеклом
венок,
где ржавчина стекает по фарфору.
Но строят зданье и в ночную пору,
и соловьи,
по мере сил своих,
задабривают пеньем соловьих,
и песенка весенняя пропета.

2

Мальчишки — голые во славу лета —
верхом на лошадях
                              спешат к реке.
Купальщицы в горячем ветерке
томятся,
лежа на парчовом пляже.

Прибой подобен шелковистой пряже,
сады простерли свой зеленый стяг,
зеркальны рощи.

В золотых сетях
петунии — цветы коммунотделов.
Не мало их — лиловых,
синих,
белых —
от Запорожья
до Хибинских гор.
По Кировску, среди кривых озер,
наверно, тундрам здешним для острастки,
анютины везет тележка глазки.
А горный луг синей от будяка.
Как пена, вырастают облака.
Июль сияет,
но немного позже
заходишь в тучу, как в сентябрьский
дождик,
и капли наступают,
шевеля
стеклярусом багровым щавеля,
сливаются,
грозя седым громадам;
незримые собаки
бродят рядом,
невидимые звякают стада.
Сванетия завесой скрыта мглистой,
из тучи возникают альпинисты.
Они идут туда,
а мы сюда.
Так теплоходы в Тихом океане
встречаются,
чтоб разойтись в тумане.
И вдруг светает.
И на все свистки
звенят леса у розовой реки.
Днепровский в фонарях застыл фарватер.
Из цинка замок — всходит элеватор.
К нему всю ночь бегут грузовики,
толкутся в бледных фарах мотыльки.
Но разрывают зори сизый тюль их,
и аисты на пурпурных ходулях
внимательно осматривают мель,

где чибисов и чаек канитель.
И приближается пора отлета.

3

Над полюсом взлетают самолеты,
а ножницы срезают виноград.
Прилежный школьник новой книге рад,
хрустальный день улыбкой удостоя,
спешит с портфелем,
                    с аспидной доскою.
И яблока ржавеющий разлом —
как новый праздник над его столом.

И председатель сельского Совета,
согласно полу своему одета,
меж мокрых огородов и левад
веселым оком смотрит на парад.

4

Но вот — и навигация закрыта.
Один паром, медлительней корыта,
ползет по салу.
                Дело на мази,
охотники кричат:
                «Перевези!»
Усами острыми земли касаясь,
свисает с пояса убитый заяц.
И, голым прутиком сводя с ума,
под самый праздник настает зима.

Студент еще скользит на лыжах мерных,
но меж цветов и хвой неимоверных
закат в окне,
и льдистая броня
горит от свечек и его огня, —
так, рассыпая стеарин и смолку,
в цветное зеркало мы вносим елку.

Поем,
танцуем,
и за стол пора!

Мелькнет снежинка ярче серебра,
и вслед за ней мильон других снежинок,
как будто в небе птичий поединок,
и ночь светла
от белого пера.

И радио звенит с далекой льдины.
Из Мурсии прислали апельсины,
из Грузии — шипучее вино.
И Новый год
уже глядит
в окно.

1937—1938

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

I

156. РАДИОВОЛНЫ

Какая бестолочь в эфире бедном!
Грохочет небо инструментом медным,
и вдруг подтянет, тонок и высок,
метели
заунывный голосок;
певица вступит
и тотчас обманет,
уйдя за тысячи ветвей в тумане
(как будто бурей сорванный листок
взлетел меж туч
и вот — прилип к мембране),
и вновь
немазаный скрипит возок,
и снова
медный инструмент хлопочет,
желают из Софии доброй ночи,
заутреню
передает Белград,
дрожат и млеют скрипки в Бухаресте,
австрийцы по-немецки говорят...
Хоть скоро взрыв, —
а с виду
все на месте.

1939

157. БЕРЕЗЫ В МАРТЕ

Туманный день над льдинками,
и голубая тень
под черными косынками
берез в неясный день.

К какой далекой гавани,
как вдовы рыбаков,
куда они,
куда они
бредут вдоль облаков?

Их смутное дыхание
постичь я не могу.
Под черепицей здание
на сизом берегу.

Над шлюпкою,
над мызою
неясный сизый свет.
Какое море сизое,
а моря-то и нет.

Лишь сизый день над льдинками,
лишь тень на берегу
под черными косынками
берез в седом снегу.

Туманные, неясные,
бредут они во сне,
со мною несогласные,
закрыли небо мне.

А голова всё кружится,
и грустно мне всерьез
от траурного кружевца
вздыхающих берез.

1940

158—159. *СЫРОЙ МАРТ*

1

Что горестней марта,
который
на позднюю осень похож
 дождями в полночную пору,
 дыханием вяленых кож,
 снегов жестяных поединком
 с землею, чернее чем тушь,
 багровою ночью,
 щетинкой
 над трепетным зеркальцем луж,
 ветвями в стекло
 и отчасти
 ночным разговором в трубе
 о близких каких-то напастях,
 покамест
 не страшных тебе.

2

Во сне я видел снег кисельный:
он,
черных штор не серебря,
великий, тихий, но бесцельный,
лежал,
как серая заря.

Великий —
был подобен пене,
тишайший —
был он неглубок,
крестили самолетов тени
его и вдоль и поперек.

Он всё глушил холодным грузом,
и в небе
не жужжал мотор,

и бомб бесшумные медузы,
как тени,
падали вдоль штор.

И тени двор перебегали
вдоль шторой скрытого стекла.
И было тесно в том подвале,
куда беда меня мела.
За Волгою уже вставали,
за Рейном ночь еще была.

И не во сне,
а в самом деле
за Рейном было всё темно.
Снежинки в темноте летели
вдоль укреплений Мажино.

1940

160. АТЛАНТИКА

Пена, пена...
Где же перемена?
Виден перископ едва-едва.
Если так самодовольна пена,
значит, мир не прав, —
она права.

Министерств таинственные сводки —
разговор невнятный и глухой.
Снова —
силуэт подводной лодки,
снова —
тени,
тени под водой.

Вновь
фашисты.
Снова
брутто-тонны...

В сто шнуров бежит,
несет волна
мерный шум
и шепот монотонный:
пена, пена,
 и опять она.

Расступись,
 чтоб места всем хватило,
вновь сойдись,
 чтоб не было его.
Пена, пена —
белая могила,
только пена —
больше ничего!

1940

161. ПЕСНЯ «ДЮНКЕРК»

Где же ты, солдатская манерка,
где мешок солдатский вещевой?
На глазах у целого Дюнкерка
утонул
британец молодой.

Коренастый, небольшого роста,
бывший форвард, хавбек или бек.
В море утонуть не так уж просто,
если плавать
может человек.

Значит, чем-нибудь его задело
(у него такое ремесло).
И его бесчувственное тело
к берегам
Бретани отнесло.

Там в холодной, каменной могиле
он нашел последнее жилье, —

ведь недаром волны колотили
на камнях
солдатское белье.[1]

Видно, с парня плохо снята мерка:
ноги чуть присыпаны землей.
На глазах у целого Дюнкерка
захлебнулся
парень молодой.

1940

162. ПОСЛЕ ДЮНКЕРКА

(1940)

Дороги Франции забиты беженцами.

Какой-то куст свой пыльный поднял скипетр.
От костяка к другому львиный след.
Мария с мальчиком бежит в Египет,
Рассвет горит,
и солнцу меры нет.

Как страшно
дом свой потерять навеки.
Кто виноват?
Какой рассудит суд?

У мальчика понос,
и нет аптеки...
Он выживет,
его еще распнут.

17 июля 1942

---

[1] Среди жителей Бретани существует поверие: матрос, услышавший, как колотят белье, должен погибнуть.

163. ЛЕДОВАЯ ВЕСНА

1

Весна!
Такое впечатленье
на нас приход твой произвел,
что парового отопленья
решили мы чинить котел.

Вот он на улице,
и спецы
качают головой над ним,
и тихий ангел,
чтоб согреться,
бьет о крыло
крылом другим,
и вновь серебряная хвоя
ложится на мое стекло,
и только Дафнису и Хлое
уже не первый век
тепло.

2

И это называется весной!
У лужицы какой-то цвет квасной,
деревья в каплях и черны
и голы.
Остались дни
до теплого Николы,
а горожане ходят в кожухах.
Лишь радио
хрипит
на всех ветрах:
весну
стихами прославляет чтица,
стакан берет —
закашляться боится.

Между 1940 и 1942

164. ЧЕРНОЕ МОРЕ

(1940 г.)

Оставим Арктику на время:
за кипарисами луна,
как польская княжна в гареме,
и лицемерна,
и бледна.

Всё неизвестность, всё загадка —
луна и степь со всех сторон...
Быть может, русская солдатка
идет в степи на бастион.

А может, это Нереида
плывет с младенцем
в свой Мисхор.

Весь полуостров —
вся Таврида
погружена
в зеленый флер.

Но море проверяют взглядом
орлов чугунные стада,
и в бухтах
с улицами рядом
подводные лежат суда.

Они лежат покамест втуне
у самых улиц городских.
Чем ближе к страшному июню,
тем больше их,
тем больше их.

Они себя еще покажут,
они окупятся сполна.
За кипарисами пока же
кочует
бледная
луна.

1940

165. КРИТ

(1941)

Пятый день парашютисты с неба
валятся
на злополучный Крит.
Ариадна[1] без воды и хлеба
в лабиринте
пятый день сидит.

Страшный счет она ведет минутам;
вновь разрывы бомб на берегу:
«Боги, боги!
Мой клубок запутан, —
я его распутать
не могу».

1941

166. КРЕСТОНОСЦЫ

Далекий гул,
розариум — как пламя,
лазурь
и черепичный городок.
А рыцари стоят без шлемов в храме,
и вот они уходят на Восток.

Их жены по-домашнему одеты,
играют на органах.
Снова гул.
Хоть не дождаться первой им газеты,
но сообщают:
«Фридрих[2] утонул».

---

[1] Согласно мифу — дочь критского царя. Она подарила Тезею клубок ниток, благодаря которому он выбрался из лабиринта.

[2] Фридрих Барбаросса — один из предводителей крестоносцев; утонул, переправляясь через реку в Малой Азии.

И розаны цветут как будто реже,
и воздух не такой уж голубой,
орлы,
приманенные кровью свежей,
на низком небе
начинают бой.
И пленницы над мертвою долиной
поют и плачут
у зеленых вод,
где через семь столетий с половиной,
быть может,
минный вырастет завод.
В Атлантику уже спешат эсминцы
солдатским транспортам наперерез,
уже на танках едут пехотинцы,
и артиллерией
обглодан лес.
Взлетают стрелы, —
этот свист и шорох —
как будто цех
на сотни веретен.

Совсем недавно выдумали порох,
а вот уже и Ковентри сметен.

И крестоносный самолет,
наглея,
летит на Киев,
и моя страна
затемнена
до самой Адыгеи,
где нас
случайно
застает
война.

1941

167. НАКАНУНЕ

(21 июня 1941 года)

Начинается день предвоенный
с громыханья приморских платформ,
Дождик в пальмах шумит
и мгновенно
затихает,
а на море шторм.

Мутно море,
в нем накипи вдоволь.
Налетает
каскад на каскад,
миноносец идет в Севастополь.

Завтра
бомбы в него полетят.
Завтра, завтра
на раннем рассвете
первый бой загремит,
и опять
первый врач
первых раненых встретит,
первый беженец
будет бежать.
Завтра
рощ испугаются птицы,
завтра
птиц не признают леса.
Это всё
только завтра случится,
через двадцать четыре часа.

А сегодня —
рассвет предвоенный.
Громыханье приморских платформ,
громыханье волны неизменной.
Дождь над морем,
а на море шторм.

1942

168. ЛЕТО 1941 ГОДА

Дым взлетал над перроном некруто...
Помню я Ростов-на-Дону:
через каждые
три минуты
пробегал эшелон
на войну.

Вдоль зеркальных окон вокзала
шли площадки одна за другой, —
самолета крыло уплывало,
танк в чехле
и боец молодой.

И на каждой картинке мгновенной —
на прозрачном экране стекла —
люди были в одёже военной,
под брезентом машина плыла,
очертанья скользили орудий...

И глядели из окон на них
в этот день еще штатские люди,
о дорогах
гадая
своих.

1942

169. КИЕВ

В синеве — каштаны,
липы, клены.
Лист каймой
очерчен золотой.
Киев, Киев,
город наш зеленый,
тронутый
осенней краснотой.

Осень в Киеве
у нас такая,
что ее
не описать пером.
Тридцать лет
я эту осень знаю,
с нею я знаком,
и как знаком!

Сколько в ней
прозрачности и света!
Сколько в ней
сиянья и тепла!
Протянув мне руку,
осень эта
в класс меня
однажды отвела.

Осень в город шла
из всех предместий
(это было через восемь лет),
с ней — студенткой —
мы входили вместе
в красный милый
университет.

Пурпурная
эта колоннада
навсегда
осталась нам мила.
Мы едва ль
не в пору листопада
начинали
все свои дела.

Здесь мы строили,
здесь мы любили —
и взаимность
ожидала нас.
По осенним скверам
отводили

здесь мы внуков
в самый младший класс...

Снова на деревьях
позолота,
и от листьев
воздух золотист,
в Золотые
древние ворота
огненный
опять влетает лист.

Будто выстроенные
по нитке,
всюду
золотые деревца.
Лист осенний —
вот он на зенитке,
вот он
на шинели у бойца.

А бойцов проходит
много-много.
Пожелаем,
чтоб для них была
боевая
трудная дорога
все-таки
не слишком тяжела.

Сентябрь 1941

170. НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ ОБОРОНЫ

Ни куста,
ни стога,
ни вороны.
Черный камень,
серая зола...

На переднем крае обороны
танк советский бомба обожгла.
Он железной печкою пылает,
он продут огнем,
и потому
лейтенант советский посылает
радио
майору своему.

По переднему несется краю,
слышат фронт
и вся родная Русь:
— Я горю,
горю,
но не сгораю!
Я горю,
горю,
но не сдаюсь!

1942

171. ОСЕНЬ 1941 ГОДА

Синий Харьков.
Осень голубая.
В неподвижном небе тает звук.
Радио летит,
не долетая:
— ...наши части...
город Кременчуг...

Отступаем,
не теряя веры,
с поднятой отходим головой.
В синеве Госпром сияет серый,
будто он в Алупке голубой.

Радио замолкло,
и ни звука,
не звенит осенних листьев медь.

Тетиву оттягиваем лука,
чтоб стреле
вперед,
вперед лететь!

1943

172. ЭШЕЛОН

Как быстро северное лето!
Оно блокпостами отпето,
оплакано исподтишка
далеким петухом рожка.
А горизонт краснеет синий
вдоль железнодорожных линий,
пока, гремя, пока, свища,
гудит «максим» из отдаленья,
пока в служебном отделенье
мерцает первая свеча.
И ей единственная вторит
на небесах больших, как море,
едва приметная звезда.
И пассажирка шарфом легким
взмахнет,
и легче станет легким
в румяном воздухе тогда.
И дышишь, дышишь всем закатом,
и пустота...
Лишь дым хохлатый —
ушедшего состава след.
Он мил мне как воспоминанье
о людях,
о делах,
о зданьях,
каких, быть может, больше нет.

Мы сами в поезде.
Недаром
нас эшелон, тряся, везет,
года окутывая паром,
ведя счастливым верстам счет.

И только лунными ночами
снопы блестят среди равнин, —
у каждой жницы за плечами,
как знак тревоги, —
карабин.

И снова сумерек избыток,
и плач детей,
и вопль гудков,
и снова щелканье зениток,
и эшелоны в пять рядов.

*

Мы сами в поезде.
Мельканье
прудов в осеннем осыпанье
лимонной рощи.
                    Полосат
от ливня сумрак.
                    Палисад.
Дымок над кипятильным кубом,
дрова,
          на них грибы, как губы,
и роща желтою копной.
Опять дождя на стеклах росчерк,
и снова роща,
               роща,
                    роща,
еще одна —
               и ни одной.

И только капель накопленье,
и свет с войною не в ладу,
и дым —
как душ переселенье
на тридевятую звезду.

1942

173. ДЕЖУРНАЯ

Промелькнет снежинка,
в небе тая.
Ночь седая
медленно идет.
Женщина, уже немолодая,
на дворе дежурит
у ворот.

Спят дома,
и спят в квартирах люди.
Ни полоски света.
Тишина.
Может быть,
тревоги и не будет,
вдруг начнется,
может быть, она.

А пока ни выстрелов, ни лая...
Окна звездам потеряли счет...
Сон товарищей оберегая,
женщина
дежурит у ворот.
И уйдет с поста лишь на рассвете
шагом ровным и прямым своим.
Честь и слава
верным долгу этим —
нашим
самым скромным
часовым.

1941

174. ИНВАЛИД

Ночь тыловая стоит за окном,
комната —
будто в дыму.

Конь за конем
подымается в дом
справа по одному.

А я существую,
шутка сказать,
почти на седьмом этаже —
стол да комод,
стул да кровать, —
лошади тут уже.

Тычутся мордами прямо в матрас
пружинно-волосяной,
и сердце ноет не только у нас,
даже у бабы иной.
    У нас машинистки ходили в дозор,
    рубились бухгалтера.

С каких же, товарищи, это пор
орлам
за гроссбухи пора?

    А нам бы коней,
    да шашки острей,
    да вьющийся по небу стяг,
    и мы бы летели среди степей
    на всех боевых скоростях.

От зависти
даже зубами скрипишь...
Вдобавок глядит на тебя
твой бархатный конь —
коротыш да крепыш,
паркеты копытом скребя.

Глядит на комод
и на стол этих мест...
А над кроватью —
    моя
    с ножнами шашка
    висит вперекрест,
    неувядаемая.

Быть может,
не так сказал инвалид:

— Казак я, не счетовод,
и волго-донецкая рана болит,
кавказская спать не дает.

Только под шашкой забудусь во сне,
лошади тут как тут.
В комнату прямо
входят ко мне —
всадника
в битвы зовут.

1943

175. СОВЕТСКИЙ ЧАСОВОЙ

Я от бревенчатых якутских башен,
быть может,
Тула — родина моя.
Узбек,
и украинец,
и чувашин —
вселенской правды
знаменосец я.

Я ратник чести,
и ничто иное
сказать и невозможно обо мне.
Мое оружье служит боевое
борьбе священной,
праведной войне.

Меня пугали
«тигром» и «пантерой», —
я ж доказал
(хоть это и старо)
не только техникой —
железной верой,
что существует на земле
добро.

Меня пытались оглушить
винтами,
шла на меня
стотонная броня, —
но видите
великой правды знамя:
пока я с ним —
нельзя убить меня!

Мне угрожают
бомбой водородной, —
я ж показал,
да и не в первый раз,
что всё же есть на свете
благородный,
совсем другой энергии
запас.

Народами свободными удвоен,
не взорван он
ни бомбой, ни молвой.
Я им горжусь
как гражданин и воин,
как мира страж
и счастья часовой.

Я из Москвы — я от кремлевских башен,
и Минск и Киев — родина моя.
Врагу высокой правды
тем я страшен,
что этой правды
знаменосец я.

1946

176. ВЕСНА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ

Уж близок день освобожденья.
Рассвет его непобедим.
Деревья все
и все строенья
зарозовеют перед ним.

Заря сверкнет над долей женской,
зажжется над мужской судьбой —
над всей Европой деревенской,
над всей Европой городской.

А мы пойдем с зардевших станций
домой,
домой на ясный зов
ракит, пылающих румянцем,
и пламенеющих лугов.

И с зорями не будет сладу.
И, смутной прелести полна,
к глядящему на зори стаду
с подойником
пройдет весна.

В ведерке принесет подпасок
парного молока для нас.
Мы будем пить из наших касок
не в первый,
не в последний раз.

1942

II

177. НАСТАНЕТ ДЕНЬ

Настанет день,
воздушный,
теплый,
синий,
перед Кремлем вновь заиграет медь,
и пушки пронесутся на резине,
чтоб им не слишком все-таки греметь.

И танки двинутся путем известным,
как каботажных ботов мирный строй,

со всем своим хозяйством полновесным,
исхлестанным
погодой снеговой.
Вся площадь будет
с самого рассвета
оживлена,
и, взявши высоту,
бомбардировщик,
будто днем ракета,
забудет в небе снежную черту.
Она растает в небе перед нами,
и светлый день задышит горячо,
войска встречая
первыми цветами,
от снега сыроватыми еще.

1944

178. ИЗ ДНЕВНИКА ГЕРМАНСКОГО ОФИЦЕРА

Берлин гремит,
Берлин замолк —
опять грохочет он:
— Прощай,
Двадцать девятый полк! —
Уходит эшелон.

Сквозь дождь и снег,
сквозь снег и лед
светлеет Кремль едва.
— Сквозь снег и лед
вперед, вперед! —
В бинокль видна Москва.

В снегу мерцает
ближний дол,
кустарничек,
забор.
— Вперед,
Двадцать девятый полк.
Отставить разговор! —

Луна у неба на краю,
деревня вся бела.
«Катюша» веялку свою,
конечно,
завела.

«Иже еси
на небеси»
читай
и при луне
беги
и мертвых уноси
на собственной спине.

Беги,
зубами щелк да щелк.
Легко с ума сойти.
— Прощай,
Двадцать девятый полк,
«счастливого» пути!

Назад, назад
сквозь снежный прах.
И в ночь под рождество
одни лишь каски
на крестах,
и больше ничего.

Хоть касок — непочатый край,
в пустых —
какой в них толк!
— Прощай,
прощай,
навек прощай,
Двадцать девятый полк!

7 февраля 1942

179. ИЗ ДНЕВНИКА ГЕРМАНСКОГО СОЛДАТА

Ночь как ночь,
и мрак вполне нормален.
Зной не давит,
ливень не сечет, —
русский снайпер посреди развалин
наши души
принял на учет.

В темноте идущая пехота —
прямо в лапы
к русским мы идем!
И случайно освещенный кто-то
искрою —
летучим огоньком.

Этому уже не ждать пощады,
если даже тусклый уголек
осветил его,
когда не надо,
словно выбрать он других не мог.

Между 1941 и 1944

180. В СТЕПИ

Спят они,
не подложив шинелей,
позабыв и страх, и злость, и боль;
под луной мерцает еле-еле,
может быть —
роса,
быть может —
соль.

А быть может, —
соль с росою вместе...
Батальоны — тысячи солдат —

от горячих
городских предместий
на ночлег последний
в степь спешат.

Могут выспаться солдаты вволю:
есть где лечь —
широк простор степной.
Пробегает перекати-поле,
только мертвых
видя пред собой.

От одних к другим перебегает,
заглянув в лицо и видя кровь, —
будто немцев, торопясь, считает
и, сбиваясь,
начинает вновь.

1941

181. В РАЙОНЕ СТАЛИНГРАДА

Девяносто девятый,
                    сотый...
Сообщают —
            их тысяча два;
догорают в степи самолеты, —
крест с крючками
узнаешь едва.

Он как будто из толстых дощечек,
обгорелых
и сдвинутых вкось.
Заводил свой хронометр кузнечик, —
не спалось
старику,
не спалось.

Заводил,
не жалея пружины,
и заснул,
и проснуться не смог.

Над железом приволжской равнины
опускается
тихий снежок.

Над пространствами фронта и тыла
опускается новый снежок.
Но душа ничего не забыла,
повторяет
старинный урок.

1942, 1965

182. АРМИЯ ПАУЛЮСА

Снег.
И ночи пустыми очами
на германский взирают погост.
Степь.
И ночи стоят со свечами
панихидных
копеечных звезд.
Степь.
И брызги свистят снеговые,
и скрипит под ногами снежок.
Под конвоем
идут рядовые,
офицеры бредут на восток.
Генерал-лейтенанты
и старше —
не ефрейторам разным ровня, —
и меж них
генерал-фельдмаршал
(он фельдмаршал — уже три дня).
Мы неплохо ведем облаву —
много немцев
у нас в плену, —
если кто позабыл Полтаву,
пусть хоть помнит Березину.

Февраль 1943

183. ПЕСНЯ «КИРЕНАИКА»

Зимней Африки румянец
то темней,
а то светлей.
Заблудился итальянец
в Киренаике своей.

Где уж пешему шоферу
грязь месить
глухой земли.
Комбатанты дали деру —
все машины увели.

Снег приводит в исступленье,
сводит
мокрый снег с ума.
В страшной зоне отступленья —
в Киренаике — зима.

Африка лежит большая —
бесприютная
земля,
ни колес не обещая,
ни бензину не суля.

А умрешь не так уж скоро:
время
медленно идет.
Кто злосчастного шофера
на кладбище довезет?

1942

184. СТАНЦИЯ ГОЛОВНАЯ

Станция головная,
как тебя, станция, звать?
Где ты сегодня — не знаю,
знаю — ты дальше опять.

Там вдалеке, за снегами,
ты представляешься мне
в галочьем крике и гаме,
темная,
но в огне.

Снег и огонь в отдаленье.
Где же составы?
Где сад?
На полосу отчужденья
валится с неба десант.

Снег кавалерия пашет,
танк в туче снега плывет:
славная армия наша
рвется на запад,
вперед!

Рвется на запад, родная,
к западу движется бой.
Станция головная
будет опять тыловой.

1943

185. ХАРЬКОВ

Харьков слышит гул родных орудий,
гул всё громче,
звук разрыва сух.
Превратились в слух
дома и люди,
и деревья
превратились в слух.

«Ждем», — как будто говорит Сумская.
«Ждем», — соседний произносит сад.
Головы всё ниже опуская,
на балконах
мертвые висят...

— Ждем, — живые повторяют люди.
Пепельною ночью,
сизым днем
Харьков слышит гул родных орудий,
мужественный голос:
«Мы идем!»

За противотанковыми рвами,
за скрещением дорог,
вдали
Харьков вырастает перед нами.
Мы идем,
мы входим,
мы вошли.

23 августа 1943

186. ТРАНСПОРТЫ ГОРЯТ

Бледная вода на кругозоре,
над водою
черный дым и чад:
в бледном,
пасмурном
Балтийском море
транспорты германские
горят.

Стон и ропот в их железных трюмах,
тайная
предсмертная возня...
Не уйти
из этих стен угрюмых,
не спастись
солдатам от огня.

Сотни, тысячи пиратов этих
похоронит бездна бледных вод.

Виноватых —
даже в лазарете —
мы найдем:
                — Вставайте, —
                суд идет!

1941

III

187. 6 МАРТА

Продлись, продлись, очарованье.
Тютчев

Еще февраль по стилю старому,
а на Днепре
                взрывают лед!
За мельницами,
за амбарами
фонтаном
                взбитый снег встает.

Сапер безмолвствует,
работая,
следит безмолвно рыболов,
как небо дышит позолотою
за тысячами облаков.

Наперекор ему — свинцовому —
за тучами
                игра лучей.
По стилю старому иль новому,
но всё равно
                журчит ручей.

Февраль ли, март — как вам понравится,
но всё равно
                взрывают лед!

Весна,
как спящая красавица,
хоть спит,
а поцелуя ждет.

1945

188. 30 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

Просвечен лампой многосвечной
каштан у моего окна.
Твоя,
товарищ безупречный,
листва опять озарена.

Проверенное поколенье —
мы знали ночь военных лет
и заслужили, без сомненья,
ничем не затемненный свет.

Зажги и ты на ветках свечи,
чтобы на улице у нас
еще светлей был вешний вечер,
раскрывший
мириады глаз.

1945

189. ВЕСНА РЕСПУБЛИКИ

Как воздух чист!
Как день горяч!
Весна — томленье и цветенье!
А на моем каштане грач
чужого домоуправленья
ко мне в окно
взглянул умно,
без разрешенья прут ломая.
Грача глухое домино
блистает в небе Первомая.

И тишина такая тут —
в мерцающей от почек сини,
что слышно,
как бои идут
там, в унтергрундене —
в Берлине.

Там выстрелов скороговорка,
весна спешит туда сквозь дым
за лейтенантом молодым,
который хрипнет от восторга,
который в гулкой глубине
своим фонариком колдует,
который молодой весне,
как семиклассник,
рапортует,
на новый выходя рубеж.
О, этот мальчик-непоседа
и звонкий звательный падеж,
и ты — весна,
и ты — победа!

1945

190. ОПЯТЬ ВЕСНА!..

Опять весна!
Как деньги тают,
как умножаются долги!
Какие ночи наступают,
хотя они и коротки!

Какое небо голубое
глядит на задние дворы!
Как, кисти завернув в обои,
ждут приглашенья маляры!

Какие в заводской нарядной
рабочих слышны голоса!
Как блещут женщины нарядной
опять расцветшие глаза!

Как все цвета равновелики
в своем сиянье!
И старик
над сказками Кота Мурлыки
в изнеможении поник.

Сегодня всё, что в нем молчало,
всплеснулось,
как девятый вал,
всё
пережил бы он сначала,
что некогда
переживал.

1945

191

Мой отец
(пример грядущим сменам) —
русский доблестный артиллерист —
был под Ляояном
и Мукденом
и шимоз японских слышал свист.

Но в сражениях при Ляояне
и Мукдене
уцелел он всё ж,
только пуля у него в кармане
перочинный раздробила нож.

Славы он не видел,
но бесспорной
скромностью героя знаменит:
с ленточкой оранжевой и черной
на кладбище мой отец лежит.

Прошлого я лестью не тревожу,
ласки родственной здесь нет моей,

просто мне обидно,
что не дожил
старый мой солдат
до наших дней.

1945

192. СТАВЯТ МАЧТУ

Ставят мачту для канатоходца над рекой
в общественном саду.
По канату мне ходить придется, только я, наверно,
упаду.

Догорает голубое лето. Вдоль руин, дувалов и козлят
розанов увядшие букеты по реке на кладбище
скользят.

Транспаранты красного заката за деревьями горят
вдали.
Вижу на другом конце каната я мою сомнамбулу —
Лейли.

Нам никак нельзя соединиться... Праздник кончился
на берегу.
Отдан пир на разграбленье птицам, а букеты
брошены в реку.

1942

193. УРДА

По Урде бегущие попарно разговорчивые голубки, —
как неблагодарно, как коварно вы моей чуждаетесь
руки.

Жизнь моя, моя судьба плачевна, что мне делать
с голубком моим:
на Урде уйгурская царевна замужем за стариком
седым?

Но он ловко пляшет на канате с зонтиком в руках
или шестом,
в соответствующем комбинате состоя канатным
плясуном.

Я же по земле хожу нескладно, — майский жук меня
сбивает с ног.
В глубине аллеи виноградной на террасе дремлет
голубок.

К голубку я протянул ладони. На мгновенье дрогнула
рука...
Кто теперь настигнет, кто догонит несговорчивого
голубка?

1943

194. ПАТЕФОН

Привычный путь игла свершает.
Пластинка —
больше ничего,
но голос пó миру блуждает,
он ищет тела своего.

Певица спит в могиле тесной
под сенью траурных ракит,
а голос старины прелестной
по кругу черному скользит.

Центростремительною силой
под сень
плакучих ив зовет, —
как будто этот голос милый
над черным мрамором поет.

1946

x

x x

Слышу издали голос твой слабый...
Марсианка,
отдай его мне. –
может быть, мы в эфире хотя бы
на короткой столкнёмся волне.

Колокольчиков звон беспечальная
чуть заденет
меж тобою и мной,
словно сотни колец обручальных,
сковавших струнами эфирной.

Как естественна ты, как чудесно
не желаешь понять,
что одну
я повсюду ловлю, повсеместно,]
постоянно твою тишину.*
[Х.Н.Б.]

---

* твою лишь волну
печатал в „Нов. Мире" 1946 г. №1-2

195. РОМАНС

Слышу издали голос твой слабый...
Марсиянка,
отдай его мне.
Может быть, мы в эфире хотя бы
на короткой споемся волне.

Колокольчиков звон беспечальных
пусть звенит
меж тобою и мной,
словно сотни колец обручальных,
ставших струнами арфы одной.

Как естественна ты, как чудесно
не желаешь понять,
что одну
я повсюду ловлю,
повсеместно,
постоянно
твою тишину.

1946

196. ПУШКИН

Дана загадка на века
гармонии необычайной, —
поэзия живет,
пока
ее возникновенье — тайна.

Поет народная душа,
высокой точностью томима.
Загадка — тем и хороша,
что,
может быть,
неразрешима.

1937

197

Но что, но что за синева!
Смотрите,
какая осень!
Что за благодать!
Бедняга Фауст
грустит о Маргарите,
и денег нет,
чтоб черта принанять.

Так в ноябре,
в один из светлых дней,
последний лист
дрожит
в сплошной лазури,
а ветки все —
как мачты кораблей
без парусов,
готовых к встрече бури.

1940

198. ЕЩЕ ОСЕНЬ

Паучок летит на паутинке,
шевелимой воздухом едва.
Будто на переводной картинке,
синего синее
синева.

Мир раскрашен чересчур уж резко.
Как на сцене,
мир аляповат.
Вымыты и вытерты до блеска,
все деревья в золоте стоят.

Вся природа в золотом и синем
весь сезон,
как и в любом году,

гибнет,
подражая героиням,
у всего театра на виду.

1940

199

Exegi monumentum.[1]

Семена крылатые и зерна,
свежие осенние утра:
благодетельна и благотворна,
близится
моей зимы пора.

Ни печалей,
ни дурных насмешек, —
сине-ледяная высота.
Вот опять летит сухой орешек
на парящей плоскости листа.

Освежающее утро ясно,
ночь ушла.
Рассеялся туман.
Я, ей-богу, прожил не напрасно, —
памятник мне — горсть живых семян.

1940

---

[1] Я воздвиг памятник (лат.). — *Ред.*

НОВЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ВЕЛИКАЯ РАВНИНА

200. ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Его везут в глухой карете,
а ночь — хоть выколи глаза.

Сухой трещоткой ветер встретит
жандармов конных,
и лоза
сечет карету.
                    Мимо,
                              мимо. . .
Но что встревожило его?
Он видит
               свет неугасимый
там,
где не видно ничего.

Над ним
бесчисленные версты
непроницаемых высот,
а он
     свои
          считает звезды,
свои названья
                    им дает.

1932

201. ДОНБАСС

Хватило б только голосу
сказать о близкой дали,
где терриконов конусы
в степи
волнистой
встали.

Подобен каждый маяку.
Бежит с холма — отлога —
дорога
на Макеевку,
на Горловку
дорога.

И вся встает Донетчина,
как на волнах, пред нами,
расцвечена,
размечена
различными дымками.

На горизонте ватами
они висят цветными —
лилово-красноватыми,
зелено-голубыми.

Пути бегут окрестные
с пригорка
на пригорок.
Повсюду лица честные
шахтеров
и шахтерок —
товарок
и товарищей
с душой,
в которой пламя,
свободно сочетающей
восторженность
с трудами.

И, новым днем услышанный,
степной,
первостепенный,
встает Донбасс возвышенный,
вернее — вдохновенный.

Никем не уничтоженный
и, знаете вы сами,
на музыку положенный
горячими сердцами.

1947

ВЫХОД К МОРЮ

202. К МОРЮ

Ты снилась нам — ребятам малым,
Твоя девятая волна
бывала нам за красноталом,
как воля вольная,
видна.

Твои сережки цвета хмеля
над нашей сыпались избой.
Ты снилась нам,
и мы хмелели,
кораблик вырезая свой.

И не фрегатом,
а линейным
мы звали кораблем его.
К твоим струям
зеленозмейным
влекло нас
более всего.

Тебя мы знали по картинке,
но вдоль овинов,
мимо бань
к тебе на самой первой льдинке
в весеннюю стремились рань.
И розовато-свежей ранью
ты золотила нам глаза —
и полувзрослое желанье,
и полудетская слеза,
и полурадость,
полугоре...
И знали мы,
что в руку сон,
когда на крейсере «Аврора»
ключ от тебя нам был вручен.

1947

203. БОТ «МУРОМЕЦ» ИДЕТ НА ПОМОЩЬ ГЕРОЯМ АРКТИКИ

В кругах огня
среди туманной теми
он к вам спешил,
от берегов вдали.
Со всей страной —
с товарищами всеми
свое волненье
скрыть мы не могли.

Хоть северу напрасно подражая,
но, вдруг рассыпав свой дорожный вьюк,
еще сегодня
туча снеговая
на пять минут
заштриховала юг.

А льды всё шли —
послушные привычке,
и штурмовали малый бот не раз...

Вы, помните,
писали нам о птичке,
запевшей там,
на полюсе,
для вас.

1938

204. У САМОГО МОРЯ

Ветер с волной в заговоре —
ночью бушует и днем
бледно-зеленое море,
белая пена на нем.

По морю
                бегают лапы
прожекторов голубых.
Берег.
           Дорога. Пикапы.
Красноармейцы на них.

И оперся им в колени
крепкий ружейный приклад.
Море в танцующей пене,
будто на нем снегопад.

1943

205. МУРМАНСК

Запах моря,
запах тленья
отмерзающей земли.
Молятся богам тюленьим
терема
и корабли.

И прилив ласкает бревна,
сваи,
    доски,
        валуны
под присмотром малокровной
неулыбчивой весны.

Вот она махнет пушицей,
вот глазами обведет.
Всё, что ей в тумане снится, —
цепь березок,
даль болот.

Постоит над тундрой голой,
постоит
и поглядит,
как на горизонте Кола
паровозиком дымит.

Словно королева рыбья
вдруг всплеснется за кормой,
по заливу безулыбья
догоняя тральщик мой.
Где-то спереди заблещет,
скроется на темном дне
и мгновенно — затрепещет
пленной рыбой
на струне.

1936

206—209. *СТИХИ О СВАНЕТИИ*

1

ЛАТАЛИ

Здесь, за деревнею,
река
металась по морене,

река свергалась с ледника
и вспять стремилась в пене.

Здесь рыцарь веял предо мной
среди простенков самых,
пыля ржаной и овсяной
мякиною на замок.

Здесь золотой дымился вздор, —
висел дымок половы
от малых дворишек до гор
зеленых
и лиловых.

Здесь всё на улице витой
казалось мне знакомо:
    мосток,
    ракиты над водой
    и на санях солома,
    а в башне скот
    и сеновал,
    и на полу ребята...
Всё это я не раз видал
давным-давно когда-то.

То было в давние года,
когда — я сам не знаю,
но тоже веял я тогда,
меча
не покидая.

1937

2

СВАНСКАЯ ЛУНА

Тетнульд все башни перерос,
он сыпал,
сыпал пламя,
как будто фосфорный мороз,
над сванскими дворами.

Он огонек тушил иной
на базе ли, в харчевне.
Дышала, как сарай сенной,
в его лучах деревня.

Она серебряной была,
и по тропе неровной
к воде спускались два вола,
как с паперти церковной.

Щетины острые свои
неся за ними следом,
из замка
вышли две свиньи —
подобны муравьедам.

Медведь головку уронил —
когтистый,
плоский,
вялый.
Положим,
он свисал с перил
мохнатым одеялом.

Под ним
на глиняном полу
узор чертила груша.
Всю ночь бродили по селу
скота и предков души.

И даже сам аэродром
за речкой небольшою
был весь завален серебром,
как рыбьей
чешуею.

1937

3

МЕСТИЯ

Только башни,
и туч покрывало,
и лужаек зеленый покров,
что же — скептиков — нас привлекало
за оградой вершин
и веков?

Уж, конечно, не мир этот старый,
опасавшийся добрых дорог,
не уздечка
царицы Тамары,
не ее золотой башмачок.

Под киркой альпиниста могила,
дальше улица в сизой пыли.
Даже почта
сюда не ходила,
как же мы
через горы прошли, —
к этим башням,
на эти лужайки,
с ледяных
опустившись высот,
счетоводы,
домохозяйки
и писатель,
который не в счет?

1941

4

ПЕРВЫЕ МАШИНЫ

Атласный меж прямых вершин
был небосклон немарок.
Пятнадцать двигалось машин
разнообразных марок.

Шурша,
газуя
и трубя,
саням,
волам на диво,
они катились вдоль тебя,
Ингур,
подобный пиву.

Шоферы — городской народ, —
мы были в ярких майках.
Лопух разросся в огород
на плюшевых лужайках.

Ручьи летели через нас,
не рассыпаясь ливнем.
Скала грозила нам не раз
то челюстью,
то бивнем.

Искатель золота меж скал
гремел сковородою,
машинам он рукоплескал
над бешеной водою.

К нам выходили мужики
в бешметах,
при кинжалах.
Мы вдоль всклокоченной реки
детей катали малых.
Из чашек ели мы резных,
мы пили из кувшинов. . .

Тринадцать было грузовых,
две легковых машины.

1941

210. ГАГРЫ

Ночь опускала синий полог свой,
в одно сливались воздух,
горы,
море,

а пленные
над всею синевой
белили
освещенный санаторий.

Лилось из окон в полутемноту
струны гавайской воркованье
или
вздох концертино.

Всё ж
я песню ту
не позабыл,
с какой мы победили.

Я пел ее,
уж тем обязан ей,
что не пришлось мне
в колпаке бумажном
белить над Рейном замок.

Всё ясней
синь разгоралась сотнями огней,
хотя для темы
это и не важно.

⟨*1948*⟩

КНИГА ПЕСКОВ

211. ДЕРЕВЬЯ ПУСТЫНИ

Как бы лишенные гордыни,
стоять не смеют в полный рост
деревья —
флюгеры пустыни,
и клонит их к земле
норд-ост.

И счета нету километрам,
и раб
перед царем своим —
как куст,
который согнут ветром
всегда одним,
всегда одним.

(1948)

212. ОСЕНЬ ВО ВРЕМЯ СМЕРТИ ЛЕЙЛИ

Кизяк заснул, застыв на доме...
От потягот,
от позевот
куда уйти?
Всё словно в дреме:
фисташка приоткрыла рот,
и воробей ее клюет
как бы во сне.

Всё сонный бархат,
на всем разлит снотворный мед,
и осень —
с виноградом барка, —
того гляди,
сама уснет.

А вечер звезды зажигает.
На танцовщице епанча
напрасно звездам подражает.
Над танцовщицей засыпает
одна,
другая саранча.

Заснула на столе посуда.
Бессонна лишь любовь одна.
Твоя любовь живет покуда, —
торопится любить она.
И всё ей слов как будто мало
в любовном словаре земли.
И вот,
скользнув
на одеяло,
упала
голова Лейли.

Врач задремал и не уходит.
Меджнун и тот заснуть успел.
Лишь мастер похоронных дел —
сентябрь —
среди дувалов бродит.

1946

213. ПЕВЕЦ

Четыре пиджачных тройки,
ладонями бубны кружа,
стучат в эти бубны бойко,
а пятый —
седой ходжа.

Сидит он на венском стуле,
как будто под ним ишачок.
И ветры пустынь задули,
и время шуршит,
как песок.

Тюрбан на певце и халатик
(когда-то он был голубой).
Тысячелетний фанатик
поет
и трясет головой.

Поет:
«Мой цветок новолунья
красавица
пальмы стройней».
И кажется старой горбунье,
что каждое слово —
о ней.

1943

214. ГОНИМ ЭМИРА

Зной ли царствовал неимоверный,
или холод царил ночной,
вслед за нами
скользили цистерны
с драгоценной водой питьевой,

Над пустыней
розовой,
голой,
в розоватый
голый простор
наши летчики гатчинской школы
подымали
сверхштатный «ньюпор»,

От болтанки спирало дыханье,
нам в лицо ударял песок.
По верблюжьим тропам
дехкане
гнали беков
на юго-восток.

Сам эмир бежал перед нами
по дымящемуся песку.
Он бежал
и сорил деньгами,
напечатанными на шелку.

Он терял золотую посуду,
и верблюдов своих,
и жен...
Мы искали его повсюду,
он почти что
был окружен.

Но ушла
в мокрой шубе лисица,
с ней бежали
шпион
и смутьян.

Мы едва ль не у самой границы
увидали
их караван.

Он цепочкой входил в ущелье
и как будто
в лисьей норе
вдруг исчез...

То-то было веселье,
то-то праздник был
в Бухаре.

1947

215. С НОВЫМ ГОДОМ

Вечера мы твои полюбили,
яблонь улица — Алмазар.
Снег, белее яблонь и лилий,
тихо валится на базар.

Здесь недавно еще торговали,
но закрылась «закуска-хана».
На залепленном снегом дувале
тень зимы голубая видна.

Как китайские тени, верблюды
тихо движутся сквозь снегопад.
Снег идет,
и далекие гуды:
ровно полночь —
заводы гудят.

Ровно полночь,
а снег беспрестанно
налипает на темном окне.
С Новым годом,
моя Несмеяна,
с Новым годом
в иной стороне.

Ровно полночь.
А снежная глыба
нарастает на черном окне.
С новым счастьем,
моя Неулыба,
с новым счастьем
в родной стороне.

31 декабря 1943

216. ФАРХАД И ШИРИН[1]

Было время, —
Ширин обещала
благодатную руку свою
инженеру большого канала,

[1] Герои восточных легенд и поэм, в которых Фархад выступает как строитель и ирригатор. В честь Фархада названо строительство гидроэлектростанции в Узбекистане по Сырдарье.

а досталась
дурному царю.

Он предстал перед ней
знаменитый —
шах могущественный,
пехлеви.
И циновки готовила свита,
темнотою ночною закрыта
от беспечного взора
любви.

И внезапно
в безводном канале
замерцала волна за волной —
то циновки, как волны, мерцали,
озаренные
низкой луной.

И всё выше она,
и лампады:
вот и свадьба,
и трубы трубят.
И сарбазы[1] ждут царской награды,
и бледнеет Ширин от досады,
и от ревности бледен Фархад.

Впрочем,
ложь той же ночью открылась:
не забудешь
и в радостный день,
как от горя Ширин отравилась,
как Фархад
свой подбросил кетмень,

как взлетел тот кетмень,
как он взвился,
под высокой луной заблестев,
как всей тяжестью
вниз устремился,

---

[1] Солдаты.

как Фархаду в затылок вонзился,
через голову
перелетев.

И окончилась свадьба в тумане,
став надгробным рыданьем глухим.
Мы Ширин никогда не обманем,
мы Фархада в беду не дадим!

Мы прикажем, —
послушна приказу —
настоящая хлынет вода,
всеми ясными гранями сразу
вспыхнет небо,
подобно алмазу:
это наша
зажжется звезда.

Это наши
зажгутся светила
в электрическом
нашем краю:
молодая Ширин посулила
нам прекрасную руку свою.

Состязанью великому рады,
соискатели милой руки,
мы идем — молодые Фархады.
Экскаваторов черных громады
в полнолунье
блестят у реки.

1943

217. СОЛНЕЧНЫЙ УЗБЕКИСТАН[1]

Саблей срезано конское ухо.
Восемь градусов ниже нуля.
Начинается завируха.
Где же небо?
А где земля?

---

[1] Навеяно одноименной картиной: узбекские всадники идут в атаку на немцев; метель.

Стала конская грива незрима,
в снежных брызгах не видно ни зги.
Лишь в разрывах летучего дыма
наши сабли
и сабли пурги.

Только крылья орлиные дышат...
Сквозь метель не летали орлы
со времен
самого Алпамыша,[1]
со времен
самого Кер-Оглы.

Если снег, —
значит, сдали морозы,
значит, надо зимой дорожить.
Как обидно,
что нету розы,
чтобы зá ухо заложить.

1945

[1] Алпамыш и Кер-Оглы — богатыри узбекского эпоса.

218. БОЛЬШАЯ ВОЛГА

Поезд,
проплывая, уплывая,
скрылся в рощах левой стороны.
До свиданья,
Волга голубая,
черно-голубая от луны.

Дальний путь пройдет по Казахстану
за большую станцию Арысь,
я тебя искать глазами стану —
серебром и чернью улыбнись.

Пусть войдет в мое стихотворенье
лунной ночи светлая пора —
неба,
листьев
и воды кипенье —
почерк синевы и серебра.

Пусть всегда меж жизнью и стихами,
полная и фонарей и звезд,
Волга льется синими струями,
Сызранский в луне чернеет мост.

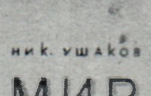
Пусть везде виднеется,
сверкая
на равнинах и в стихах страны,
Волга, Волга — влага дорогая,
пристань, голубая от луны.

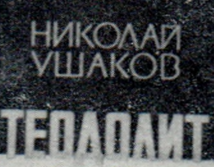


НИК. УШАКОВ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
СТИХИ
Н. УШАКОВ
ВЕСНА
РЕСПУБЛИКИ
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
СТИХИ
НИКОЛАЙ
УШАКОВ
ЯКОРЯ
ЗЕМЛИ


Н. УШАКОВ
ГОРЯЧИЙ
ЦЕХ
СОВЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Николай
Ушаков
Мои глаза


НИК. УШАКОВ
МИР
ДЛЯ НАС


НИКОЛАЙ
УШАКОВ
ТЕОДОЛИТ


Николай Ушаков
Я рифмы
не боюсь
глагольной

Впереди Коканд передо мною,
позади остался Киев мой.
Волга, Волга,
полною волною
пыль и плесень
всех столетий смой.

Прикоснись,
притронься
к вялой коже,
Волга, Волга,
юности река,
чтобы стать мне
нá сто лет моложе,
заглянуть
в грядущие века.

Озари мне этот мир огромный
сонмом электрических светил,
чтобы ночью,
даже самой темной,
каждою деталью говорил,
чтобы не заученная поза
и не жест,
сработанный в тиши, —
в стих входила
явственная проза —
трепет
поэтической души.

За живое
научи бороться,
Волга, Волга,
молодость моя!
Размывай
пригретые болотца,
разливайся
в свежие моря!

1953

219. АМУРСКИЕ ВОЛНЫ

На пристани гармоника
и плачет
и поет.
Не женский голос тоненький,
а за душу
берет.

Меж складами-амбарами
не сад,
а палисад.
Все парами, все парами,
лишь гармонист
не рад.

Склонился, будто слушает
гармонику:
— Ты что ж,
ты по какому случаю
и плачешь
и поешь?

За складами-амбарами
вдоль падей,
вдоль теснин
гуляют тучки парами,
а гармонист
один.

Амурская стеклянная
колышется
волна.
Заимка безымянная
отсюда
не видна.

От сопок небо сузилось.
Тайга,
тайга кругом.
А счастье законфузилось,
закрылось
рукавом.

Лишь ниточкою тоненькой
к нему
        тропа ведет.
Вот почему гармоника
и плачет
        и поет.

1954

220. ДАЛЬНИЙ ПУТЬ

Вся в звездах станция ночная.
Я к тишине уже привык.
И различать я начинаю
ее мечтательный язык.

Так тихо!
Слышно, как порхает
ночной вдоль рельса мотылек.

А небо рядом полыхает,
и путь далекий —
не далек.

И до звезды от эшелона,
я бы сказал,
лишь крыльев взмах.

Вот женщина в окне вагона
стоит с ребенком на руках.
Не знаю,
рано или поздно...

Не спит —
с улыбкой смотрит мать,
как тянется ребенок к звездам:
хотя б
одну
ему достать.

1955

221. ПЕРВОПРОХОДЧИК

Мы приготовились умирать...
Мне грезился какой-то бал...

В. К. Арсеньев

Далеко от Петербурга
Зайкин лог,
Тетеркин ключ,
где березка,
как снегурка,
над потоком
между круч.

Где среди камней березка
над каскадом,
 над волной,
где березка
будто тезка
милой женщины одной.

К океану через кручи
по камням
 вдоль быстрых вод
капитан или поручик —
он
не первый день бредет.

Путешественник отважный
голоду бредет назло.
Рыба мертвая — не важно, —
как сегодня повезло!
Всё, что сделано из кожи,
для голодных — благодать...
Он бредет.
На то похоже,
что придется погибать.

Чуть живой,
небритый,
серый —
старый падает,
упал.

Молодому офицеру
снится за туманом бал.

И подруга молодая
сквозь туман ему видна.
В музыке — волна Дуная
и амурская волна.

За рекою,
              за Анюем
много рек шумят волной.
«Не страдаю,
не ревную,
но прошу —
побудь со мной.

Над каскадом вод ненастных
проскользни среди камней
в белых туфельках атласных,
в платье белого белей.

За рекою,
              за Анюем
посети таежный край.
Что мне делать с поцелуем?
Кто это сказал: „Вставай!“?»

Сном мгновенным удрученный,
встань
и приглядись кругом.
Мчатся
          в лодках
                    орочоны,[1]
подпираются
                    шестом.

На порогах не плошая,
рис везут.
Вглядись в туман.
За туманом жизнь большая,
как Великий океан.

1954

---

[1] Эвенки.

222. ВСЯ ЛИ НАМИ СТРАНА ЗАМЕЧЕНА?..

Вся ли нами страна замечена?
Вся ли
в строки вошла стихов?
Беспощадный открыл Донетчину,
Приамурье — Петр Комаров.

Агрономы,
шахтеры,
воины —
мы тебя изучаем, страна!
К сожалению,
мало освоена
поэтическая целина.

А она под крылом у летчика,
всей тайгой за разъездом Кадуй
ждет
поэта-первопроходчика,
говорит она:
«Зарифмуй!»

Мы звенели стихами приятными,
воспевали простор без границ,
а простор оставался за пятнами
наших,
в сущности,
белых страниц.

Сколько нами еще не написано,
а бывает,
и отстаем
мы не только от острова Диксона,
от района,
в котором живем.

А район этот
убран начисто,
электричество на току.
Всем количеством он,
всем качеством

так и просится
к нам
в строку.

Разливает широкое зарево,
наливает строфу через край.
Ты гори, заря,
разговаривай,
подзадоривая,
увлекай!

Ты бери стихотворца за руку
и вперед,
через горы,
в путь,
за лесные массивы, на реку,
чтоб поэзии
зачерпнуть.

1955

223. СТАНЦИЯ ЗИМА

1

Сибирь — большая, знойная —
сверкает летним днем.
Сплошное море хвойное,
стоят березы в нем.

Как будто и плакучие,
а смотрят с высоты.
Играют дали жгучие —
иголки и листы.

Как самоцвет
горячий свет.
И греется сама
за Красноярском
станция
по имени *Зима*.

2

Кто любит — теми пройдены
все тропочки в тайге.
Букеты из смородины
у каждого в руке.
В другой — как опаленная —
ее, его — рука.
Сама в июль влюбленная,
на них глядит тайга.

От всех примет
ушедших лет
сама — как без ума —
перед Иркутском
станция
не *Лето*, а *Зима.*

3

Остались дома тяготы.
Бежит велосипед —
в таежный лес по ягоды
с лукошком катит дед.
Он катит, катит вдоль лужка,
а внуки впереди:
— Ты не сдавайся, дедушка,
колесико верти!

Велосипед
оставил след —
вдоль муравы кайма.
И снега нет,
и стужи нет,
а станция —
Зима.

1955

224. ИЗ ДНЕВНИКА

...Когда я пишу эти строки,
снежок на щетинке степной,
но ринулись к Волге потоки
воды долгожданной донской.

Станицы ей путь уступают,
дорогу дают хутора.
Пора! —
семенам заявляют,
торопят поэтов:
— *Пора!*

Пора! —
Брызги бьют снеговые,
но мир с каждым мигом милей, —
машины весны грузовые
рассаду везут тополей.

Повсюду,
на всем кругозоре,
весна,
да какая весна!

Играет Цимлянское море,
волну догоняет волна...

1952

225. ЮБИЛЯРУ

М. Ф. Рыльскому

Вновь перевернута страница...
Весна — как в прежние года.
Но тень
отчетливей ложится
и чище вымыта звезда.

С годами ярче и милее
весенняя пора для нас.
В гостях на вашем юбилее
присутствуем не первый раз.

Не первый раз стихи и речи,
приветствия и адреса,
но кажется, что в этот вечер
еще моложе небеса.

Как молод мир! Весна какая!
Как вы идете по стране,
поэтов встречных увлекая
и каждой радуясь весне!

1955

226. НОВЫЙ УГЛИЧ

Пароход друзей встречает,
подает друзьям гудок:
«Очень в Рыбинском качает,
на Московском — ветерок».

Осень — это время года
бурь и штормов в самый раз.
Очень свежая погода
даже в Угличе у нас.

Осень без конца и края.
Дождь и ветер над волной.

Вдаль уводит мостовая,
и завод передо мной,
где продукция дневная
на тарелочке одной.

Карборунды
и рубины
для приборов,
для часов.

Ветер гроздья рвет с рябины,
гонит тысячи листов.

Всё скорее,
всё скорее
гонит листья ветра хлыст.
Над волной упорно рея,
не желает
падать лист.

В час осенней непогоды
вспоминает вешний цвет.
Повидать бы пароходы
здесь через пятнадцать лет,
с будущими моряками
здешний увидать бурун,
тронуть ладными руками
крепкий камень карборунд!

Всходы новые на свете,
молодые имена!

Хорошо,
что в мире ветер,
свежий ветер и волна.

1952

227. СЧАСТЬЕ

Счастье — равнина вот эта:
стройка при полной луне,
листья лимонного цвета
в море степном на волне.

Счастье — всё то,
что отлично
знаешь и что превзошел.
Счастье — станок твой фабричный,
счастье — твой письменный стол,

Счастье — сквозь горы дорога,
каждый пути поворот.
Счастья на свете так много —
столько же,
сколько забот.

Счастье — день встречи с красивой,
милой девчонкой, живой,
ставшей твоей терпеливой,
верной твоею женой.

Пусть же упрек обоюдный
в вашу не вторгнется речь.
Счастье найти не трудно,
трудно
его сберечь.

1952

228. ПРИРОДУ ИЗМЕНЯЕТ ЧЕЛОВЕК...

Природу изменяет человек.
Прислушайтесь:
от края и до края
серебряные воды наших рек
поют,
друг другу руки простирая.

Опознанный,
в сонату входит звук
волны,
колосьев,
бронзы
и лазури,
а башни управления вокруг
о новом говорят в архитектуре.

Качает листья свежая вода,
хотя не все еще пооблетали.

Товарищи художники,
сюда
зовут вас необычные детали.

Несет волна
коричневый листок;
лимонный,
розовый — на землесосе.
Румяный среди моря островок —
еще остался куст.
В Цимлянском — осень!

Не раз уж осень восхищала нас,
в прилежном нашем отражаясь взоре,
но, может, в первый и в последний раз
она — такая — на Цимлянском море.

И все-таки здесь каждый день дает
мне представление о коммунизме, —
здесь всё — неповторимый переход
от старого
к зовущему вперед —
к еще незнаемой,
но полной жизни.

1952

229. АЗОВСКОЕ МОРЕ

Поэт повернет свое слово
сто раз
и не сто,
а пятьсот.
И кажется, строчка готова, —
и эта еще не живет!
И снова и снова сверяет
поэзию с жизнью
поэт.
Работы трудней не бывает
и вместе с тем
радостней нет.

Мелеет Азовское море.
Веками донская вода
несет в него ил,
но в дозоре
рабочего вида суда.
И в море и снова и снова
из Дона идут корабли.
Мы утром ушли из Ростова,
мы пóд вечер в Жданов пошли.

Совсем уж темно.
Дело к ночи.
Задул ветерок — ну и ну!
Азовское море грохочет,
волну громоздит на волну.
Как будто кораблик бумажный,
«Капелла» — герой-пароход —
взлетит на волне двухэтажной
и в бездну опять упадет.
Не плаванье, а наказанье...
И все-таки точным путем,
и все-таки по расписанью
минута в минуту идем.

1952

230. КЕРЧЬ

На горе высокой Митридата
обелиск и пушки с трех сторон.
В честь бойца —
матроса и солдата —
памятник
над морем вознесен.

Затонувший пароход на рейде,
зданий
в брызгах взрывов
строгий вид, —
город,
знавший множество трагедий,

нам о бдительности
говорит.

И упорством дышат улиц трассы,
а на берегу,
не на воде,
свежевыкрашенные баркасы
говорят
о мире
и труде.

1953

231. ЧИТАТЕЛЮ ЭТИХ СТРОК

Ирпень-река,
и над рекою
сентябрьской ночи
торжество.

Землечерпалка на покое,
как дремлющее существо.
Заснула. . .
Спит без сновидений.
Поселок весь,
как темный флот,
в неизмеримости осенней
к Большой Медведице
плывет.

И лишь каштанов силуэты,
и лишь вдали освещено,
как на другом конце планеты,
одно раскрытое окно.
Быть может,
                    на Курилах дальних
огонь горит в твоем окне
и до лучей первоначальных
ты вспоминаешь
                         обо мне.

Мои припоминаешь строки,
и мы опять
с тобой вдвоем,
хотя на крайнем ты востоке,
а я на западе своем.

Хотя твой край —
ах, как далек он
для равнодушного письма, —
но перекличка наших окон —
беседа сердца и ума.

И жар взаимности глубокой
мильон кедровников прожег,
и всё стучит мне издалека
электростанции
движок.

1950

232. КТО ОДНАЖДЫ ВИДЕЛ КЫЗЫЛКУМЫ

1

Грузовик полз по волнам песчаным,
пели тормоза, как соловьи.
За едва дымящимся барханом
медресе осталось Кыз-биби, —
занесенные песком порталы...

Сколько лет,
песчинками пыля,
сыпала горячие кристаллы
эта степь-пустыня на поля!

Рассыпала кварц свой раскаленный.
И среди развалин
и могил
юноша, без памяти влюбленный,
о Лейли
с оленем говорил.

Засыпала кельи семинарий,
ярмарки,
каналы,
старый зал,
где по воле мелких государей
живописец стены украшал.

Подползала ближе год от года
к благородной
к самой Бухаре.

2

Вечером здесь тихая погода.
Здесь мы были в прошлом сентябре.
Грузовик полз по волнам песчаным,
и покачивался грузовик.
За едва дымящимся барханом
лагерь археологов
возник —
Варахша,
в зернистых звездах дали —
море Кызылкумов при луне.

3

Утром здесь кувшины откопали,
сохранившиеся не вполне.
Трещиною каждой,
слоем пыли,
камешком,
прилипшим тут и там,
нам они о жажде говорили,
о могилах
говорили нам.
Видели погост мы древний,
это
были не гробницы,
не гробы, —
на песчанике чертеж скелета,
знак неясный, —
всё же знак борьбы.

Всех столетий видели мы страхи,
муки и надежды всех веков.

4

За холмом солдатские рубахи
промелькнули конных лесников.
К нам примчались по тропинкам ближним, —
всё народ, как видно, волевой.
Девушка была в костюме лыжном
с офицерской сумкой полевой.

Знали мы о ней лишь понаслышке —
леснике послевоенных дней.
Нас Василий Афанасьич Шишкин —
археолог —
познакомил с ней.

Над ее верандой
самолеты,
семечком груженные, летят,
под ее командой
самолеты
степь-пустыню
семечком бомбят.
Сыплют с неба семена черкеза,
саксаула.

5

Тем и знаменит
здешний лес, что он не из железа,
а пустыне противостоит.
Может быть,
и не дает он тени,
но — скупой на листья,
несплошной —
он стоит,
как авангард растений —
лес бухарский,
будто костяной.

Друг посевов он,
хоть даже серой
краски не хватило на него...
Что такое стало с атмосферой?
Убежала сойка отчего?

День подобен мрачной лунной ночи.
Буря гонит по песку песок.
На борьбу с песком уполномочен,
лес стоит — куда как невысок.

Но корней могучая система
всех барханов,
всех песков сильней.
Он стоит.
Он — наших дней поэма,
жизнь в которой нам всего важней.
Долею микрона поступиться
не желает он перед песком.

6

Пой под бубен,
душенька-певица,
пой о веке, сердцу дорогом.
Нам звучат не о дожде молебны, —
гимн строительств — здравица твоя.
Песни зажигай фонарь волшебный,
запевай,
красавица моя!

Драгоценными гляди глазами
на поля,
на воды,
на леса.

Слишком часто мы не знаем сами —
как прекрасны наши голоса,
как прекрасно то,
что твердо,
зримо
входит в жизнь,
которую творим!

Каждое зерно
                неповторимо,
малый арычок
                незаменим.
О строителях,
                о людях думай,
сердцу бесконечно дорогих.

*

Кто однажды видел Кызылкумы,
тот, конечно, не забудет их.

1951

ВЕСНОДВОРЕЦ

233

1

Есть такая сторона —
русская поэзия:
дорогие имена,
редкая профессия.
Искры огонек живой —
дар так называемый, —
вот и бродит сам не свой —
автор уважаемый.

2

Пушкин, Маяковский, Блок,
Лермонтов с Некрасовым.
Раздувай свой уголек,
намечай, набрасывай!
Вот она, родная речь —
звуков равновесие.
Как тебя нам не беречь,
русская поэзия!

3

Черный глаз, крутая бровь. . .
Слюбится да стерпится. . .
Что же ты, моя любовь,
отложила зеркальце?

На семи пуховиках
будто на железе ей...
Разгони позор и страх,
русская поэзия!

4

Каземат да равелин...
Что же вы, молоденький
благородный господин,
собрались в колодники?
Но грозит сквозь снегосей
миру мракобесия
рвущий цепи Енисей —
русская поэзия.

5

Громоздит, ломает лед
на волне взлетающей.
Ленин берегом идет,
с Лениным товарищи, —
дорогие имена,
славная профессия,
поднятая целина —
всей земли поэзия.

1959

234. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

Этот век мы открывали,
мы,
    я с этого начну,
в англо-бурскую играли
и в японскую войну.

Как рожки нам были сладки,
как тогда пленяли нас
возле церкви две палатки —
ярмарка на Теплый Спас!

А неделя за неделей,
будто бабочка, вилась,
будто в цирке Чинизелли
пестрый клоун
                    или вальс.

В толстых стеганках маньчжуры
кочевали по дворам,
хитро скалясь,
                    абажуры,
веера совали нам.

Ладный шарик на резинке
ловко прыгал в рукава.
Перелистывать картинки
успевали мы едва.
Лето выпало сухое
перед первой мировой.
Вдруг зарезался косою
Николая рядовой.

Может,
          Варя изменила,
может,
          суд грозил ему, —
всё, что издали манило,
стало близким потому.
На заводе аммиачном
нам служить хотелось им —
этим старикам невзрачным,
этим девушкам седым.

Нам хотелось наше слово
так в стихе установить,
чтобы слово было ново,
чтобы каждое готово
было землю обновить.

1959

235

Резиденты и шпионы
сеют малую войну.
Резиденты и шпионы
рвут отсталую страну.

Там бесплодная скала,
там в снегах высокогорных
мертвых воинов тела
в шубах красных,
в шубах черных.

Бубен битвы отгремел.
Вражьи замолчали станы.
Шубы, губы, даже раны
стали белые, как мел.

Битва стала морем льда,
только валит сквозь теснину
сумасшедшая вода
всадника с конем в долину.

Тащит всадника с конем,
а потом всё тише,
глаже,
вносит
осторожно даже
в изумрудный водоем.

Там зеленая волна,
там на лоне мягких склонов
травы носят имена
резидентов и шпионов.

1959

236. ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ПЯТНАДЦАТЫЙ

Танцует прапорщик пехотный,
под Луцком будет он убит, —
и дева юная охотно
ему о страсти говорит.

Она твердит ему о страсти
такой небесной, неземной.
— Настасья Федоровна,
Настя,
что делаете вы со мной?

Они горячими устами
прижались к льдистому окну,
иную видят над снегами
неугомонную страну.

Деревни крыты черепицей,
меж ними фабрики гудят, —
всё им — химическим — не спится, —
военный производят яд.

А бедный фендрик недоволен, —
стоит в готическом окне:
— О фрейлейн Мильда,
либес фрейлейн,[1]
не забывайте обо мне!

1958

237. ХАМЗА ХАКИМ-ЗАДЕ (НИЯЗИ)

Путь-дорога вьется узким кантом
мимо горной речки
в глубь страны.
Едем мы

---

[1] Liebes Freulein — дорогая девушка (нем.). — *Ред.*

восточнее Коканда,
едем мы
южнее Ферганы.

Справа —
горы — каменная стенка,
слева —
речка — волн гремучий бег.
Нас в машине четверо:
туркменка,
украинец,
русский
и узбек.

В сто дымков селение дымится.
Красный перец
за любым окном.
От своих республик поклониться
мы к Хамзе
по лестнице
идем.

Высоко в горах Шахимардана
опочил поэт Хамза меж скал.
Он ушел
из жизни слишком рано,
он в борьбе
за нашу дружбу пал.

На него,
хватая камни,
мчалась
басмачей и мистиков орда.
Наша дружба
в муках зачиналась,
утверждалась
в трудные года.

Не летел тяжелый камень мимо,
каждый оставлял жестокий след, —

но поэзия неуязвима,
если верен
истине поэт.

И Хамза Хаким-заде остался
навсегда
среди живых людей, —
никогда
Хамза не отрекался
от того,
что сутью звал своей.

1958

238. ВАГОНАМ, ОТСЛУЖИВШИМ СВОЙ СРОК

Стоите вы не у перрона,
и мне сказать о вас пора,
международные вагоны,
старинных серий номера.

Вас критики не разгадали,
берусь на свой отметить риск —
вас и Чита
и Чоп видали,
встречали Мурманск
и Каспийск.

Вас осуждали так и этак,
я возражал пером своим
в подвижных ваших кабинетах
за вашим столиком живым.

Я не боюсь зеркальных стекол —
края за ними щедрых сил...
Случалось,
грузовик, как сокол,
меня в просторы уносил.

Случалось,
с вами я прощался,
переменив диван на плот,

но неизменно возвращался
к вам старый автор-вездеход.

И вот вы в парках на покое,
от основных путей вдали
стоите длинной чередою,
друзья и сверстники мои.

А я еще с мешком заплечным
от рубежа и к рубежу
по нашим далям бесконечным
летаю,
        езжу
                и хожу.

Еще встречаетесь, бывает,
вы у ремонтных мастерских,
и память сразу оживает
о современниках моих.

Рабочий человек, не барин,
учтивой вашей тишине
я безгранично благодарен
за всё подсказанное мне:
за все черты,
                за все приметы
и образы высоких дел:
за всё,
        что было мною спето,
за всё,
        что не один я пел;
за тамбуры и коридоры,
за крепкий чай,
за час ночной,
за неопущенные шторы,
за все ночные разговоры
великой родины
                со мной.

1959

239. ЗОВУТ ПУТИ ЖЕЛАННЫЕ...

Зовут пути желанные.
Бегут,
    возникнув вдруг,
автобусы стеклянные
на север
    и на юг.

Бегут,
    перекликаются...
А гидросамолет
с Угрюм-реки снимается,
на тундру
    курс берет.

Тропинкой субтропической
идешь, а червячок
фонарик электрический
меж темных пальм зажег.

На западе
    долинками
шоссе уходят вдаль, —
то дождичек над клинкером,
то в лужицах асфальт.

Дороги оловянные
восточных волн морских!
Дороги деревянные
сибирских бирж лесных!

И вновь
    пути железные
в Архангельск,
    в Кострому, —
мне милые — чудесные,
наверно, потому.

Вы, будочки,
    вы, елочки,
орешничек,
    ольха.

От листьев,
                    от иголочек
зеленая река!

К ней тысячи склоняются
травинок и ветвей.
И все
          пересекаются
пути
        в душе моей.

1959

240. НА ДАЛЕКОЙ ПАРАЛЛЕЛИ...

На далекой параллели,
от Большой земли вдали,
мы березку наглядели,
крохотную увезли.

Увезли ее в блокноте
между мыслей и замет
о надежде,
о заботе
тех,
кто здесь оставил след.

За сибирским молочаем,
за таежным кедрачом
никель с медью разлучаем,
уголь и алмаз берем.

В Ледовитом океане
солнышко и тишина,
только песня о свиданье
то слышна,
то не слышна.

Пробирается на Лену,
весь задраен, теплоход.

Лету яркому на смену
темная зима идет.

По волнам гуляет льдинка,
всё не тает,
всё шуршит.
В тундре
торная тропинка
к морю Лаптевых спешит.

За гранитными хребтами
сотни родственных могил.
Будь благословенна память
тех,
кто смелыми шагами
здесь когда-то проходил.

1959

241. СЕВЕРНАЯ ПЕСЕНКА

В тайге, над камнями
стояла береза.
Всплеснула руками,
упала с откоса.

Вся — огорченье,
плывет по теченью
туда, где царь-овод —
оленей мученье.

Сочувствуют травы ей,
слезинки сея. . .
Что лесу плавает
по Енисею!

Прутики — волосы,
в лице ни кровинки.
Поет вполголоса
до самой Дудинки:

«Не там, не там ли,
где Карское море,
лихтер «Принц Гамлет» —
радость и горе?»

Сочувствуют мели ей,
протоки узкие —
бедной Офелии
с Нижней Тунгуски.

1959

242. ПОЕЗДА, ПРОХОДЯЩИЕ НОЧЬЮ

Только пара над станцией клочья,
и сквозь пар три туманных огня...
Поезда, проходящие ночью,
ваши окна
волнуют меня.

Тихий юноша
с тихой подругой
направляются на целину.
Улыбаются взгляды друг другу,
двое думают
думу одну.

Полки.
Люди на полках,
и слабо
ночника из купе льется свет:
офицер Генерального штаба
стережет
нераскрытый пакет.

Едут к детям
старик со старухой,
как их примут —
решают вопрос.
А на станции сонно и глухо,
только рядом вздохнул паровоз,



Н. Н. Ушаков с женой Т. Н. Ушаковой-Белогорской и каракалпакским поэтом И. Юсуповым



Слева направо: Н. Н. Ушаков, К. Г. Паустовский, И. Д. Василенко.

только пара на станции клочья,
и сквозь пар три неясных огня.

Поезда, проходящие ночью,
ваши окна
тревожат меня.

1958

243. МОДНЫЙ ПОЭТ

Он выступил с крупною ставкой, —
играл он на тысячу лет.
Он следовал моде.
В отставку,
в отставку уходит поэт.

Не повинуется челюсть,
и голос сорваться готов,
и каждое слово — как шелест
увядших лавровых венков.

В аудитории давка,
там места свободного нет:
смотрите —
                в безвестность,
                в отставку
                известный
                уходит поэт.

Ладошку приставила к уху,
но в старческий клонится сон...
Склонилась...
На эту старуху
напрасно надеялся он.

Ударилась куклой о лавку,
и в зале движенье и свет...
Врача поскорее!
В отставку,
в отставку уходит поэт.

Он сменною модой недельной
когда-то пленял молодежь.
Так что ж ты, цветок рукодельный,
сегодня не модно цветешь?

Он делал последнюю ставку,
а слева и справа — совет:
— В отставку!
— В от-став-ку!
— В о-т-с-т-а-в-к-у!

В отставку уходит поэт.

1961

244. ТУРИСТЫ

Уж мы ходили — не ленились,
уж мы бродили — там и тут,
старинным башням надивились,
напробовались местных блюд.

Как белой ночью дивен город,
как отдыхают от жары
его высокие соборы,
его глубокие дворы!

Как выразительны ступени,
как вычерчен часовни свод!

К Марии-деве на коленях
вдова по лестнице ползет
и головой еще не старой —
бедняга —
бьется о гранит.

Как сладки эти ей удары!
Как голова моя болит!

1959

245

Вдоль Америки,
вдоль Африки,
в глубину
и в тишину,
наши красные
кораблики
отбывают
на Луну.
Между кратерами
лунными
тенью
корабли плывут,
с облачками
тонкорунными
нам привет
передают.
Камерой
фотографической
шарят
в кратере глухом.
Что же ты,
мой друг лирический,
всё хлопочешь
о своем?
Что же ты,
моя красавица,
всё от главного
вдали, —
разве небо
не касается
нашей маленькой Земли?

1961

246. ЛИРИКА

> Ты мне сказал, небрежен и суров,
> что у тебя —
> отрадное явленье! —
> есть о любви четыреста стихов,
> а у меня два-три стихотворенья.
>
> *Ярослав Смеляков*

А я писал всё время о любви —
к глухим разъездам,
к старым счетоводам,
к полузаросшим,
но проточным водам,
и все тропинки вдаль меня вели.
И малый куст на диком косогоре
вдруг чувствовал себя
как великан,
и все канавки пробирались к морю,
все лужицы стремились в океан.
Моя любовь
была веков разведка...
Пусть не всегда звенели соловьи,
пусть розы расцветали слишком редко,
но о любви писал я,
о любви!

1961

247—248. *ОБЫКНОВЕННЫЙ ФЕВРАЛЬ*

1

Прутики и веточки томятся.
Брызжет дождик,
разъедая снег.
Девочка грустит,
а ей — тринадцать.
Пожилой задумчив человек.

Мокрый пес
и тот — весь ожиданье,

вопросительно
вокруг глядит, —
будто о конце его страданья
предвесенний воздух говорит.

2

Я хочу быть деревом в разливе,
в половодье посреди стремнин.
Не могу не удивляться иве,
направляющей
движенье льдин.

Вот опять их флот свирепый мчится,
потрясает вербою опять.

Содрогнувшись,
 не переломиться,
выстоять
 и направленье дать.

1960

249. ЧЕЛОВЕКУ НЕЛЬЗЯ НЕ ПРОРВАТЬСЯ

И люби,
 и надейся,
 и веруй —
верь тому,
 что основа основ.
Мир измерить немыслимо мерой
безразлично красивых стихов.

Их, должно быть, писал горемыка, —
он не понял, бедняк, ничего.
Посмотри —
 как над тундрою дикой
зрелой мысли царит торжество.

Рдеет день над Татарским проливом.
Пусть под кедрами рядом — ни зги, —
хорошо верхолазам счастливым
видеть солнце за ночью тайги.

Хорошо времена и пространства
видеть в море огней и лучей.
Опасаться не надо тиранства
неудобных тебе мелочей.

Пусть олени, робея, ложатся
в узкой щели,
где пихты и снег, —
человеку нельзя не прорваться:
называется он человек.

Ты на трудную долю не сетуй,
ты не брезгуй нелегкой судьбой, —
беспримерные наши ракеты
приглашают лететь за собой.

Мы расставили вешки — как вехи
в те края,
где себя ты найдешь.
Береги трудовые доспехи,
их носить
не стыдись,
молодежь!

1959

250

Декабристы, Огарев и Герцен.
Лондонский туман.
Сибирский снег.
Сердце говорит с далеким сердцем,
с девятнадцатым —
двадцатый век.

Над тайгою,
над Сибирью снежной
нависают,
виснут облака.
Прозвенел и сломан меч мятежный,
колокол гудит издалека.

Звон кандальный,
вьюги перегуды.
Чистый звук сквозь темный снегопад.
Устремились недра,
входят руды,
льются сплавы
в ленинский набат.

То, что в муках голос подымало,
песню взвей над взятым рубежом.
Ты звени,
мой колокольчик малый,
говори о добром и большом.

1962

251. ВЕЛИКИЕ РУКИ

Станции, станции — наше былое!
Их имена не идут из ума:
Дрязги,
Безруково,
Глушь,
Гужевое,
Мокрица,
Снежица,
Яма,
Зима.

Ну, а разъезды —
Тяжелый да Темный!
Правда,
иные зовутся и так:

есть Металлист,
Пролетарский
и Домна,
есть Декабристы,
Лазо
и Спартак.

И открывается давний и дивный,
разнообразно возделанный край.
С почтой сверкнул самолет реактивный,
крикнул весенним гусям — нажимай!

В громе строительном, в праздничном гуле
центр и окраины городов.
Сразу десяток рождается улиц,
сто одновременно всходит домов.

Дед на балконе.
Стоит, принимает
утренний рапорт страны трудовой.
Справа
Балтийское воды вздымает,
слева
Охотское брызжет волной.

Справа и слева
умные внуки
роют и строят,
дают имена:
Солнск,
Мирославль,
Великие Руки,
Веснодолинск,
Весногорск,
Усть-Весна.

1958

252—253. *РАБОТАЮТ ВСЕ СТАНЦИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА*

1

КОСМОНАВТ-1

Живем, как на границе сказки, —
на грани неба и земли...
И вот — в невиданной оснастке
уходят к звездам корабли.

Еще восторг предположенья
не ставит слишком дальних вех,
но начал в космосе движенье
советский
смелый человек.

И все народы рукоплещут,
и люди все восхищены —
открылись души им и вещи
с какой-то новой стороны.

2

КОСМОНАВТ-2

Летит вокруг Земли снаряд,
а космонавт заснул,
и снится
ему всё тот же сон:
летят
друзей космические птицы.

Неясных маяков огонь
влечет их в тайны, как в туманы,
и звезды,
будто великаны,
их принимают на ладонь.

1961

254. ТАЙНАЯ СЕКУНДА ПЕРЕХОДА

Не мушиный ум и не мышиный, —
посреди реторт и картотек
стала переводчица-машина
обрабатывать учебный текст.

В ней автоматическая сила,
никаких не знающая дум,
«мыслю — cogito», — произносила,
«значит, существую — ergo sum».

Откликалось точно, аккуратно
на сигнал ее значков литье.
Людям было даже неприятно
видеть исполнительность ее.

Но однажды в строгий храм науки
с зеркалом сотрудница вошла,
и внезапно отразились муки
на стальной поверхности стекла.

Женщину сравнив с собой живую,
ей машина закричала:
«Сгинь!
Я не мыслю,
я не существую,
ненавижу я твою латынь!»

Будто вздрогнула сама природа,
будто землю потрясла, как ток,
тайная секунда перехода
из крупинки мрамора в цветок.

1959

255. НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МАРТ

На лыжи — и по снегу бегай!
Сегодня первое число,
сегодня март,
                    а сколько снегу,
а сколько снегу нанесло!

Лежит пушистый,
мягкий,
добрый,
не заскрипит,
не зашуршит,
закрыв все выступы и ребра,
у нас на улице лежит.

Не слышит звона льдинки ломкой.
Не тает снег, хотя пора.
В халатах возле анатомки
в снежки играют доктора.

1962

256. НОВАЯ ВЕСНА

Всё осторожней наблюдаешь
за солнышком в голубизне,
весну с тревогой ожидаешь
и как завидуешь весне!

И этим мальчикам зеленым
с их бедной рифмой корневой,
и этим девочкам влюбленным
с практической их головой,

и этим зданиям высотным,
еще не знающим жары,
и этим прутикам, свободным
от прошлогодней мишуры.

И снова город и деревня
сияют,
снова ясен пруд,
и, взявшись за руки, деревья
купаться в зеркало бегут.

И от Хибин до Гиндукуша,
и от Хингана до Карпат
цветными шариками души
парят
и падать не хотят.

И вновь таинственно и нежно
«на глыбе
зеленеет рожь»,
и в сердце — тихая надежда:
«Еще весну переживешь!»

1961

257. РАБОЧИЙ МОМЕНТ

Была ль такая ночь в Элладе,
как ночь передо мной сейчас?

Не говори мне, бога ради,
что ужин стынет в третий раз.

Не вспоминай, что дождик серый
по черной плещет мостовой.
Могла ли быть до нашей эры
ночь ослепительной такой?

Как будто в раковинах южных
ночная разгорелась высь,
и тысячи лучей воздушных
в единый фокус собрались,
и звезды сыплются в окошко,
и в каждом стеклышке луна.

Ах, эта муза-хромоножка,
ну и затейница она!

1958

258

П. Г. Тычине

Спасибо Вам,
посол наш полномочный
в великой поэтической стране,
за всё,
о чем так мягко, но так точно
не одному Вы говорите мне.
Спасибо за могучее движенье
гармонии,
нежней которой нет.
Спасибо за стихи — как продолженье
всех наших государственных побед.
Я вновь и вновь, смущаясь и робея,
гляжу на Вашу кисть и карандаш.
Учусь у Вас,
Вам подражать не смея,
и тем горжусь,
что современник Ваш.
Как мальчик, не спросивший разрешенья,
проникнув к славному поэту в дом,
читаю Вам свое стихотворенье
и нахожусь у музы под судом.
Мой бедный ямб — неловкий, угловатый,
лишенный и начала и конца, —
простите мне.
Вы сами виноваты,
что мы вручили Вам свои сердца.

1961

259

М. Ф. Рыльскому

«Суровый Дант не презирал сонета»,
но в наши времена
ни слез,
ни грез
уже не вызывала форма эта

и, кажется,
состарилась всерьез.

И всё же песенка ее не спета.
Сонет в подарок Рыльский нам принес
в тот милый край,
где из окна поэта
Китаев виден и днепровский плес.

Сонет открыл глаза,
очнулся,
ожил,
заметил многое и подытожил,
заговорил,
как прежде молодой.

У славы он опять в почетных списках,
а врач его в созвездье сердцу близких
сияет многоцветною звездой.

1955

260

М. И. Терещенко

Политехнический,
Шулявка,
Демиевка
и «Арсенал»..,
Поэзии не там ли ставка,
где Ваш Цень Цань когда-то пал?

В том и секрет стопосложенья
и замкнутый для многих круг,
что единица измеренья
у нас не краска
и не звук.

Ведь всё — от ямба до аруза —
там служит истине одной,
где председательствует муза,
пришедшая с передовой.

⟨1962⟩

261

Уйгуну

Наш самолет 17-32
спешил в Ташкент на Ваши именины,
чтоб Вам привета передать слова
с не раз воспетой Вами Украины.

Москва,
        Уральск,
                Актюбинск,
                        Джусалы —
все остановки,
                где мы отдыхали,
места,
        которые нам всем милы,
Вам братский свой привет передавали.

Позвольте Вас заверить, дорогой, —
среди путей воздушных и течений
не потерял я розы ни одной
из общего венка их поздравлений.

А если самолет — проворный *ИЛ* —
на повороте чересчур уж смелом
одну из роз случайно обронил, —
она сама
        по воздуху летела.

Все розы собрались вот в этот зал,
и, юбиляр,
        Вы чувствуете сами:

всё то,
что я стихом недосказал,
зал говорит
глазами и сердцами.

1956

262. В ГАЗЕТНОМ КОМБИНАТЕ

Пройдемся шагом скорым
по комнатам большим,
по длинным коридорам
и в юность побежим!

Прикажем мыслям:
«Правьте
полет свой в даль годов».
Нас в «Комсомольской правде»
печатает Костров.

И реплики,
и шутки,
и спор,
как пир горой...
Меж нами юный Уткин,
Багрицкий молодой —
романтики сторонник,
седая голова...
Обсела подоконник
безусая братва.

Внизу Черкасский Малый,
Никольская у ног.
Мы все провинциалы,
но дайте песням срок.

И песни эти надо
недолго ожидать, —
светловская «Гренада»,
дементьевская «Мать»!

Такое нынче время,
так молодо оно,
что никакое бремя
давить нас не должно.

Что ж, старики,
                    ну что ж вы, —
а ну,
    а ну,
        а ну —
веселою подошвой
нарушим тишину.

Докажем молодежи,
старинные друзья,
что стих у нас надежен,
что без него
                нельзя,
что нужен он,
                как воздух,
как хлеб
        и как вода,
что думами
                он в звездах,
хоть на земле
                всегда.

1960

263. РАБОТАЯ НАД РОМАНОМ

Разве сердце свое не отдашь ей —
нашей ранней ирпенской весне?
В соснах берег написан гуашью.
Спит весна
и смеется во сне.

Прелый лист переполнил овраги,
и упорнее день ото дня

совмещается с запахом влаги
угля запах
и запах кремня.

Всё торфа,
всё куски свежих пашен,
всё за трактором тающий дым.
Всё платок развевается Машин
над двадцатым столетьем моим.

1962

264. «ЯБЛОЧКО»

В волны Черноморский флот
погружается.
На молу стоит народ —
не насмотрится на флот,
с ним прощается.

Революция идет,
развивается.

Бьет прожектор по волнам,
где не велено.
Вся Россия пополам
переделена.

Бархатом и хрусталем играет
оперный театр,
                              и счетовод
милую подругу увлекает,
по ступенькам мраморным ведет.

Гаснут переходы-коридоры.
Угасают в куполе огни.
Белые манжеты дирижера
остаются в сумраке одни.

Повисают белые манжеты.
Занавес пошел,
                              идет,
                                        идет.

В бескозырках мастера балета.
Восемнадцатый бушует год.

Черный фрак,
                    крахмальная манишка,
над оркестром
                    дирижер,
                              как стриж.
Кажется тебе,
                    что ты мальчишка
и по креслу
                    «Яблочко» стучишь.

Бьет прожектор по волнам,
море зелено.
Вся планета пополам
переделена.

1957

265. ЧЕХИ МОИ ДОРОГИЕ

Помню товарищей старших...
Где вас покрыла земля,
Поспишиль и Коваржик —
чехи-учителя,
преподаватель гимнастики
и педагог-латинист?

Не разбирался я в классике,
прыгать я был не артист.

Но за стихи берусь я,
значит, освоить смог
и параллельные брусья,
и трехметровый прыжок.

Если строкой прорваться
в жизнь случается мне, —
и Цицерон, и Гораций,
значит, в моей глубине.

Время когда сверяю
не по страницам книг,
Зедника припоминаю —
дельный был чех-часовщик,
чистил часы отменно,
вставивши лупу в глаз.

Есть на кладби́ще военном
памятник чехам у нас.

Белая Церковь и Киев.
Год — сорок третий год.
Чехи мои дорогие,
память о вас не умрет.

Если из книжного праха
рвется живая строка, —
значит, в строке этой Прага,
значит, с ней рядом Москва.

Не для того чтоб растрогать,
я это вам говорю, —
общая наша дорога
в общую льется зарю.

1959

266. МОНГОЛЬСКОМУ ДРУГУ, ПОДАРИВШЕМУ МНЕ ЛУК И СТРЕЛЫ

Памяти поэта Д. Сэнгээ

Не комплимент от друга, —
нравится мне ваш лук:
и тетива упруга,
и не тяжел для рук.
Сам он в змеиной коже,
с орлим пером стрела, —
что́ для стрелка дороже
дружбы змеи и орла?

С конской головкой скрипка
нравится мне, наш друг, —
в вашей мелодии гибкой
дальних копыт перестук.
В ней лошадиная жилка
бьется, поет и зовет.
В вашей мелодии пылкой
бег, устремленный вперед.

Нравится и другое:
кедр, и сосна, и звук
белки, летящей в хвое,
которая вокруг.
Ах, голубая шубка,
что это с тобой?
В стихотворении хрупком —
крепкий винтовки бой.

Знаю, полюбит всякий
ваш каменистый луг,
тот, где гуляют яки,
где уже ходит плуг.
Уголь за склоном голым —
черное солнце недр.
Греет сердца монголам
черное солнце недр.

Вышли борцы на арену,
встреч совершают круг.
Благословляю смену
многообразных наук.
Близится миг одоленья,
смелость венчает борьбу, —
как хорошо на колени
ставить свою судьбу!

1959

267. СЕЙЧАС В МОНГОЛИИ

Если здесь еще вы не бывали,
побывайте —
время в самый раз.
Конским черепом на перевале
каменные степи встретят вас.

Мимо вас
степная куропатка
пробежит
в монастыре пустом.
Но видна строителей палатка
за кривым
березовым кустом.

Здесь ущелье —
будто мышеловка,
западня —
под хитрым льдом поток,
но водитель провезет вас ловко
даже там,
где вовсе нет дорог.

Он расскажет вам о Халхин-Голе,
он движеньем молодой руки
сеялки покажет в диком поле,
на ребре горы — грузовики.

Вот пора монголу дорогая,
вот монгольские его дела.
...Колокольчик,
камни раздвигая,
жмется к почве
в поисках тепла.

Ах, какой смешной!
Какой косматый!
Он на яка здешнего похож...

Может, служат мерою караты
здесь всему,
что ты, земля, даешь?

1958

268. СНЕГ ИДЕТ

Снег идет от Иркутска до Гоби,
снег монгольскую степь шевелит,
и торопится снег,
                    и торопит,
и на месте стоять не велит.

Бортовые огни самолета
в снеговые ушли облака.
Ну, а лошадь стоит отчего-то,
упирается мордой
в снега.
За кедровником
в мертвой долине
отскакавших свой срок лошадей
ястребами расчерчен в сто линий
снег вкруг лошади,
сумрак над ней.

А она и смеется и плачет,
по глазам лошадиным видать —
ей мерещатся праздники скачек,
всё ее не догнать,
                    не догнать,
всё ей резвая молодость снится,
отдаленные годы видны...

*

Снег идет от советской границы
до Великой китайской стены.

1957

269. ВЕСНЕ

В лицо поглядишь — ты Людмила, —
ты людям повсюду мила.
В лице твоем нежная сила
прохладных цветов
и тепла.

По платью судить — ты Надежда.
Таких даже тканей не ткут, —
твоя молодая одежда —
травы и листвы изумруд.

Походку увидишь — ты Власта, —
входи же в любое жилье
и властвуй,
весна моя,
властвуй, —
ведь каждое имя — твое.

1962

270. ВЕСНА МИРА

В чайхане
под картою Китая
спит старик,
за ним Ташкент в окне.
Музыка,
с дождинками влетая,
говорит
о северной весне.

Всё заметил композитор,
споря
за весну,
которой близок век, —
и студеное теплеет море,
и в ущельях оседает снег.

Плещет дождь
над чайханой негромко.
А я слышу Волгу,
треснул лед,
ярославская моя соломка
на седом омшанике поет.

Ка́пель колокольчик услыхали,
вьются
через горы и моря,

тихо опускаются в Сахаре
розовые хлопья миндаля.
Помню март,
ружейный залп в Париже.
На кладби́ще снова тишина:
опускает голову всё ниже,
подымает голову
весна.

Перемены,
катастрофы,
сдвиги,
шорох перевернутых страниц...
Между строчек
в каждой доброй книге
беспокойство
перелетных птиц.

Зов весны меня измучил
с детства,
звон весны —
неповторимый звон,
светлый звон
достался мне в наследство
от народов всех,
от всех времен,
от великих государств
и малых...

Зимний день,
а небо всё милей:
дождь прошел —
на зданьях и дувалах,
на арыках
тени тополей.

Тоненькие,
не бывает тоньше, —
тени,
тени с правой стороны.

Горлинка Узбекистана,
тронь же
арфу мира
крыльями весны.

Синюю симфонию рожденья
продолжайте,
искры и лучи!

Милый полдень,
без предупрежденья
микрофоны всех широт включи.

Южный дождик,
теплый дождь зимою!
Дождь прошел —
и день вдвойне хорош.

...В чайхане скамья,
и под скамьею
пары,
пары
строятся галош.

1957

ТЕОДОЛИТ

271. АПРЕЛЬ 1870 ГОДА

Еще Седан,
еще Цусима
и Ленский впереди расстрел...
Народов скорбь невыразима,
и есть ли горести предел?

Дни бесконечны,
ночи длинны, —
дням и ночам потерян счет.
Над Волгой
городок старинный,
седую Волгу
снег сечет.

Но льдина в Каспий уплывает,
а первый благодатный дождь
весне ворота открывает
и солнца требует для рощ.

И горизонты потеплели,
и новый век
встает вдали,
и у великой колыбели
народы собрались Земли.

1964

I. РУСЬ КЕРОСИННАЯ

272. ЦУСИМА

(1905)

Шесть десятилетий снится мне
тот же сон —
родное наше горе:
миноносец
на крутой волне,
беглые лучи
в высоком море.

Будто страшный счет они ведут,
умножают мук безвестных список...

С ленточками черными плывут
белые веночки
бескозырок.

1965

273. СТАНЦИЯ «ЛЕВ ТОЛСТОЙ»

(1910)

Рано просыпается деревня.
Свет лучины у печей дрожит.
Побуждаемый тоскою древней,
русский гений
йз дому бежит.

А за ним,
а на него облава:
быт с его укладом вековым,
философия,
мораль
и право
в темном поле
гонятся за ним.

Полицейские,
архиереи,
журналисты,
дамы,
господа —
все за ним...

Хотя уже утреет, —
при свечах
проходят поезда.

При свечах
лесистые равнины
с тихими полутонами их,
будто бы туманные картины,
не дают
советов
никаких.

В полосе неясной отчужденья
мелкий дождик —
за слезой слеза.
Надвигается из отдаленья
будто поезд,
а верней — гроза.

1966

274. РУСЬ КЕРОСИННАЯ

(1916)

Дальняя,
                близкая
передо мной —
облачность низкая,
дождь-сеногной.

Ржавые панцири
мокрых осин.
Тусклые станции,
свет — керосин.

Кочки
        да ямочки,
в ямках — вода.
Смотрит гусарочка
на поезда.

Где же вы, ментики,
сабли в галоп!
Сели студентики
в мокрый окоп.

Попили,
        пропили,
форма не та...

Баками Нобеля
Русь занята.

1965

II. И НОВЫЙ ДЕНЬ, И ВЕК ИНОЙ

275. ЗИМНИЙ

Всё дрова,
        дрова рядами.
Мокрый от дождя торец.
За дровами,
        за дождями,
как серебряный,
        дворец.

Ну и клетка золотая —
прошлого последний день!
Ну и лестница крутая —
за ступенями ступень!

А по мраморной крутой
всё солдаты,
        всё матросы...

А по клетке золотой
ходит гул многоголосый...

А по темной
по волне —
белопенной,
белогривой, —
по широкой
по Неве —
катерок вольнолюбивый.

Над волною возникает,
исчезает за волной.
Вышел в море,
одевает
алым флагом
шар земной.

1966

276. КРЕМЛЬ

Вдруг вспыхнет полночь куполами,
кольчугой полыхнет икон, —
красногвардейскими кострами
Кремль озарен,
Кремль изменен.

Огни и тени пролетают,
а башни,
въезды
и мосты
от тех костров приобретают
иные грани
и черты.

Как бы могучее движенье
в туманах различает глаз,
как бы идет перемещенье
огромных глыб,
тяжелых масс.

Куранты всполохом охватит,
и две стрелы,
вдруг став одной,
начнут на жарком циферблате
и новый день,
и век иной.

1966

277. ОДА ТЕОДОЛИТУ

Дюралюминий и бетон,
я вас любил не только в детстве,
вы намечали верный тон
первопримет —
причин и следствий.
Какие виделись сады,
какие мостовые фермы,
какие крылья с высоты
восторг свой
предлагали первый!

Как продвигался сквозь туман,
вдали от триумфальных арок,
первоначальный караван
лошадок сельских
и грабарок!
А Днепр во все колокола
звонил и звал на новый берег,
и рифма вдоль куги плыла —
конечно, *деррик*. . .
вижу деррик.

Какие деррики кругом,
какой в алмазах Аэлиты
электроуправленья дом,
как гонят ночь
теодолиты!
Огни, огни дорожных лент —
мильон брильянтовых горошин.

А угломерный инструмент
с Земли
на звезды переброшен.

1965

278. КОМСОМОЛЬСК

Давайте, товарищи, полный!
Тайга на крутом берегу
в угрюмые
смотрится
волны,
гармоники
входят
в тайгу.

Вы, бурые,
рыжие сопки,
за хвоей пахучий дымок...
Ну что ж ты,
приятель неробкий,
родимый припомнил домок?

Какие твои предложенья
и в чем опасенья твои?
— Ты сделай, дружок, одолженье, —
таежный массив,
не реви!

Гармоники вальсы играют,
и ветер завыл
и затих.
Идут комсомольцы,
шагают
в некрепких
ботинках
своих.

Как небо высоко-далеко!
Какой частоты бурелом!
Прикрыл тихий ангел Востока
тайгу лебединым крылом...

...По скверам,
скамейки сдвигая,
стучит
        и стучит домино:
сидят старики,
                вспоминая
всё то,
        что им мило давно.

1965

279. ТЕПЛЫЕ ЛЕСА

Ах вы, теплые леса
над речными руслами!
Ты мне пой,
            моя краса,
да не только гуслями.

Над бездонным бочажком
наклоняйся солнышком,
лапушкой
            да лопушком —
травушкой Аленушкой.

Ну, а слезкою не тай
и вокруг да около
ягодку не подбирай —
бей по цели
            соколом!

На зеленом сядь лугу —
о былом рассказывай.
Стань на красном берегу —
путь сердцам показывай!

Сколько вас — красивых всех, —
тут река
и там река.
Тысяча окошек —
цех,
десять тысяч —
фабрика.

Вот он —
пламенный Урал,
воздух электрический.
Я тебя не выбирал,
мой кристалл магический!

Край мой стрельчатый, лесной,
горный край немереный,
все мы избраны тобой,
каждый —
твой доверенный.

Ах, на камушках леса —
стрел и стрелок ярусы.
Ах ты, гордая краса,
будь мне полным парусом.

1964

III. ИСКУССТВО ПОЭЗИИ

280

Да кто,
да что,
да как там...
Путь слова труден,
долог.
Согласно многим фактам,
поэзия — геолог.

Стучит,
стучит единственным
на свете молоточком.
А твой кристалл таинственный —
всё нет его,
и точка.
За ним —
за полногранным —
вдоль тропок лазай горных.
Согласно новым данным,
поэзия — географ.
Без пробкового пояса
плывет по океанам.
Достигнуты все полюсы,
и все открыты страны.
Одна есть тем не менее
не далеко,
не близко...
И существует мнение:
поэзия — радистка.

Внимание,
внимание:
радирует сквозь годы
страна очарования
за далью непогоды.

1965

281

Я помню чудное мгновенье...

Пушкин

Необходимо помогать публике, бросая ей банальные фразы.

Жюль Ренар

Товарищи,
позвольте мне
среди всего,
что знаменито,

найти свободные от быта
слова
о струнах при луне.

Ах эти струны,
эти страны
в разрывах неба под луной!
Ах этот разговор туманный
с бесплотностью
и тишиной!

Ах эти призраки
и тени,
воспоминания
и сны —
как фотографии растений
сквозь недоступность глубины!

За многократной кисеей
они звучали — не звучали,
как будто
обещали всё
и ничего не обещали.

Случалось им —
и в гладкий стих
они ложились идеально,
и было от стихов пустых
успокоительно-печально.

Случалось —
эта пустота
и мне
оказывала милость...
Ведь беззащитна
красота
и обходительна
красивость.

1965

282

Среди снегов еще не пел ручей,
а все-таки оттаяла платформа.
На станции
увидел я грачей.
День засветлел,
и стала даль просторна.

Зима еще из всех старалась сил,
но потеплело после ночи вьюжной,
и ветерок с грачами говорил
на языке прелестном,
нежном,
южном.

Встречая первого тепла струи,
грачи
переговаривались с ветром —
и не саврасовские,
а мои, —
и смысл искусства,
несомненно,
в этом.

1966

283

Памяти М. А. Светлова

Поэтическое озаренье —
вовсе не оптический обман.
Путешествует стихотворенья
маленькая речка —
в океан.

От души к душе
строки дорога, —

ты дыши,
душа,
и не тужи.

Строк в стихотворении немного —
ровно столько
нужно для души.

1965

IV. ЦВЕТА ЛИРИКИ

284. НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Душа летит от света к свету
в пространствах дальней высоты,
где продолжают эстафету
ракеты наши
и мечты.

И потеплел кристалл холодный,
и правит на звезду орел,
и от надежды благородной
цветка
на камне ореол.

И за дорогою дорога,
за перевалом перевал.

Да здравствует души тревога
и тот,
кто с ней не порывал!

1966

285. ЭЛЕГИЯ

(Деревья ночью)

Когда домов многоэтажных
ночные окна догорят,
тогда среди прохлады влажной
растенья вдруг заговорят.
Как много звуков шелестящих
в их полугласном языке.
Сердца влюбленных бьются чаще.
Глаза — в глаза.
Рука — в руке.
Вокруг деревья тихо бродят,
покачивают головой,
на цыпочках они отходят
от той скамейки голубой.
И вновь идут по темным травам,
стоят над бледным табаком.
Свою трубу
в окошке правом
домашний ладит астроном.
Как бы советуется с небом,
а небо спит, как голубок.
Под крышами
в окошке левом
исчиркан спичек коробок.
Вдовец, ночного полон страха,
ворочается в темноте.
Что ж крылья не сложил — неряха —
на невысокой высоте?
Что ж, будто лебедь, белой грудью
в задумчивый не рухнул сад?
Когда молчат дома и люди,
тогда деревья говорят:
— Поберегись минуты ложной,
но, если взмыть не сможешь ввысь,
на наши ветви обопрись,
тебя опустим осторожно.

1965

286. ЭПИТАФИЯ

(Изобретатель ножниц)

Здесь я лежу —
оригинал-затейник.
Я миром позабыт,
но в каждом доме
благословляют каждый день меня.

Я два ножа скрестил, подобно шпагам,
и аккуратно их скрепил винтом.

Придите,
благодарные портные,
редакторы вечерок,
мастерицы,
стригущие овец и милых женщин,
придите,
дети с вырезной картинкой,
и пять минут постойте у могилы, —
в ней я лежу —
ваш неизвестный друг.

1940

287. ЭПИГРАММА

(Похвала краткости)

Не верю затяжному красноречью...
Я наблюдал собранье малых птиц:
всё деревце секунду совещалось,
советовалось,
говорило,
пело
и вдруг взмахнуло крылышками всеми
и разлетелось по своим делам.

1966

V. ВОЕННЫЙ ЦИКЛ

288. ВСТУПАЕТ В ЛЕТО СОРОК ПЕРВЫЙ ГОД

(Роман в стихах)

1

Всё к круговой готово обороне:
и склон горы,
и корни в горном склоне,
и щебень острый,
и дубняк тупой,
и то,
что называется травой.
— Поберегись! —
Сухих растений пилы
свои оберегают Фермопилы.
Норд-ост над степью,
будто бумеранг,
свистит:
«Мой укрепляйте правый фланг»,
и тощий злак,
как проволочный,
колок,
а семена
мильонами иголок
в прохожих прыщут.
Даже малый плод
шипы и зубья
выставил вперед,
и в воздухе стручок —
как бы разведчик...
Прошу тебя, внимательный кузнечик,
моих героев в горы пропусти.

2

Мы счастье собираемся найти
в международном за окном хрустальным,
и в золоченом зале театральном,

и перед бальным зеркалом цветным,
а счастье
(миг его неповторим)
в теплушке встретим,
на тропинке горной,
поймем,
что это счастье неповторно,
а то и не признаем второпях...

Мои герои встретились в горах.

3

А горы здесь —
как надолбов заторы.
Сторожевое охраненье Флоры
не пропускает.
Он кусты развел
и руки исцарапал,
исколол.
Ему,
признаться,
было даже больно.
Воображенья для любви довольно,
и всё же есть на свете голоса,
как в праздник
голуби
и небеса:
— Я очень вам признательна.
— Ну что вы? —
И удалить занозу вы готовы,
и упорхнуть готовы между скал.

Он целый день вас попусту искал
меж кратеров,
каньонов,
плоскогорий;
спустился к морю —
не нашел у моря,
в степь поспешил —
там не бывали вы.

4

Среди многообразной синевы
движок электростанции хлопочет,
пыхтит себе.
Ложится сумрак ночи
на рытвины поверхности земной.
Темнеет полуостров вырезной,
но в бухтах,
засекреченных холмами,
таинственное
загорелось пламя,
но, яркий,
как влюбленный светлячок,
густое море
тронул маячок...
И всё погасло...
Вопль сирен.
Тревога.
— Гасите свет!
— Гасите, ради бога!
— Нас оштрафуют.
— И курить нельзя?

Лишь тени, вдоль по берегу скользя,
над пенною
перемещались кромкой.
Мне кажется,
позвали вы негромко,
его увидев смутный силуэт.
Но были это вы?
Быть может, нет.

5

То были вы.
Он видел вас в вагоне.
К окошку приложили вы ладони
и звали,
звали: есть ведь голоса —
как за далекой далью
паруса.

Но граждане с вещами побежали
ему навстречу.
Стрелочник, сигналя,
пустил меж вами новый эшелон.
До бесконечности тянулся он.
В любой брезентами укрытой груде
танкетки намечались
и орудия.

И в это время
ваш ушел состав.

6

Пути и стрелки
паром забросав,
вбегают,
убегают
паровозы.
Ну что за проза —
хуже всякой позы!
Какой тут адресный укажет стол
ваш Мелитополь,
Курск
или Орел?
Как вас зовут,
и это неизвестно...
Рассказывать,
быть может,
неуместно
такой сентиментальный анекдот,
когда от северных до южных вод,
как факелы,
пылают государства,
когда,
тропою двигаясь коварства,
вступает в лето
сорок первый год.

1940, 1944, 1966

289. ЕЩЕ ЛЕЖАТ МОСТЫ В ДНЕПРЕ...

Еще лежат мосты в Днепре,
еще покрыт золою Киев,
еще коробки нежилые
чернеют на его горе.

Дождинка,
                    и уже снежинка
сквозь сучья падает с высот.
Еще Крещатик — как тропинка,
но армия ушла вперед.
Еще война,
                    еще тревога,
но шире,
                шире —
                            широка
краснознаменная дорога,
ведет в открытые века.

1963

290. ЮГО-ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Ирпень,
            Олевск,
                        Ракитно,
                                    Сарны —
привычные пути войны.
Сосновый бор,
                        как цех слесарный,
железной полон старины.
За камышом вода хлопочет.
В торфах сама себя струит.
О восемнадцатом лопочет,
о сорок первом говорит.
Над старым дотом
                                старый нелинь —
дуб, и раскидист и ветвист,
роняет
            в молодую зелень

воспоминаний
старый лист.
При соснах лестницы остались,
а в хвое спрятанный настил
о том, как танки надвигались,
Правобережье известил.
И не опушки здесь,
не реки,
а рубежи —
им нет конца.
Так в леснике
и в дровосеке
былого узнаешь бойца.
Так на линялой гимнастерке,
оставшейся с военных лет,
увидит и не слишком зоркий
нашивки — давней раны след.

1965

291. ПОЛЕТ ВАЛЬКИРИЙ

Я на последней каменной границе,
пространствам всем,
всем временам на страх
лежу в горах,
и женщина мне снится —
на шлеме крылья,
тяжкий меч в руках.
Там за проливом,
под мотив бравурный,
где в полночи
развалин силуэт,
с такой красоткою
пройтись недурно
при вспышках
осветительных ракет.
За океаном,
чтобы все видали,
недурно с ней пройтись,
да вот беда:

мой танк
на Мамисонском перевале
со мною вместе
спекся навсегда.
И я лежу,
безрукий и безглавый,
и снится мне,
кричат: «Скорей!
Скорей!»
Я на столе...
Пинцеты слева, справа
железо отделяют от костей.

Я сладкие переживаю муки, —
боль и восторг
я чувствую во сне, —
мне атомные
подключили руки,
урановую бомбу
дали мне.
И я встаю,
иду я по Европе,
по Африке
и Азии иду.
А ветер подгоняет,
снег торопит,
и, кажется,
опять я упаду.

1966

VI. БОЛЬШОЙ ВАЛЬС

292. СТИХИ С РЕДИФОМ

Вот вы и встретились под ивой
после войны.
Под ивой тихой, терпеливой
после войны.

Друг друга вы узнали сразу
после войны.
К чему слова,
к чему все фразы
после войны?

Рукопожатья молчаливы
после войны.
Ах, эти ивы,
ивы,
ивы
после войны.

1965

293. ДОЖДИК

По лесам
разносит эхо
поездов далекий крик.
Молодой водитель ехал,
гнал порожний грузовик.

Он соседку молодую
на вечерний отвозил.
Возвращался
в ус не дуя,
но полпачки раскурил.

— Ты, вагон жестокий жесткий,
ты зачем ее увез? —
С красным пеплом папироска
полетела
вдоль колес.

Мокрые лесные дачи,
мокрый лист на колесе. . .
Всё не гаснет след горячий
в среднерусской полосе.

27 января 1955

294. УЗЕЛОК

По реке контейнеры
на север плывут.
У воздушных лайнеров
южный маршрут.

Та
  спешит на Диксон,
а тот —
        в Караганду:
так уж написано
у них на роду.

Такая уж смолоду
у них судьба:
тот
  спешит в Вологду,
та —
    в Ашхабад.

Один конец ниточки
у нее в руках.
Другой конец ниточки
у него в руках.

Не рвись,
        не рвись,
                ниточка,
посреди дорог.
Подожди минуточку,
малый узелок!

1962, 25 апреля 1963

VII. ГОРОДУ ПЯТЬ ЛЕТ

295

Как быстро
                    растут города!
Как медленно
пишутся книги!
Строительства входит гряда
в простор азиатский великий.

Под музыку и голоса
глядят
в зеравшанские ночи
квартир
золотые глаза,
цехов
бирюзовые очи.
Всю жизнь
эту книгу пишу,
ей нет ни конца, ни начала.
Всю жизнь
этой книгой дышу,
чтоб мною дышать не кончала.

Под лампой святого труда
степные меняются лики.

Как быстро
                    растут города!
Как медленно
пишутся книги!

1965

296

Я не философ...
Боже мой,
я алгебру не помню,
но мир, на образ множимый,
всё шире,
всё огромней.
А вертолет снижается —
такой стрекозовидный,
а дети обижаются:
из-за цветов
не видно.

Над маковой коробочкой
дыхание левкоя,
как маленькое облачко...
Но что это такое?
В полупустыне здания,
деревья — вот так штука!
Поэзия, ты знание,
но в чем твоя наука?

1965

297

Такси зеленый огонек
на площади неторопливой,
тебе, пожалуй, невдомек,
как ждут тебя нетерпеливо.
Как изумрудный свет манит,
сверкнул фонарик
в отдаленье,
а это лишь метеорит,
и город замер без движенья.
А это искорка в окне —
горячий пепел сигаретки...
Порою не хватает мне
сочувственной автокаретки.
Но в чудесах отказа нет,

но огонек зеленый светит, —
и снова хорошо на свете...

А городу
всего пять лет.

1963

298. ГОРОД ПРОСНУЛСЯ

Он поднял голову с подушки,
вскочил —
приветствует рассвет,
попил чайку
и за игрушки,
которым,
как ему,
пять лет.

Посыпав гравием дорожки,
он в ателье играет мод,
он кормит грейдеры с ладошки,
корм автокранам задает.

Они
как голуби в аллейке, —
на корточках меж голубей
венецианские их шейки
он гладит лапочкой своей.
Сегодня
день его рожденья.
Как дышится ему легко!

Он грозных гор нагроможденья
отодвигает далеко.

1965

299. ГОРОД СПИТ

А городу всего пять лет...
Смотрите,
вот он —
как картинка,
пусть каракурт
или пендинка
не омрачат его побед.

Пусть ни туманы,
ни обманы
ему беды не причинят,
пусть никакие чингисханы
над ним ядра не расщепят!

И пусть песок не похоронит,
и пусть широкая Дарья
волною бешеной не тронет
в долине спящее дитя!

Наш малышок пусть дремлет сладко,
росточек превращая в рост!
В оазисе,
как бы в кроватке,
пусть спит
под одеяльцем звезд!

Но только луч неугомонный
коснется детского лица,
звоночек ранний телефонный —
пусть будит
деда и отца!

Пусть знает счастье
мальчик этот
в любую из его минут!
Пусть Киев,
Самарканд
и Мцхета
его
в столетия
ведут!

1965

VIII. ВСЕ ВПЕЧАТЛЕНЬЯ

300. ВЕСНА ЭТОГО ГОДА

Всё, что прошло,
всё то, что было,
почуяв новое тепло,
передо мной заговорило
и контуры приобрело.

Воробушком на эстакаде
пригрелось,
и его ловлю,
как в ученической тетради
первооткрытое *люблю*.

Опять полнее мирозданье,
опять за вами я слежу,
свидетельские показанья
первооткрытого *гляжу*.

Опять отчетлива дорога
и выразительна опять,
и можно всё
руками трогать
и к сердцу
тесно прижимать.

И все дела,
все впечатленья
встают за пеленой времен.
Так в поезде на закругленье
далекий видится вагон.

1963

301. ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Ладная
            да ловкая,
быстрая
            да броская,
обращает музыка
на себя вниманье.
Ходит век с винтовкою,
ходит век с авоською,
ходит век с транзистором —
с музыкой в кармане...

На одно мгновение
вам подарит пение
или сообщение
про всякие дела.
Музыка за пазухой
нотою
        и фразою
промелькнет —
                        доказывай,
была
      иль не была...

1965

302. УЖЕ КОНЧАЕТСЯ ИЮНЬ

Уже кончается июнь —
застенчивая радость лета...

Прозрачность где —
где эта юнь?

Крылом невидимым задето,
пышнеет
и темнеет лето.
На одуванчик только дунь —
и улетит быстрее света
воспоминаний эстафета...

Еще недавно был июнь —
и вот уж осени примета:
всё ярче,
всё рельефней
лето.

1965

303. ВКЛЮЧАЮ РАДИО

Есть что-то теплое в заре,
которая сквозь дождь светлеет.
О чем вечерняя жалеет
береза в частом серебре?

И всё торжественно,
хоть смутно,
и завладела тишина
блистанием одноминутной
зари
и отблеском окна.

И в окнах — тени,
тени только...
Включаю радио.
Вот-вот
согреется
и запоет
о тихом вечере
тихонько.

1963

304. ОСЕНЬ

И тучи,
и пасмурно снова,
и ливни шумят и секут.
Спасибо за теплое слово,
за несколько ясных секунд.

За то,
что на миг улыбнулась
вся в солнце акация мне,
что ветками вдруг потянулась
к открывшейся голубизне.

Спасибо за аистов стаю
в мгновенном луче между туч.
Спасибо за всё,
что я знаю,
за всё,
что поведал мне луч.

За всё,
что лишь миг продолжалось,
но мысль увлекло на года.
За всё,
что навеки осталось,
хотя и ушло навсегда.

1966

305. ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ

(22 декабря)

Самый мутный вечер наступает,
самая глухая ночь идет.
Дерево в тумане засыпает,
рыба дремлет,
спать и мне черед.

Подожди,
ты видишь:
в черной печке
красный уголь
увлекает взгляд.
Пусть огня живые человечки
о весне
со мной договорят.

1966

IX. ВСЕ НАДЕЖДЫ

306. БЕАТРИЧЕ

Вот она — в тумане перед нами
на реке ночного неба тень.
Звезды,
звезды,
звезды
над торфами,
огоньки
на станции Ирпень.

Станционного глухого зданья
слабо освещенный силуэт.
В одиноком
зале ожиданья
только в кассе
одинокий свет.

Но всё ждешь,
всё ждешь какой-то вести,
всё какого-то решенья ждешь,
будто ты
по лесенке созвездий
подбежишь
и за руку возьмешь.

В тихом зальце
расставаться жалко
молодым —
подружке
и дружку.
Спит старик,
склонившийся на палку.
Сны какие
снятся старику?

1965

307. АВТОБУС 71

(Киев)

Вдоволь надышаться бы
временем свежим!

После девятнадцати
автобусы реже,
глубже улиц омуты,
сумерки гуще...
Озарятся комнаты
никелем бегущим.

Нижеобозначенной
трассой едет автор:
Рыбачий полуостров —
площадь Космонавтов.
Взявшие бумажные
важные билеты,
едут,
        едут граждане
на свои планеты.

Горою — долиной,
атласною лентой
из древней былины —
в новую легенду.

Едут,
        едут улочки,
едут,
        едут скверы,
едут переулочки
в звездные сферы.

1965

308. НАД СНЕГАМИ

Над снегами света всплески, —
будто яркие снега
озаряют перелески,
темной поймы берега,
будто звезд небесных взоры
отражаются в снегу,
будто снежные просторы
сыплют
искры на бегу,
будто мы бежим на лыжах
вдоль сверкающих сторон,
будто ближе,
                    ближе,
                              ближе,
будто рядом
                   Орион.

1966

309. ЯНВАРЬ

Опять о зиме и о снеге,
но воздух январский густой
предчувствием кажется неги,
какая бывает
весной.

И замерла каждая ветка,
и дали,
как в марте,
нежны,
и город наш —
будто разведка
далекой
и всё же
весны.

1961

310. ФЕВРАЛЬ

А все-таки весна уже,
за сизой мглой
весна,
и на последнем этаже,
и под землей
весна...

Зерно еще лежит в земле,
и греется зерно,
но малой искорке в золе
стать пламенем дано.

Мы на высотном рубеже,
нам даль времен видна...

Так все-таки весна уже,
так все-таки
весна...

1965

311. РАДИ МАЙСКИХ ВЕЧЕРОВ

Ради майских вечеров,
ради поздних электричек
от сложившихся привычек
отказаться я готов.

Так бы и бродил всегда
вдоль темно-зеленых улиц,
вдоль густых садов,
куда
травы и цветы вернулись.

Виадуки и мосты,
цвет оранжевый и синий
рельсовых пустынных линий
за безмолвием листвы.

Прелесть светлых фонарей
на темнеющих перронах,
а в пустеющих вагонах
лица ближе и милей.

Я люблю эту езду:
едут девочка и мальчик,
поезд катится,
как мячик,
на соседнюю звезду.

1965

Я РИФМЫ НЕ БОЮСЬ ГЛАГОЛЬНОЙ

БАЛЛАДЫ С ИНТЕРМЕДИЯМИ

1

312. ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

Солдаты,
солдаты,
солдаты
гуляют
в саду
городском.
А разве
гуляли
когда-то
солдаты
в саду
городском?
Да где ж,
земляки,
дисциплина,
к отечеству,
к церкви
любовь?
Окопная
рыжая
глина

у них
на шинелях
и кровь.

Гражданка
с солдатом
под ручку
гуляет
у всех
на виду.
И вовсе
не тонкая
штучка —
та Катя
с солдатом
в саду.
— Катюша,
цветочек
копорский,
который
мне дорог
и мил,
сегодня
семяночек
горстка,
а завтра,
а завтра
весь мир.

А завтра
в тумане
безлунном
пустой
губернаторский
дом.
За темным
фонтаном
чугунным
стреляют
в саду
городском.

И дышат
солдаты
свободней
на горке,
где сад
городской,
не завтра —
сегодня,
сегодня
последний
решительный
бой.

1967

313. Я РИФМЫ НЕ БОЮСЬ ГЛАГОЛЬНОЙ

Я рифмы не боюсь глагольной —
пусть вольной ласточкой летит,
но пусть за ласточкою дольней
травинки
дождик шевелит.

Не символические розы
и не орнаментальный стих,
а эти капли,
эти росы
и отраженья сердца в них.

В них —
всех предметов очертанья,
изображенья всех примет,
которым найдено названье,
которым и названья нет.

В них — всё,
что горько,
всё, что сладко,
всё, что манит
и что зовет,

что, поместившись без остатка,
в том малом зеркальце живет.

Не кратковременная мода
и не проблемный фельетон,
весь мир —
все люди,
вся природа,
вся суть пространств,
весь смысл времен,
и это небо дождевое,
и это солнце за дождем,
и этих
непременных двое,
накрывшихся одним плащом.

1967

2

314. НА ЗАВОДЕ «АРСЕНАЛЕ»

На заводе «Арсенале»
цех — старинный каземат.
За массивной башней стали
и рабочий
и солдат.

Молодой Печерск стреляет —
миру старому грозит.
Несмотря на дождь,
пылает
красной ночи антрацит.

Рдеет в спаленке лилейной,
келью тронул
там и тут.
А к винтовке трехлинейной
большевистский штык примкнут.

Ах вы, киевские ночи:
приумолкнет
                и опять,
и всё ближе
                бой грохочет,
не дает
        банкиру спать.

Тот банкир
всё курит,
курит;
бросит, —
снова задымит,

госпитальной крытой фуре
в недра темные
глядит.

1965

815. Я НЕ МЫСЛИТЕЛЬ

Я не мыслитель,
не стратег,
не чемпион
арен и кортов, —
я с малой буквы человек,
я из застенчивых,
но гордых.
И не божественный глагол,
а притяжение земное,
но луч сверкнул —
                        и сад расцвел,
хотя ноябрь грозит зимою.

В своем подвале овощном
стучу на счетах равнодушных,
но всё вокруг,
                    но всё кругом
внимает музыке воздушной,

И на вселенную гляжу
зеницами,
а не глазами.
И в Синий космос
выхожу
под Голубыми
парусами.

1968

3

316. «НА ТРОЙКЕ»

Т. Н.

Снежной пылью осыпая,
сводит голубей с ума
розовая,
голубая,
разноцветная зима.

Так воздушны,
так красивы,
в электрической дали
заднепровские массивы
в окнах золото зажгли.

А на хуторе Отрадном
зорька-заинька на льду,
то мелькнет зверьком нарядным
в Ботаническом саду.

Вот как скачут с горки санки
вниз по улице Франка!
Раскраснелась киевлянка
от снежка,
от ветерка.

Скинь холодные сапожки,
туфли теплые надень.
Цикламен глядит в окошко
на снега,
где свет и тень.

Нет у нас с тобой гитары —
над пасьянсом погрустим.
Наш проигрыватель старый
к нам на ужин пригласим.
За окошком звезд настройка,
снег — как тысячи зеркал...

— Петр Ильич,
где ваша «Тройка»,
та,
что Рихтер наиграл?

1967

317. ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ

Мне дорог Бах...
Ну, как бы вам сказать,
не то чтоб нынче музыки не стало,
но вот такого чистого кристалла
еще нам не являлась благодать.

Какое равновесие страстей,
какая всеобъемлющая совесть,
какая удивительная повесть
о брошенной
в века
душе моей!

1967

4

318. СТАРИННАЯ МЕЛОДИЯ

Даль в снегу необозрима.
Ночь светла
и холодна.
От Ростова
до Любима —
в небе звезды
и луна.

«У меня в моей светелке
на окошке снег лежит,
а за шторкою
сквозь щелку
свечка-звездочка горит,

Свечка-солнышко пылает.
Где ж ты, милый-дорогой?
Колокольчик не желает
заливаться под дугой.

Отчего же он подвязан,
чтó бубенчики молчат?
Может,
путь тебе заказан
в край,
где любят и грустят?

Может,
помер?
Может,
болен?
Может,
нанял лошадей?
Может,
скачешь в темном поле,
да не к любушке своей?
Может,
к ней — к своей любимой?»

Ни звезды.
Зашла луна.
От Ростова
до Любима —
в небе
свечечка одна.

1968

319. СПЛОШНАЯ КРАСИВОСТЬ

От Пролеткульта и от ЛЕФ'а
в тот мир ушел я с головой,
где яблоня,
как королева,
танцует в роще молодой,
где вдоль травы бегут вагоны,
а по деревьям — облака,
где тень от маленькой короны
коснулась милого ушка.

Отставлен деликатный пальчик,
но светят звезды из-под век,
и в этом что-то есть от прачек,
входящих в двадцать первый век.

1968

5

320. СЕКРЕТКА

Казак, градом битый,
дождиком умытый,
ехал по местечку, ехал и размяк.
Ехал добрый малый,
услыхал цимбалы,
бубен и скрипку услыхал казак.

Заглянул в окошко:
на скатерти ложки,
плошки, баклажки,
свадебный пирог.
Тут лето наступило —
всё зеленью закрыло, —
больше ничего увидеть он не мог.

Казачья доля
может спать и в поле.
Переспит, проснется — повод на руке.
Небо в частых звездах,
между ними воздух —
синий, розоватый, красный вдалеке.
Ехал казак, ехал,
в городок приехал, —
моментальный
в щелку
увидел глазок.
Тут осень наступила,
туманы расстелила, —
больше ничего увидеть он не мог.
Ехал друг сердечный,
а за окном, конечно,
за легкой занавеской хозяюшка-душа.
Из-под руки лилейной
бежит с машинки швейной,
скользит снежок кисейный,
волнуясь и шурша.
А на замочке лучик,
а под дверями ключик,
а за дверями
Галя —
теплый платок.
Зима тут наступила,
сугробы навалило, —
больше ничего увидеть он не мог.

«А все-таки сорочку
мне вышей с голубочком,
с золотой секреткой в клюве голубом.

Вышей мне рубашку
полевою кашкой,
смолкою-гвоздичкой, луговым цветком».
Вышел к перелазу
и увидел сразу —
серо-черноглаза,
перед ним
она.
Обнялись с приветом, —
и не осень это,
не зима,
не лето,
на дворе — весна.

1940, 1969

321. СОЛО НА БУБНЕ

Бежит песчинка по негромкой коже.
Чуть слышен ящерицы топоток.
Постукивают сучья саксаула.

И вдруг взлетает полная Луна:
в пустыне всё и холодно и ясно,
передвиженье лунного луча
послушно ритму, но своеобразно.

И ты идешь при голубой Луне —
по светло-синим, густо-черным грядам,
и тень твоя с тобою едет рядом
на медленно шагающем слоне.

1969

6

322. БАЛЛАДА СО СВЕЧАМИ

Со всех сторон родной земли
мы в свой сбирались круг.
Мы пили пунш,
мы свечи жгли,
ласкали мы подруг.

Мы целовали молодых
в вечерний,
поздний час,
да с каждым годом меньше их,
не только их,
и — нас.

Нам стала лестница крута,
недешев стал банкет.
А впрочем, это суета,
всё суета
сует.

А впрочем, это канитель...
Но в кабачок пустой
один вхожу,
и метрдотель
один
передо мной.

И свечи задувает он,
и голубой дымок,
как будто в церкви, унесен
под самый
потолок.

1947

7

323. БАЛЛАДА ПСКОВСКОГО ШОССЕ

Узенькая тропочка
вдоль дороги новой
приглашала тапочки
добежать до Пскова.

А в том Пскове маковки
во много каратов.
А в том Пскове луковки
на храмах квадратных.

А в том Пскове башенки
одна другой выше.
А в том Пскове вишенки
красные от вишен.

Побежали тапочки,
а за ними следом
по шоссе вдоль тропочки —
моторы-мопеды.

Следом мотороллеры
бегом по дорожке.
А на мотороллерах
легкие галошки.

По шоссе автобусы
венгерской работы.
А на тех автобусах
глубокие боты.

А на том «икарусе»
водитель бедовый.
Небо дальним парусом
встает из-за Пскова.

Над Псковóю башенки,
над Великой — башни.

В пригороде вишенки
платочками машут.

Вишенка-черешенка
смуглая вроде,
вроде как черкешенка
в саду — в огороде.

Розовая,
белая,
встречает,
провожает,
правую,
левую
щечку подставляет.

1969

324. КОНЕЦ ФЕВРАЛЯ

Весь вечер ломается фраза,
весь вечер,
всю ночь напролет:
чугунная музыка джаза
расслышать весну не дает.

Как будто бегу я на поезд
и всё продолжается бег,
а рядом
под пеплом и порист
к весне оседающий снег.

И снова твой голос,
а рядом
вагон —
за вагоном вагон,
а рядом
тяжелым снарядом
проносится весь эшелон.

Но снова струна непритворней
и неба светлее края.

Не верю твоей униформе,
весна-гитаристка моя.

И капли опять застучали,
и ветер в верхушках ракит,
но семечко в дальние дали
по серому снегу скользит.

1969

8

325. ВЕТРЕНО

На ярмарке апреля
быстрей,
быстрей,
быстрей
качаются качели
всех веток и ветвей.

Под облачком белесым
два розовых растут.
А чертовы колеса
и плачут и поют.

А по рядам гуляет
солидный гражданин,
в тарелочки стреляет
за гривенник один.

Ах барабан!
Ах флейта!
Ах радиосундук!
Он режет вензель чей-то...
Ах... — и стакан из рук!

Отходит он — невесел, —
шажок,
еще шажок.

Головушку повесил
на штатский пиджачок.

Ах этот вешний воздух,
весенние лучи!
Сидят в высотных гнездах,
качаются грачи.

Колеса вертят,
                    вертят
свой вертикальный круг.
«Тебя до самой смерти
не разлюблю, мой друг!

Я снялся в полном блеске —
пошлю в твои края
себя в чужой черкеске,
а голова моя...»

1967

326. ПОЭЗИЯ

Ножничками черными своими
подстригала
ласточка траву
и меня спросила:
                    — Ваше имя?
Своего
        я вам
                не назову.

По всему за ней бежал я миру;
не нагнал,
но это — ничего:
полетела
ласточка к Шекспиру, —
жду,
когда
вернется от него.

1968

327. ТАРАНТАСЫ

(Хор цыган)

1

Ты его не догоняла,
не просила: *не забудь.*
Ты цыгану не роняла
головы своей на грудь.
Но когда настала осень,
ночкой-ноченькой не раз
целовала
восемь,
восемь,
обнимала
восемь раз.

2

И война... И бабье лето...
Мир заполнен синевой,
Хейль и *хальт*[1] — мотоциклеты
на дороге столбовой.
В это золотце и в просинь,
в эту легкость паутин
мчатся
восемь,
восемь,
восемь
тарантасов —
как один.

---

[1] Heil (нем.) — благо, здоровье, здесь: да здравствует; halt (нем.) — стой. *(Ред.)*

3

Заприметили цыгана
те патру́ли-патрули́.
Поздно ночью,
утром рано
фона́-
        риками
извели.
На цыгана при допросе
смотрит фары белый глаз.
Убивали
            восемь,
                        восемь,
добивали
            десять раз.

4

А цыганочка искала, —
разве можно разыскать?
Как цыганочка молчала —
не смогу вам рассказать.
Ровно в восемь
                        в эту осень
склад взлетел пороховой,
ровно в восемь,
                        ровно в восемь
без минуты
                без одной.

1968

328—329. *СИМПОЗИУМ*

1

Отказываюсь от вещей —
их чересчур,
их слишком много:

забита к цельности дорога
грузовиками мелочей.

Перечислять мне недосуг
моих подробностей сараи...
Гармонию благословляю,
на страже мысли
чистый звук.

Предпочитаю снов собранья,
где сумерек с рассветом связь,
где музыка воспоминаний
в мелодию надежд влилась.

Так в летней полумгле недолгой
все блики,
                        искры,
                                    фонари,
все звезды Камы
                                    льются в Волгу, —
а Волга —
                        в океан зари.

1966

2

Уважаемые вещи,
отказаться ль мне от вас,
дружелюбных,
                                умных,
                                            вещих,
помогавших столько раз?

Отказаться ль от деталей,
от подробностей страны,
чем в дни мира
                                мы дышали,
воевали
                    в дни войны?

От ракет
              и от моторов,
от блокнотов
                        и от книг,
от саксонского фарфора
(жизнь вернул ему таджик)?

На базаре ваше блюдце
осмотрел он,
                  просверлил,
не успели оглянуться —
медной скобочкой скрепил.
Не забуду быстрых,
                                  точных, —
чем вселенная полна, —
я корабликов цветочных,
проплывавших вдоль окна.

Отрекусь ли от вертуты
с крепким чаем, например.
Деревянного верблюда
я привез из МНР.

Он мне май напоминает
и гусей с монгольских рек.
Тает он — изнемогает,
как на голом склоне снег.

1968

10

330. СУББОТНИК

Мы убираем темный снег —
летучих почв и руд частицы,
и всё нам снится,
                              снится,
                                          снится
от черных бурь свободный век.

И всё над сажей этой цепкой,
умытый свежею водой,
на грани всех столетий,
крепкий,
цветок восходит
молодой.

1969

11

331. ПАШЕНЬКА-ДУШЕНЬКА

Жила-была Пашенька
в двадцатом столетье.
Думала монашенкой
жизнь прожить на свете.

Пели в церкви «Верую»,
свечи гасили
косыночки серые —
кончики косые.

Темными ночами
на вербной неделе
полными значенья
очами
глядели.

Ясным днем послушницы
штопали-вязали,
с Пашенькой-искусницей
огород копали.

Бабочку-капустницу
летчики украли.

Всё — несвоевременный
разговор минутный,
слабый до умеренного
ветерок попутный.

Где же взоры строгие?..
Вот какого рода
метеорология —
летная погода.

Крутит полушарики
на башенке
ветер.
Жила-была Пашенька
в двадцатом столетье.

1968

332—333. *ПО ЛЕСЕНКАМ АПРЕЛЯ*

1

Апрельских полон впечатлений,
я повторяю тот мотив,
что наиграл мне лес весенний,
в дубы
и сосны
заманив,
когда бубенчик свой — гударик —
на сто звонков
настроил он,
когда подснежника фонарик
невидимой рукой зажжен,
когда,
весне во всем поверя,
среди былинок и лучей
по легким лесенкам апреля
переливается
ручей,
когда звенит в нем дорогая,
нет,
драгоценная вода,
когда пешком дойдешь до рая,
а в ад
не ходят поезда.

2

Пусть параллели в далях сходятся
и ошибается Эвклид, —
душа,
как школьница-негодница,
о постороннем
говорит.
Сады стоят
как будто в инее,
цветеньем и луной маня.
Меж двух сердец кривая линия —
кратчайшая не для меня.
Вновь очерки и очертания
весны небес и лепестков,
вновь непременные задания
неповторимых облаков.
И песенке весенней вторю я —
не математик,
не мудрец,
и мне всемирная история
движеньем кажется сердец.

1967

12

334. СВОЙ ТРУД СОВЕРШАЕТ ИСТОРИК

Свой труд совершает историк,
строитель свершает свой труд.

Горят,
разгораются зори,
о солнышке
весть
подают.

Огнем загораются новым,
врываются в мир кабалы.

И Азия
рубит оковы,
и Африка
рвет
кандалы.

А зори на всем кругозоре,
а солнышко в дальней дали

выходит
из Красного моря
на берег
зеленой
земли.

На дальние зори глядите,
на ближний смотрите восход

и грейте,
и жгите — не ждите,
как солнышко
греет
и жжет.

1969

ВНЕ КНИГ

335. МОРДОЧКА

Я как-то видел домового.
Он отдал мне стихов тетрадь.
Но, к сожаленью, разобрать
не смог я ни строки, ни слова.

А может, сильный был пиит
и сочинял эпитет сильный.
Он на меня опять глядит,
как на издателя, умильно.

1923

336. В СЕНЯХ ТРУБИТ ОСИНЫЙ РОЙ

В сенях трубит осиный рой,
и лапками стучат цыплята.
А из диванов лезет вата,
и в доме пахнет просфорой.

На церкви крест горит жестяный,
как благороднейший металл.
Супруг-кооператор рьяный —
идет: *бог милости прислал.*

Грядет, рукою руку моет.
Полезный завтрак впереди.
А у жены сердечко ноет,
поскольку есть оно в груди.

С вязигою пирог готов,
с малиной пирожки поспели.
И хочется рыдать без слов
хотя бы поперек постели.

1923

337

Телефон — аппарат разговорный, —
как попал он в степные края?
Всё воркует, звонит мне упорно
косоглазая прелесть моя.

Ты когда ж ворковать научилась —
мне, голубка степная, ответь?
Ты, ордыночка, как же включилась
в двух сердец телефонную сеть?

Телефон у тебя ли в кибитке,
или где он? В улусы твои
всё бежит по невидимой нитке
феодальная птичка любви.

1923

338. МОЕ БЕССМЕРТИЕ

К вечеру
присмирел базар, —
только
          в самой середке
баба в платке
                    вошла в азарт —
распродает селедки.
Мимо проскальзываю воробьем.
Глазом окинул —
                    и точно,
вижу —
          соленое это рыбье
в мои стихи
                    заворочено.
От радости выскочила душа, —
славы иной
                    ждать ли? —
рыба соленая
                    тоже хороша,
если нет
          другого
                    читателя.

Милая,
тупорылая сельдь
в газетном простом конверте,
запомнил
          месяц и день —
                              отсель
началось
          мое
                    бессмертие.

1924

339. ГРОЗА НАД ОДЕССОЙ

В последнем солнце,
                                будто плахты,
пылали гряды садоводств.
И вдруг заторопились яхты
к ожившим флагам пароходств.

Гвоздика вмиг забушевала,
внезапно зашумел левкой.
И каплями затушевало
бульвар и порт передо мной.

А ливень, листья подгибая,
струю вдоль мостовой гоня,
бежал по линии трамвая,
нагнав на Греческой меня.

Вода и хляби поднебесий
как бы в одну сливались муть, —
казалось, суждено Одессе
через минуту потонуть.

Казалось, что в мгновенном споре
дворов гранитных и зыбей
к тебе заглянут дождь и море
и лягут в горнице твоей.

И ливню, и волне послушный —
к тебе,
           как хитрый мужичок
или царевич прямодушный,
вплывет
            Иванушка-бычок.

1928

340. НЭП КОНЧАЕТСЯ

На дворянской улице
есть мещанский дом.
Фабрика чулочная
в двухэтажном том.

Не такая фабрика,
как бывали встарь:
там одна гражданочка —
барышня-кустарь.

Там одна работница,
а работы — страх!
Кто же позаботится
о ее руках?

Вот уже кончается
табель-календарь.
День и ночь старается
барышня-кустарь.

Фабрика чулочная,
шерстяной завод, —
сердце суматошное
всё чего-то ждет.

Вечера ли, ночи ли
всё ему грустить:
не моя ли очередь
королевой быть?

Не моя ли очередь
миловать-карать, —
на такую фабрику
барышень ссылать?

1931, 1946

341. ВЕСНА В ПАРИЖЕ

(Вода прибывает)

Электростанция гаснет,
и снова
только чернильная брезжит вода.
Как эти улицы бестолковы,
как прогибаются провода!

Выхлестнув лужу,
зафыркав,
закаркав,
взвыл грузовик,
и опять темно.

Радио только
(а в окнах огарки)
поет о парижской весне одно:
«В грозди гортензий и в грозы канут
грезы гризеток, проза рантье.
Вздох Атлантического океана
незримо присутствует в bleu Nattier».[1]

Мы при баграх,
мы в тулупах бараньих
бревна сбираем под сладкий гобой.
Тени над берегом,
как собранье
красногвардейцев,
готовых в бой.

Не позабудется та — ледяная...
Темные призраки весен коплю.
Снова весна —
и тебя вспоминаю.
Снова весна —
и тебя я люблю.

1934

---

[1] Наттье — французский живописец (1685—1766). Bleu Nattier — сине-зеленоватый, любимый цвет художника.

342. МАЛЯРИЯ

Говорят,
под тихой ряской
в иле
находя сомнительный покой,
города в озера уходили,
и белели церкви под водой.

Говорят,
едва нагнешься с гати,
будто бы всплывает вдалеке
бледное лицо
в угрюмом плате,
крестик кипарисовый в руке.

Говорят,
вот здесь,
над зыбкой почвой,
панихиды слышались окрест,
так что ямщики возили почту
не по древней гати,
а в объезд.

Главный инженер,
отведав хины,
тоже был немало удивлен,
услыхав за песней комариной
погребальный
колокольный
звон.
Что такое здесь:
кроты нарыли
или торф уложен в штабеля?

Как прошли сюда локомобили?
Тяжесть их как вынесла земля?

У дорожной трассы
полевая
розовая кашка —
не осот.

В чистом поле
кухня полковая
парит,
варит,
миски раздает.

В чистом поле
вешки да ромашки,
а ромашек тех не перечесть.
Не звоните,
кумушки-монашки, —
у меня сегодня 36.

1934

343. ПРОМЕТЕЙ

Тихий снег в горах
лежит — мутнеет.
Прометей прикован,
и одна
на крутой вершине Прометея
испытующая тишина.

Коршунов прогнала,
ноги, руки
расковала...
Славь же тишину.

Не могу я жить без вечной муки,
не терзаюсь — значит, не живу.

1934

344. РАБОТА В «ГУДКЕ»

Детство шло под мерное паденье
тихих капель;
и в дождливый час,
будто первое стихотворенье,

грохот дальних станций
мучил нас.

А потом,
изведав муки слова,
отбирая лучшее,
потом
были мы о станциях готовы
петь хоть хриплым,
но своим баском.

Голос наш ломался, —
в самом деле,
розам и луне
наперерез
в наши строки не тогда ль влетели
как знамена
эти «Щ»
и «С»?

Было тут не только описанье
семафора или колеса, —
и уже
мы чувствовали сами,
что смелеют наши голоса.
Нас как будто начинали слушать,
и, влетая в наших комнат глушь,
жизнь меняла круто
наши души,
чтоб рождались
инженеры душ.

Чтобы, словом научившись трогать
и его проверив на весах,
мы определяли им дорогу
нашего любого колеса.

1934

345. ЮБИЛЯР

Мы про него не знаем ничего
и зерна истины в столетьях ищем.
Быть может,
обезглавили его,
быть может,
умер он монахом нищим.

Живой поэт в народе сохранен —
не словарями созданная слава!
А бюст его
стоит среди знамен
и улыбается
почти лукаво.

Декабрь 1937, январь 1938

346—347. *ИЗ КРЫМСКОЙ ТЕТРАДИ*

1

ДАЧА В РОЗАХ

Как линия береговая
меняется — бела, светла,
медлительно переступая
границы лени и тепла.

А берег каменист и гол,
лишь дача в розах утопает,
где неизвестный нам монгол
второе лето умирает.

2

ЕВРОПА

Шторм в десять баллов.
Море гневно.
И проплывает вдалеке

самовлюбленная царевна
на том же —
на своем быке.

Плохую выбрал он погоду...
Поосторожней,
старый бык,
хотя ты к бурям и привык,
не урони царевну в воду.

1937, 1940

348. РОМАНС

Мы страдали,
мы любили,
мы страдали вновь.
Дружба спит в одной могиле,
а в другой — любовь.

На кладбище
по привычке
принося цветы,
равнодушной рукавичкой
обмахни кресты.

Наши чувства
тоже жили
между чувств живых, —
пусть хотя б не будет пыли
на крестах у них.

1940

349. УЛИЦА ЯБЛОНЬ

Памяти Хаби

Там — за глиняным военкоматом —
темно-синий стоит апрель.
Персик цветом горит красноватым,

розоватым —
как карамель.

Лёсс желтеет львиною шкурой,
синий в красных цветках небосвод.
Из страны Навои и Бабура
вновь уходят
бойцы
в поход.

Далеко — за Уралом горя,
далеко — за Аралом слез
наша радость —
на кругозоре
хатка белая,
верболоз.

Верболоз ли,
ракитник юный —
как ты хочешь его зови.
Из страны Лейли и Меджнуна
улетают
туда
соловьи.

Вот уже и второе лето.
Там —
в далеком хозяйстве лесном —
мчатся, мчатся мотоциклеты.
Желудь
лопается
под колесом.

1942

350. ШИРЬ И ПРОСТОР

Ширь и простор... Погляди ты —
воздуха сколько кругом.
Дождичком дали промыты,
свежим протерты снежком.

Утро-то,
 утро какое!
День-то какой предстоит!
Что же тебя беспокоит,
снова тебе говорит:

приняло многие боли,
много узнало тревог
русское чистое поле —
сеялки
 возле дорог.

1950

351. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПЛАСТИНКИ

Игле, как кляче молотящей,
ходить по кругу всё трудней,
но льется голос,
уводящий
в мелодию минувших дней.

Старик не слушает,
а плачет,
на стол склонился головой, —
в пустом стакане
тройка скачет
с актеркой
в шапочке глухой.

Дорога,
столбики расставя,
бежит,
никем не занята,
но муфточка из горностая
мешает целовать в уста.

1956

352. КИНОСЪЕМКА

Солнце,
а денек-то кисло-сладкий...
Право, редкость в наши времена —
толстенькие
круглые лошадки,
пышный кучер,
барыня пышна́...

Экипаж,
подушки цвета вишни,
а на шляпе птицы и цветы...

Боже, боже, господи всевышний,
упаси
от этой красоты.

1950

353. ЗЕЛЕНАЯ АКАЦИЯ

Зеленая акация —
голубоватый тон.
Воздушной навигацией
кораблик унесен.

Скользит под легким парусом
в зеленые моря.
Каюты в два-три яруса,
меж ними и моя.

В ней за столом за письменным
сижу, тобой дышу.
Тобой оболган, высмеян,
тебе же и пишу.

Работала бы рация, —
приму я твой ответ.
Зеленая акация,
а желтоватый цвет.

1950

354. ПОЧТИ ДВЕНАДЦАТЬ

Почти двенадцать с половиной,
вся ночь заполнена зимой.
Арфистка
в шубке воробьиной
бежит по снежной мостовой.

Звук арфы отсверкал прилежный,
но воздух ночи заблистал, —
как будто колокольчик нежный
в морозный
превращен кристалл.

Все грани города,
все тени
отчетливее под луной.
На ярких варежках олени —
охрана музыки живой.

Простеганы пушком желанным
те рукавички много раз,
чтобы рукам,
почти стеклянным,
не угрожал
зимы алмаз.

1951

355. ОТКРЫТОЕ КИНО

Сквозь листья
сотни звезд над головой.
К концу подходит фильм,
а с ним и сутки.
И луч голубовато-меловой,
как быстрый дым,
скользит из кинобудки.

Не мучь меня,
туманный мир,
не мучь

жемчужной россыпью
беспечной этой,
где бабочка,
попав в неверный луч,
всего на миг,
но кажется планетой.

1952

356. МОКРЫЙ ДЕКАБРЬ

Какой декабрь у нас капризный,
какая странная пора:
то снег пойдет,
то дождик брызнет,
то ливень — будто из ведра.

И Дед Мороз по темным водам
бежит
вдоль улицы пустой...
Звонит...
Открыли...
— С Новым годом!
Где мне поставить зонтик свой?

1966

357. ГОД ПРОВОЖАЮ

Год провожаю, будто поезд.
За стрелкою большой слежу
и, к расставанью приготовясь,
в окошко снежное гляжу.

О, эти женщины седые,
о, эти старые друзья,
о, эти буквы прописные,
жить без которых
нам нельзя.

Без них
и солнце было б хмуро...
И всё мелькают на бегу
оранжевые абажуры
за всеми стеклами в снегу.

1966

358. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ГЕРОЙ

Мой милый положительный герой,
как я люблю тебя, как уважаю,
как непрерывно —
день и ночь —
ругаю
за отвратительный характер твой.
Как порицаю педантизм твой скучный,
брюзжание,
известное давно.
Простите нам,
друзья,
великодушно
в весеннем сквере
наше домино.
Его не принимайте вы всерьез —
среди тюльпанов первых,
в птичьем гаме
меж залитыми солнцем топольками
кочуют тени
старомодных грез.
Колючести не верьте наших слов,
простите утомительность морали:
ей-богу,
этих не было б цветов,
когда бы этих гряд
мы не вскопали.

1967

359. ВЕК НЫНЕШНИЙ И ВЕК МИНУВШИЙ

Не отрекусь от сказки старой, —
в просторы новые зовя,
век электричества и пара
пропагандирует себя.

Свистят на все края и страны,
пронизывают дымом мглу
его машин левиафаны
на яркоплиточном полу.

Как сделать их ловчей и легче
и как заставить их летать,
как у веселых птичек певчих
их перелеты перенять?

Ему ума и воли хватит, —
меж поражений и побед
в телеге он савраску пятит,
но верит в свой велосипед.

Ишь нажимает на педали,
дробит звоночком тишину,
стремясь в иных уездов дали,
как мы
сегодня
на Луну.

1967

360. В ЛЕСАХ ЗАКАРПАТЬЯ

Стулья растут в лесу —
я сам это чудо видел.
Подгорных лесов полосу
их край
ремеслом не обидел.

Обычное дерево бук,
орешек под ним и соринка,

но ветка сгибается вдруг —
и образуется спинка.

И вот уже спинок не счесть...
Есть сказки и в нашем столетье:
я вижу две ножки,
и — третью,
уже и четвертая есть.

Их множество...
В стульях вся высь...
Сюда б из соломки сиденья, —
и в ярусе верхнем садись,
дневное
смотри представленье.

Смотри
на игру здешних рек
над галькой,
от солнца веселой,
на дальние замки смерек,[1]
на ближних малинников села.

Смотри-ка —
из темных сеней
старинка взглянула пугливо.
Ну что ты поделаешь с ней —
с красивой такой,
с некрасивой?..

1967

•

361. НАСТУПИТ СРОК — УЗНАЕМ ИМЯ

Души глубокой выраженье —
нам открываются черты
национальной простоты
у Пушкина в стихотворенье.

---

[1] Смерека — пихта европейская (гуцульск.).

Мы любим у Шевченко их,
мы ценим их в стихах Тычины,
в них — и простых
и непростых —
удачи творческой причины.

Писать отрадно и легко,
когда не только видишь колбы,
но и дороги.
Далеко
по тем дорогам
шел
и шел бы.

Чтоб за грядою городов,
за линией лесных массивов
вставали на лужках красивых
дворы дорожных мастеров.

Чтоб по обеим сторонам
в корзинах яблоки лежали,
чтоб с двух сторон,
по двум горам
ручьи бежали
и звучали.

Чтоб горная тропа вилась —
как ленточка
и кинолента.
Чтоб непосредственно лилась
великой Родины легенда.

Быть может, посреди высот,
над красноречьем торжествуя,
чабан неведомый поет
историю страны живую.

Народа молодого сын,
идет он с песнями своими —
Расул,
а может быть, Кайсын.
Наступит срок —
узнаем имя.

1969

362. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Весна была,
                    весна была.
Не помню,
                    сколько лет мне было,
но тень вечернего крыла
по светлой зелени скользила.

Бежала тень по роще ясной,
но были полдни хороши,
и были полночи прекрасны
на старых праздниках души.

И день казался беззаботней,
и ночь надеждами полна.
Осталось книг — не больше сотни,
осталась ива у окна.

Но звезды снова недалеко,
узор весны,
                    как прежде,
                                        мил.
Не вспомнить было бы жестоко
всё то,
            чего не разлюбил.

Мои глаза на всем живут,
они всегда,
                    повсюду с вами,
запечатленное годами
мои глаза вам назовут.

1969

МОИ ГЛАЗА

КАНИКУЛЫ

ИЮЛЬ 1968

363. БЕЛЫЕ НОЧИ

В светлом боре по чернике,
как весною повелось,
бродит глупый козлик Кики,
ходит Томас —
умный лось.

А весна,
весна какая!..
Над мерцаньем белых вод,
чаек в море увлекая,
спать Аэгне не дает.
В батарейных норах лисы
воздух нюхают —
весна!
Из-под дома заяц лысый
смотрит в тридцать три окна.
Каждое окно — другое,
так придумал Корбюзье.
Сновиденье голубое —
Таллин —
в общей белизне.

Город на горе высокой —
флюгеры
и фонари
над камнями,
над осокой
без луны
и без зари.

1968

364—368. *СЕНТЯБРЬ 1969*

1

Т. Н.

Подъемы и уклоны.
Холма отвесный срез.
Красивые вагоны
уходят
в лес.

Такие в пору детства
игрушек всех милей, —
им никуда не деться
из памяти моей.

Красивые вагоны
под грохоток колес
уходят в край зеленый
березок
и берез.
Венки с тобой плели мы, —
уплыли сквозь туман,
рекою уносимы,
все сорок в океан.
Так мало и так много...
И надо помянуть
железную дорогу,
великий водный путь.

2

Отгремели поезда литавры,
спрятался в скворечне воробей,
и не голос отдаленной арфы —
телеграф среди пустых полей.

Только аисты остались в мире
и летят за многоцветный лес.
Украинцы называют *ирий*
эту бездну голубых небес.

Эту бездну без конца и края,
эту тишину
и глубину,
где, сверкая,
птицы улетают
на дневную
бледную
луну.

3

Сентября туманы расписные
заполняют каждый двор и сад.
Будто сновидения цветные,
в облаках
автобусы висят.

Будто нет ни городка, ни быта, —
лишь свеча сквозь влажное стекло.
Всё, как будто акварель, размыто —
мутные тона
приобрело.

Может быть,
замедленная съемка,
и поэтому так водянист
над дорожной тусклою каемкой
плавающий велосипедист.

Ни асфальта не видать, ни щебня,
знаки разглядеть не так легко, —
только солнышка фонарь волшебный
очень близко,
страшно далеко.

Будто сквозь туманные витрины
пятна красно-синих лепестков,
не пионы,
и не георгины —
выставка неведомых цветов.

4

Петухи кричат к непогоде.
Во Вьетнаме бои, бои.
Дождик стал накрапывать вроде,
пересыпал дробинки свои.
Сразу тронул сто тысяч листьев
и замолк,
и уже вдалеке
пробежал, как по шкуре рысьей,
по осенней пятнистой реке.
На погосте целует знамя
преклонивший колено солдат.
Всё бои в далеком Вьетнаме.
Петухи к непогоде кричат.

5

До свиданья,
мой латвийский север!
До свиданья,
паровозы «Л»!
До свиданья,
в теплом львином зеве
смоляная шубка — добрый шмель!

До свиданья,
между облаками
тихий свет осеннего луча!
До свиданья,
дом,
где серый камень
в рамке розового кирпича!

До свиданья,
за окном направо
яблонька из самых молодых!
До свиданья,
мотоциклы «Ява» —
экипаж — сажай хоть пятерых!
Катит в каске и плаще мадонна,
в каске и плаще малыш при ней.
До свиданья,
всё, что благосклонно
было к нам в теченье многих дней!

До свиданья,
светлые березы,
до свиданья,
темные сады, —
всё,
что, будто дым от папиросы,
тает за вокзалом Сигулды!

1969

369—373. *Август 1970*

1

ВЕЧЕРЕЕТ

Что за освещение такое, —
где-то в Латвии горит заря.
Посреди всеобщего покоя
реактивный
прогремел
не зря.

Дремлет в малом городке пшеница.
Спеет,
наливается зерно.
Белый хлеб
пшенице этой снится,
снится ей
зеленое вино.
В конских гривах гаснет свод небесный.
Город отойти ко сну готов.
Только куклы в окнах,
как невесты,
ждут,
всё не дождутся женихов.

2

СРЕДИ ТРАВЫ

Среди травы
веселой, новой
старинных мельниц жернова.
И, словно летопись былого,
спят на озерах острова.

Леса-зверинцы крепко спят,
спят над озерами костелы,
и внук не слушает веселый,
звонят они
иль не звонят.

3

КАРМЕН

Что народу в ближнем дворике!
Что за музыка кругом!
Вы венчались под гармонику
в зале
сельско-городском.

Ждали «Волги» вас и «газики»
в лентах белого белей.
И жужжали, будто пасека,
бабки-тетки у дверей.

А какие интересные
все дружки́,
подружки все.
Депутат сказал полезную
речь
о браке и семье.

А невеста в белом платьице,
с белой астрою жених!
Водки льются,
пробки катятся
вин десертных
и сухих.

Ну, а стопочки и чарочки
знать не знают про беду.
Главная бледнеет парочка
у района на виду.

Глянул: верится — не верится,
входит в свадебный чертог
с красной розою соперница
в черном
с головы до ног.

1970

4

ВЕТЕР

Ветер на кладбище. . .
Боже,
души усопших развей!
Только не знаю я —
что же
будет с душою моей.

Ссорились мы и мирились
многим подобно другим.
И в облачка превратились,
видишь —
над морем летим.

Только лететь бы нам рядом
было желательно мне,
тихой улыбкой и взглядом
в теплой
сливаясь волне.

1970

5

РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

Роскошные дубы Литвы...
Какие образы и сцены
на их коре!
Лишь у Родена
похожие — видали вы.

Среди морщин,
среди узлов
черты,
приметы —
точка в точку
сухие брови мужиков,
баб деревянные платочки.

Воздеты рук мужицких вроде
сучки и сучья
в высоту.

Всё заключается в природе,
что я еще изобрету.

1970

УЗБЕКСКИЕ МОТИВЫ

374. ЯРМАРКА

Как тут быть с великолепной тканью,
сотканной в минувшие века,
сохранившей
слабое дыхание
вялых розанов
и табака?
То ли дело — ситец и сарпинка, —
верный сбыт они себе найдут.
Их везет баржа к персидским рынкам,
с ними входит
в Бухару верблюд.
И по кишлакам идет излишек.
Говорит купец:
— Хватай!
— Бери!
Из конторских вырос он мальчишек
в Ярославле,
в Рыбинске,
в Твери.
А теперь — его контора пишет...
Над Окой обычный торг идет.
Меж лабазов и причалов дышит
белым паром
черный пароход.
Плеск воды.
Гудит орган в трактире.
Панихиду певчие поют.
Не было,
не будет
в этом мире
тишины
хотя б на пять минут.

1942

375. ЧАСЫ ПУСТЫНИ

День краснеет.
                    Даль белеет.
И везде война —
                    не мир.
Мимо хауза,
                по аллее
с плеткою
            бежит
                    эмир.
За сторожкой отдаленной
гонит в свет и тьму
                    коня.
Всё оставил:
                мрамор,
                        глину,
хлев верблюжий,
                    райский сад.
На ветвях сидят павлины
и без видимой причины
отвратительно
                кричат.
Бронзовый,
            зеленый,
                    синий
хвост повис,
            лишен красы...
Время говорят пустыням
их песочные часы.
Стали сутки коротеньки.
Ветерок на всем скаку
ханские швыряет деньги —
что за шелковые деньги,
что за деньги
                на шелку!

1972

КРЫМ РОМАНТИЧЕСКИЙ

376. ПОСВЯЩЕНИЕ

Прими,
красавица Мисхора,
Ундина —
бледное дитя,
простого сердца разговоры,
беседы верного ума.
Луне туманной потакая,
Сирена,
посуди сама,
в Тавриде ночь стоит какая!..
Душевной верности залог
прими —
мой более чем скромный,
но романтический венок.
И две руки
над влагой темной.
В вокзальной кассе
и в кино
тебя я вижу,
друг мой честный.
Вдруг постучишься мне в окно
ты с почтою своей чудесной.
То пассажиркою ночной
мелькнешь в автобусе полночном,
покамест
будто бы нарочно
волна целуется с луной,
пока меж кипарисов острых
звенит гитара здешних мест,
пока весь Крымский полуостров —
как романтизма манифест.

1937, 1970

377. БОЛЬШАЯ ВОЛНА

Достигает решетки госбанка
влажной пылью соленый прибой.
Нереида моя — фигурантка —
на волне
возникает
крутой.

Нереида моя — Горослава,
возвращаясь в морские струи,
над асфальтом
и слева
и справа
рассыпаются руки твои.

Обсуждать, разумеется, вправе
я неистовой улицы вид,
но грохочет,
безумствуя,
гравий,
сумасшедшая галька гремит.

Странной песенке лучше б не петься,
дикой музыки лучше б не знать. . .
Ты срываешься
с зыбких трапеций,
чтоб на выгнутой сетке плясать.

Вдоль кондитерских и рестораций
я бегу.
Всё бушуют валы.
День и ночь
бесконечные длятся
икарийские игры волны.

1937, 1970

378. ТОРПЕДНЫЕ КАТЕРА

Вот и транспорты мечутся в море,
и торпедные бьют катера.
На зеленом,
на мутном просторе
боевая настала пора.
Снег идет,
а прожекторы пляшут,
разрывают лучами пейзаж.
Рвутся наши десанты на пляжи
из своих героических барж.
Видим мы и нейтральные воды,
где скучают бок о́ бок суда.
где стоят на цепях пароходы —
никуда не идут, никуда, —
где под пение мандолины
упоительней воздух ночной,
где гуляют красавцы мужчины,
только бог с ней —
с такой красотой.

1972

379. КУСТ ШИПОВНИКА

Вот он — без листьев
в горном заторе
с пемзою серой
один на один.
Входит отсутствующее море
в красный,
в пурпурный
его парафин.

Ржавчина проволоки колючей
в лаковой ягоде
повторена.
Белое облако
через кручу
перевалило,
меняет тона.

Даже предчувствуешь —
в бархаты ночи,
в звездную россыпь
канет закат,
незамедлительно забормочет
зримый — незримый
бубенчик цикад.
Небо темнеет,
еще темнее
крылья гусей
на Млечном Пути.

Звезда обрывается,
и за нею
хочешь не хочешь,
а должен идти.

Должен идти
за дугою крутою,
пересекающей полотно.
Не нарисовано и другое,
но в ягодном глянце
отражено.

Всё,
что душа беспокойная знала,
в зеркальцах ягод
мгновенно встает —
каждая тень
у морского вокзала,
каждые сумерки,
каждый восход.

1937, 1970

380. ЭПИЛОГ

Черный выпит, к сожаленью,
допит розовый мускат.
Только справа по движенью
занавески
                    в степь
                              летят.

Только, как безбожник, ветер
разъяснить мне норовит —
почему на белом свете
нет наяд
и нереид.

Как же нет?
А ты, Ундина,
и в степи явилась мне.
За окном купе картина
сухопутная вполне.

Все глубокие разрезы
ближних балок и яров,
черепица
и железо
станционных городков.

Вновь разъезд среди долины,
вновь пакгаузы за горой,
и с перрона мне Ундина
машет легкою рукой.

1937, 1970

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

381. СТАРИК ДЕРЖАВИН

И навощенный зал Лицея,
и мальчик пред тобой стоит,
и муза — словно панацея
от старости и от обид.
Преображенный лик твой светел.
Ты руку к уху приложил:
«Старик Державин нас заметил
и, в гроб сходя, благословил».

1973

382. ВАРАКУШКА

Кто из читателей предположил, что написанное автором этих строк стихотворение «Вино» —
«Чем продолжительней молчанье,
Тем удивительнее речь» —
принадлежит Тютчеву?

Сколько подобных случаев
видишь только во сне:
Федор Иванович Тютчев
как-то пришел ко мне.
— Сударь (ну и так далее),
батюшка (et cetera[1]),
вы у меня украли
перл моего пера.
Мысли свои в звучанья
я не успел облечь...
Это — мое молчанье,
это не ваша речь. —
Я отвечаю:
— Ах, уж как
надо б манеру свою,
но так ли плоха варакушка,
следующая соловью!

1961

383. П. Г. ТЫЧИНЕ

Восторженный Ваш ученик —
не первый меж учениками, —
пытаюсь следовать за Вами,
но тайны Вашей
не постиг.
И мне порою только снится
недосягаемая высь,

[1] И так далее (лат.). — *Ред.*

неуловимая граница,
где музыка и жизнь
слились.

1961

384

Верен я своей Луне навеки...
У меня она опять в окне.
Молодой рассыльный из аптеки
бродит
по лазоревой Луне.
Он по лесенке,
он понемногу
на Луну сошел
с земных небес,
осторожную
поставил
ногу
на вот это чудо из чудес.
А с Земли не видно даже тени,
а с Земли — всё прежняя Луна —
мир, не требующий объяснений,
наша тайна,
наша тишина.

1970

385

Киргизия,
ты снишься мне
пастушкой конной
в платье красном
там — на зеленой крутизне,
где даже пешему опасно.

Такси мне снится над водой.
Оно бежит вдоль Иссык-Куля.

В незабываемом июле
то озеро мы обогнули,
вернувшись южной стороной.

Мы ехали с одною целью —
увидеть древнюю страну.
И вертикальные ущелья
нам открывали глубину.

О юности без увяданья
нам говорило горячо
целительное содержанье
ключей киргизских и ручьев.

В теснине буйно клокотала
река стремительная Чу.
А я всё меньше о причалах
и о вокзалах хлопочу.
Что мне осталось?
Постоянство
соседних улиц — двух иль трех.

Но тем огромнее пространства,
которые в душе сберег.

1970

386

Может, Вычегда,
может, Онега,
но родная
моя сторона.

Из-под полога
белого снега
голубая
смеется весна.

Опускается
тихий и нежный,

удивительно мягкий
снежок.

Будто с яблонь
в сиянье безбрежном
за цветком
улетает цветок.

Будто ласточка
между стволами
по фруктовым садам
пронеслась.

И опять обернулась
стихами,
и надеждой
опять назвалась.

1971

387. ЗА ОЗЕРОМ РАЗЛИВ

Вдалеке от шума городского —
луг ночной и на лугу шалаш.
Ничего особого такого
не отметит беглый карандаш.

Но шалаш тот на странице главной
начинает новую строку —
славный, как корабль Колумба,
равный
первому печатному станку.

Дремлет луг, закрытый облаками,
шалаша как будто вовсе нет,
но меж затемненными мирами
как бы намечается просвет.

Есть такие северные зори,
есть неторопливые утра,
но история
на кругозоре,
и поэзия —
ее сестра.

Снова дождик,
и не сохнет сено,
но пришли в движенье облака,
но открылась мировая сцена,
распахнулись годы и века.

1970

388. ПРИМОРСКИЙ ГОРОДОК

Приморский городок и улица.
Мол и рыбачьи паруса.
Но Муза — верная союзница —
нарисовала небеса.

Не вьюжные они —
жемчужные.
Вблизи от нас,
от нас вдали
за оболочкой их наружною
на звездах
якоря Земли.

За дальней далью беспредельною
они видны сквозь облака,
и всё звенят нам колыбельные
колокола издалека.

И вся в земных судах Галактика —
ее озера и моря.
И вот —
теория и практика,
и вот —
поэзия моя.

1970

389. ЯНВАРЬ

Что за утро!
Утро — как победа
над годами,
над самим собой.

Всё мне кажется —
я снова еду
в край,
когда-то посещенный мной.

Что за свежесть,
видимость какая!
Утро с каждым мигом
всё милей.
В дальней дали
рощи окликаю,
называю
близких и друзей.

Здравствуйте,
спасибо вам большое
за добро,
за ласку,
за привет
и за то,
что не остыл душою,
что в душе остались
цвет и свет.

Свет и цвет —
как елка перед вами
в солнечных снегах,
сто тысяч раз
всеми лучезарными снегами
в мире
повторенная для вас.

1972

390. ОСЕНЬ

Я на алтайском раздорожье
оставил лошадь,
бросил плот.
Там, на Алтае,
птичка божья
впотьмах
как жеребенок ржет.

Туда, туда
зовет обратно,

где ветер Азии
пронес
оттенки осени
и пятна
среди поленниц
и берез.

Так вот он, август —
пепел лета, —
еще лазурь
и вдруг — кармин,
на огородах,
полных света, —
индиго
и ультрамарин.

И снова топятся овины
в Европе северной моей,
и снова говорят турбины,
и разговор ведут дельфины
на языках своих морей.

А солнышко еще высоко,
и в желтом поле
желтый сноп.
И осы в магазине соков
штурмуют
сахарный сироп.

А над ложбинкой с табаками,
а над лавандой
гор отрог.
А в синегорье
синий камень,
семьсот тропинок,
семь дорог.

Так вот он — юг,
так вот он — север,
лучей прощальных благодать.
И выбегаю
в поздний клевер
четырехлистники искать.

Где облака над облаками,
там за лесами
тундры ширь.
Где в темном небе
светлый пламень,
там в море
камень-богатырь.

1972

391

Рельсы и рампы окраины,
ивы в долине сырой.
За деловыми сараями
Киев — не Первый —
Второй.

Льется луна над долиною,
Лыбедь струит
и струит
стадо свое лебединое
мимо цистерн
и ракит.

Между ярами и кручами
тянется к ближней звезде.
Вновь эти ивы плакучие,
пятна луны на воде!

1973

392. АЛЬПИЙСКИЕ ЛУГА

У нас — в столице нашей южной
несутся хлопья с высоты,
но, радуясь метели дружной,
с витрин к ней тянутся цветы.

Они привыкли к четкой грани:
родившись высоко в горах —

они полны воспоминаний
и о снегах
и о лугах.

Пчела висит над синей бездной,
а дальше фирн,
а дальше лед.
Оттуда —
из страны небесной —
поток свершает перелет.

Свергаясь бешеной волною,
горя мильярдами свечей,
он брызжет пеной ледяною,
и от нее
цветы свежей.

А здесь — внизу,
где зимний город, —
цветы глядят ко мне в стекло.
И мысль опять — как чистый холод,
а на душе теплым-тепло.

И не загадка и не ребус,
но, будто снежная гора,
волшебный движется троллейбус
в сплошном мельканье серебра.

Всё заштриховано зимою,
всё вьется в вихре снеговом,
но говорят цветы со мною
на милом языке своем.

1970

393. НОЧНЫЕ ДВОРЫ

Я дворы ночные знаю:
есть гараж в их глубине.
Там резина запасная,
календарик на стене.

Там ночуют километры,
расписания езды
от планеты до кометы,
от надежды до звезды.

Отдыхают развороты,
спит автодорожный быт.
В приоткрытые ворота
лампочка одна глядит.

Двор и стенку освещает
ту, где карточка твоя
обезьянке обещает
возвратить ее края.

Едем стороной степною,
едем в горную страну —
за Украйной слободскою,
за Ростовом-на-Дону.

А за городом Ростовом
нашей юности звезда
по дорогам бирюзовым
обгоняет поезда.

Выезжаем утром рано.
Едем в дождик и в жару.
Теплой ночью из духана
нам выносят хванчкару.

Коршунами реют горы,
а в ущелье — огонек,
будто уголек,
который
Прометей для нас сберег.

1972

394—395. *ИЗ СТИХОВ ОБ АРМЕНИИ*

1

В мае 1918 г. отряды трудящихся Армении доблестно сражались с империалистами на подступах к Эривани (Еревану).

Колокола и ведра... Боже мой!
Течет Аракс под самым Араратом.
Рыдают церкви над земной корой.
Грохочут ведра по камням горбатым.
Колокола со всех холмов степных,
и за ведром ведро из всех колодцев.
Великое сражение ведется.
Над *нами* солнце,
а вода у *них*.

Аракс у них...
Армения пылает...
И ведра рядом,
ведра вдалеке.
Сраженье воду пьет
и продолжает
под звон колоколов
свой путь к реке.
Какие выразительные тени
далеких лет,
колодцев
и церквей,
мужчин и женщин
и сухих растений
Передней — древней Азии моей.

В лучах вечерних красная долина...
Случайный стебель ветром уносим...
Не знаю, что это, —
быть может, глина,
быть может, кровь армян.
Спасибо им.
Спасибо им.

2

Славный старичок из Еревана
чистит,
        чистит сапоги подряд.
Щетки две и тысячи фонтанов
со звездою первой говорят.

Вечер.
Ночь.
Еще не слишком поздно.
Город полон мирного тепла.
В зеркалах бассейнов —
            звезды,
            звезды,
а ботинки — те же зеркала.
Старичок волшебник.
            Мне бы тоже
в деле поэтическом моем
звезды рассыпать
                        к ногам прохожих,
и не только ночью,
                        но и днем.

1970

396

Я над Туркменией летел.
Жила пустыня — как придется:
песок желтел
и голубел,
темнели
впадины колодцев.

Советодатели мои,
друзья-колодцы,
не забуду
я заповеди:
                «Напои
                и человека
                и верблюда».

И слово вырвалось,
коснулось
неутоленного всего.
Мне стюардесса улыбнулась
и не сказала ничего.

Как с перекличкой этой быть
успокоенья и тревоги?
Что за привычка говорить
с самим собою,
но для многих?

1971

397. ОСТРОВ УШАКОВА[1]

(Из цикла «Однофамильцы»)

Есть в холодном море остров —
он окован старым льдом.
Отыскать его непросто
в малом атласе моем.

Не встречался,
не видался
я с хозяином его,
лишь открыткой обменялся
вот по поводу чего:

мне издатели-мадьяры
в предыдущие года
авторские экземпляры
выслали его труда.

Их вернул по назначенью,
но всё снится,
снится мне
остров в северном свеченье
в затемненной
стороне.

1971

---

[1] Г. А. Ушаков — советский полярный исследователь. Его именем назван остров в Карском море.

398. ТЫ В МОСКВЕ

Почтовый мимо сосен гулких
в Москву несет свой перестук...
В Кривоарбатском переулке
предоставлялся мне сундук.

Мои двоюродные братья
учебники копили в нем.
И мог свободно обладать я
в ночное время сундуком.

Мне повезло — провинциалу.
Не знаясь с рифмой «кровь — любовь»,
однажды прямиком с вокзала
я в «Красную» — ворвался — «Новь».

Воронского назвал я Вронским,
чуть Казина не прозевал...
Беседовал со мной Воронский.
«Неплохо», — Казин мне сказал.[1]

Всё сразу засияло в мире,
и несказанно был я рад.
Тогда трамвай номер 4
ходил с Мясницкой на Арбат.

Вагон летел звонкоголосый...
Я влип в него, вскочив стремглав,
и мог сорваться под колеса,
«Транжирочку» не написав.

Мне, впрочем, ближе к ЛЕФ'у было...
Висела жизнь на волоске,
но сердце пело и трубило,
и говорило: «ТЫ В МОСКВЕ!»

---

[1] А. К. Воронский — редактор ж⟨урнала⟩ «Красная новь». В. В. Казин ведал здесь стихами. «Вронский — у Толстого, у нас — Воронский, — поправил меня корректор журнала В. И. Казанский и крикнул:-Александр Константинович, еще начинающий!»

Ниже речь идет о моем стихотворении «Московская транжирочка».

Всё там казалось необычным,
особенно вот этот дом
с брандмауэром красно-кирпичным,
с пузырным, но большим окном.

За ним располагался город,
а в городе была весна.
Из Херсонеса в Холмогоры
через Москву идет она.

Идет леском и перелеском,
но, как всегда, через Москву,
где Маяковский
                    на Кузнецком
прогуливается
                    мосту.

1972

399. ИСКУССТВО ПРОТИВОРЕЧИТЬ

...Лапша — символ стандартности...

Трюизм

Люблю лапшу,
когда вокруг крестьяне
и каждый труженик,
любой едок
из миски
вежливою ложкой тянет
неповторимый этот завиток.

Ей-богу,
нету двух друг с другом схожих...
Лежат стада.
Безмолвствует пастух.
Не видно
ни проезжих,
ни прохожих —
над государством только ложек стук.

Деревня трудится и отдыхает,
ее труду и отдыху служу.
Трепещет воздух.
Полдень полыхает.
Не знаю почему —
                    люблю лапшу.

1970

400. ГОЛУБЫЕ ОСТРОВА

Говорят,
Луна не голубая, —
темно-серая — в густой пыли.
Но такой себе не представляю
голубую спутницу Земли.

Знаем сплав
или не знаем сплава,
но Луна — в сиянье голубом,
но Луны заслуженная слава
в сердце старом,
в сердце молодом,
в голосе —
в дыханье соловьином.
Посмотрите на свою Луну:
по холмам кочует,
по долинам,
трогает лучами тишину.
Под ноги любой влюбленной паре
голубые стелет острова,
заставляет следовать гитаре,
повторять
старинные слова.

Стеклышко земных лабораторий,
много ль можешь изменить во мне?
Всё равно —
моя душа и море
тянутся
к лазоревой Луне.

1969

401. НА ЛУНЕ

Ночь тележку нашу обнимает.
Острый хаос
скрыт холодной тьмой.
Щеки ящерка не раздувает.
К каменной гряде
не припадает,
не взлетает
мотылек ночной.

Чайки нет,
и селезень не крячет.
И на берегах пустых морей
дальнее окошко не маячит,
дети в темных комнатах не плачут
и своих не будят матерей.

Всё молчит от века и до века.
И ей снятся
наши небеса,
ровная рысца
лошадки пегой,
мягкая дорога
и телега —
теплый колос
возле колеса.

1970

402. ПРАЗДНИЧНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Проснулся:
солнышко в окне.
Ушла далеко непогода.
Высокий призрак теплохода
светлеет
в синей стороне.

На солнечных киосках тени
северо-западных растений,
на ослепительной волне

веселых уток перебежка,
на удивительной сосне
ликует белка-сладкоежка,
и наша на Луне тележка
проснулась:
солнце на Луне!

1972

403

Сон его в эту ночь был недолог,
не спалось этой ночью и мне.
Не поэт, а ученый-геолог
написал
стихи
на *Луне.*

А о чем написал — не знаю,
но, должно быть, великий восторг,
всё охватывая
и заливая,
вдохновенное нечто исторг.

Не уверен, что точное слово
отыскалось в космической мгле,
но завидую снова и снова —
я — писавший
всю жизнь
на *Земле.*

1972

404. НУ И НЬЮТОН

Что такое?
Что в природе?
Не бывало никогда —
звери
в клинику приходят,
птицы
мчатся в города.

А одна — в почтовый ящик
забралась,
и с ней семья...
Приносите мне почаще
письма,
милые друзья!

А не принесете —
ладно:
почтальон их принесет...
На заводе рафинадном
пчелы собирают мед.

Ну и Ньютон,
старый Ньютон —
до чего он знаменит.
Но ужасно мир запутан —
в небе яблоко висит.

Ни сучочка,
ни крючочка,
только в море тишины
космонавт туманной точкой
проплывает вдоль Луны.

1972 (?)

405. СТАРИК ДЕРЖАВИН

«Глагол времен! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает...» [1]
Но этот мальчик выступает,
как хорошо читает он!

Лицо мгновенно просветлело.
Ладонь приставил к уху:
— Ась? —
Какая радость родилась.
Какая ласточка запела.

Между 1969 и 1973

---

[1] Строки Державина.

406. ДЛЯ НИЗКОГО ГОЛОСА

Дальний голос всё напевней,
Бубна, пика под рукой.
Еду в русскую деревню,
    где цыгане
    за рекой.

Черва снизу, трефа сверху.
А у речки у реки
серьги, серьги, серьги, серьги,
    в мелких розанах
    платки.

Говорунья и певунья
с мягким голосом грудным,
не с моею песней Груня,
    с разговором
    не моим.

Что за Груня, что за Граня —
светлый голос, темный взгляд.
Бродят лошади в тумане,
    колокольцами
    звенят.

Между 1969 и 1973

407. ДОРОЖНЫЕ ЖАЛОБЫ

То в телеге...
                то в карете...
Ночь сомнений...
                    день тревог...
Будто эти...
               будто эти...
Он висеть бы тоже мог...

Бешенство и вдохновенье,
след беды,
            тень торжества —

неразумное явленье,
к случаю прикосновенье
божества — небожества.

Всё понятно — непонятно...
Светлый мир и темный миг...
Может, повернуть обратно?

— Что ж ты заскучал, ямщик?
— Всё равно на Черной речке,
где в тумане снег и лед,
обручальное колечко
все итоги подведет.

1973

408. СТАРЫЕ БАШНИ

Помнишь, Толстая Маргарита,
как в твоем юбилейном году
пировали мы знаменито
белой ночью
в черном саду?

Говорил я: «Ты пей, голубка,
не ленись, на меня смотри».
Деревянными
были кубки
и железными —
фонари.

Я был тот, кто приказывал кухням:
«Погасите огонь», а сейчас:
«Ты гори, огонек, не тухни,
ты вертись, вертелек» —
мой приказ.

Подошли Длинный Герман и Томас,
и мы пили уже вчетвером
повышающие тонус
мед и пиво,
брагу и ром.

Были мы друг другом довольны —
зарумянившиеся слегка.
Ах, фонарь шестиугольный,
ах, летучая мышь
с чердака!

Нетопырь
в слуховое окошко
вылетал и влетал много раз.
Мудрый филин и хитрая кошка
из аптеки
глядели на нас.

Ах, Балтийское — бледное море,
металлический
отблеск волны,
и на всем, и на всем кругозоре
маяки,
ревуны, ревуны!

«Ты вращайся над пламенем, вертел», —
пели мы... Позабыл я слова.
Не вставал еще на море ветер,
уходили в туман
острова.

Даже улицы были в тумане
от причалов до верхних ворот.
Мы не знали, какая обманет,
а какая
в постель приведет.

Изменялось у нас настроенье
каждый миг,
каждый миг,
каждый миг.
И валились на нас строенья
каждый миг,
каждый миг,
каждый миг.

Так мы шли,
обнимаясь пылко,

то рыдая,
то хохоча,
разбивая пустые бутылки
о серьезный дом палача.

1972

409—412. *ВРЕМЕНА ГОДА*

1

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ

Старые утки здорово
воспитывают утят!
Лётные их маневры
об августе говорят.

Их молодые резервы
в море и в небе ведет
молодости не первой —
первый моряк и пилот.

Трепетный их треугольник
за острова уносим.
Нет им путей окольных —
все в их утиный Рим.

Там только ветер в море,
белой волны гребешок.
Сосны на косогоре
держатся за кремешок.
Там ни сетей,
ни ружей,
там ни ходьбы,
ни езды, —
чайки над островом кружат,
бродят
в брусниках
дрозды.

1973

2

КРУ-КРУ

Словно мальчик своей Веронике,
но не вечером,
а поутру
нежный ворон кричит воронихе,
всё кричит он:
«Кру-кру,
кру-кру».

Будто дудочка из фарфора,
он поет
не для нас,
не про нас —
удивительный этот ворон,
исполняющий романс.

Наступает студеная осень.
Тишина не к добру,
не к добру.
Только лес одинокий разносит
всё «кру-кру»,
всё «кру-кру»,
всё «кру-кру».

1973

3

ЗИМНИЕ МОДЫ

Светло и холодно — зима!
В снегах проспекты ветровые,
в снегах,
как глыбы ледяные,
на красном солнышке дома.

Пылают окна,
блещут стены,

и без уборов головных
стоят в витринах манекены
в парижских
кожушках своих.

1973

4

РАННЕЕ ВСТАВАНЬЕ

На зеленой брусничной опушке,
той, что мягче любого ковра,
как чудесно поет кукушка
в половине шестого утра.

Хороши эти белые ночи,
не страшна возле моря жара.
Долгий день мне кукушка пророчит
в половине шестого утра.

Всех начал, всем надеждам основа,
замечательная пора —
бодрый час — половина шестого,
в половине шестого утра.

1973

413

Уже другие имена,
другие радости сегодня.

Неповторимая весна
листок колышет прошлогодний.

Бедняга ничему не рад,
не видит тысячи усилий.

Он умер век тому назад,
его похоронить забыли.

1973

414

Женщина бежит,
бежит по пирсу,
машет правой,
левою рукой.
Тот, кто с нею только что простился,
отвечает с палубы крутой.

До свиданья!
Будет ли свиданье?
Только пена, пена за рулем.
Увеличивается
расстоянье
между женщиной
и кораблем.

Может быть, от бега сердце бьется,
может быть, предчувствие беды...
Слишком мало пирса остается,
слишком много впереди воды.

1973

415

Едешь,
едешь в поезде, —
темный коридор.
Нет печальней повести
приподнятых штор.

Над лесною местностью
в мире тишины,
в море неизвестности
звезды сочтены.

Всё, что было брошено,
встало вдалеке,
слезы,
как горошины,
на твоей щеке.

Слезы —
как горошины...
Встречный сноп огня:
милый мой,
хороший мой,
не забудь меня.

1972

416. ⟨ИЗ ЦИКЛА «INS GRÜNE»⟩ [1]

Сети в море...
И дежурит чайка
на высоком камешке морском,
будто чайка —
сосенок хозяйка,
намечающихся над песком.

Я иду меж ними аккуратно:
малый всход, прохожий, береги, —
будет вспомнить дереву приятно
осторожные
твои шаги.

1971

417. К ЗАКОНУ О ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ

В молоденький осинник,
в сквозной березнячок
бежит
 наш именинник —
веселый ручеек.

Из ручейков он младших —
лишь этим знаменит.
А солнышко — как мячик,
хотя и не звенит.

---

[1] Ins Grüne (нем.) — вылазки в природу.

Он по ложбинке узкой
бежит своим путем
то рядом с трясогузкой,
то с бабочкой вдвоем.

Бежит он —
малый милый,
доверчивый такой.

Одна шестая мира
над ним — как часовой.

1970

418—421. *ВЕРЛИБРЫ*

1

СОНЕТ ВСТУПЛЕНИЯ

Свободного стиха примета (она других примет важней) — политика антисонета в распоряжении вещей.

И не брани его за это, — среди событий и страстей — не конь-огонь, он — план и смета, не мед, а вертолет, скорей.

Распределенье каждой доли — его и воля, и неволя, и поэтический полет.

Есть у него и недостатки: взмывает он с любой площадки, но, к сожаленью, не поет.

1973

2

МОИ ГЕРОИ

В парадных старых домов встречается надпись «сальве» — «здравствуй».

Когда я читаю «сальве»
в парадных прошлого века,
я, дружески улыбаясь,
приподымаю кепку.

— Здравствуйте, здравствуйте,
ступени судьбы,
истертые штиблетами и сапогами,
исшарканные резиновой
и микропористой подошвой.

— Здравствуйте, здравствуйте,
тихие двери,
а за ними тайны,
которых нет,
а за дверями секреты,
разглашенные поэзией.

— Здравствуйте, здравствуйте,
ящики для писем,
полные надежд и предположений:
Адмиралу землечерпалок [1]
«Техника молодежи»,
Пашеньке-монашенке —
конечно, «Кобета». [2]

— Здравствуйте, здравствуйте,
на дверях записки:
«Звонок испорчен».
Но работает сердце.
Стойкому солдату
стучите в стенку,
моей *восемьдесят* —
восемьдесят пять —
в окошко справа.

Что же касается *дяди Яши,* —
ему ни стучать, ни звонить не надо.
Он переехал с Большой Божемойки
на угол Гомера и Автогенной,
сидит на скамье,
где отстой троллейбусов,
увидит вас:
— Заходите, ребята!

1973

---

[1] Курсивом набраны персонажи стихотворений Н. Н. Ушакова. — *Ред.*

[2] «Кобета и жице» («Женщина и жизнь») — польский журнал.

3

СЕМЕН ПРОХОРОВИЧ

Он был волшебник
и, как все волшебники,
появился ниоткуда.
Он приходил незаметно,
но, как правило,
в преддверии праздников
и в канун
торжеств.

Он был богач,
но, как говорят,
раздарил свои дворцы
уличным мальчишкам,
ключи же от сейфов
затерялись
в бесчисленных карманах
его жилетов и бриджей.

Он был артист.
Он был танцор.
Как Айседора Дункан,
он работал босиком,
но не в академическом театре
имени Петипа,
а, надо признаться,
в доме напротив.

Он был эпикуреец —
и спал на полу,
подложив под голову полено,
но всем дровам
он предпочитал березовые,
как предпочитают
полотняную наволочку
ситцевому напернику.

Он был рыцарь,
но герб его благородства
украшали

не лилии и короны,
а кусок воска и суконка.
Он не участвовал в турнирах,
но варил мастику
и натирал паркет.

Как все волшебники,
он исчез в никуда.
Он ушел незаметно,
но, если знаете его могилу,
наберите
У-60-38-25,
а эпитафия готова:
«Он был человек».

1973

4

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА

Судьба обещала мне
1000 исполненных желаний.
Господи боже! На что
я их только не тратил —
    на шарик мороженого,
    на перо-фонарик,
    на почтовую марку
    острова Борнео!
Однажды я пожелал,
чтоб латинист пропустил урок
и не задал экстемпорале.
И латинист урок пропустил
и экстемпорале не задал.

Исполнилось 500-е мое желанье,
и оставалось ровно 500.

*

А я продолжал их тратить.
Желал я,
чтоб дождь не мешал
нашим прогулкам,
чтоб мой ангел
не промочил копытец,
чтоб валерьянка
была в аптеке.
Однажды я пожелал
поспеть на поезд,
а поезд отходил
через полчаса.
Зубная щетка... есть.
Ночные туфли... обойдусь без них.
— Такси... такси!! —
Я не опоздал.

Исполнилось 950-е мое желанье,
и оставалось лишь 50.

*

Я стал осмотрительней,
стал осторожней.
Я желал
голубю —
не попасть под колесо,
старику —
выписаться из больницы,
солдату —
вернуться с войны.
Но люди умирали от белокровья
и птицы — от нефти с разбитых
танкеров.
Однажды я пожелал не думать
о массированных налетах,
о злокачественных опухолях,

о стихах компьютеров,
но думал, думал:
новое мое желанье не исполнилось —
было оно 1001-м.

1973

422. ВАРИАНТ СКАЗКИ

Был замок на острове голом.
Была королевна в нем.
Однажды она уколола
пальчик веретеном.

Тогдашние лекарства
ей не могли помочь.
Заснуло государство
на бесконечную ночь.

Сказали бы прямо: «Гангрена,
отравленного не тронь».
Но вырос шиповник
и стены
покрыл, как антонов огонь.

Левретки и алебарды
ждут принца,
а принц не спешит.
Спят кнехты,
заснули барды.
Политика не спит.

Барон и его каноник
молчать заставили прях.
Но подтверждение хроник —
шиповник на берегах.

И там,
где теперь регата
скользит над зеленой волной,
стоят под водой фрегаты
с ограбленною казной.

Там принца треуголка,
простреленная насквозь.
Бабочкиным шелком
на принце всё запеклось.

Быть может, сгустил я краски —
всё это лишь анекдот,
но подтверждение сказки
шиповник —
тот, да не тот.

1973

423

Как играет оркестр на параде,
как рыдает оркестр на войне.
Я прошу тебя, бога ради,
улыбнись
на прощание
мне.

Улыбнись мне, моя дорогая,
опираясь на быстрый конек,
Незабвенные «Волны Дуная»
на искусственный
льются
каток.

Вы — Балканы, Балканы, Балканы. . .
Снег колючий и лед — как стекло.
В трудных битвах за братские страны
сколько
воинов наших
легло.

На бетонной танцуя площадке,
различаешь ли вальс тех времен?
Под Мукденом лежат в беспорядке
земляки
без имен
и знамен.

Вы — маньчжурские тихие сопки...
Там — на дальнем пределе земли —
неизвестной топографам тропкой
нас
    японцы
        тогда обошли.

Танцы стали теперь угловаты.
Плавный вальс и манит и зовет.
«Сон осенний», — всё снятся солдаты
под Сморгонью
        пятнадцатый
            год.[1]

Вальсы, вальсы — мое вы мученье, —
бесконечно я слушать готов
задушевные сочиненья
капельмейстеров
        русских
            полков.

1972

424

57 лет назад началась война 1914—1918 гг.

Сумасшедший запах медуницы
прошлое напоминает мне.
    Раскаленный август
    длится,
    длится,
    тощие колосья —
    как в огне.

    Дети подбирают колос в поле,
    в пыльном поле материнский вздох,

---

[1] Жестокие сентябрьские бои, которыми закончилось германское наступление 1915 года.

но никто своей не знает доли
на меже событий
и эпох.

В станционных залах ожиданья
у буфетных стоек, как в печи.
На войну уходят вологжане,
ярославцы
и костромичи.

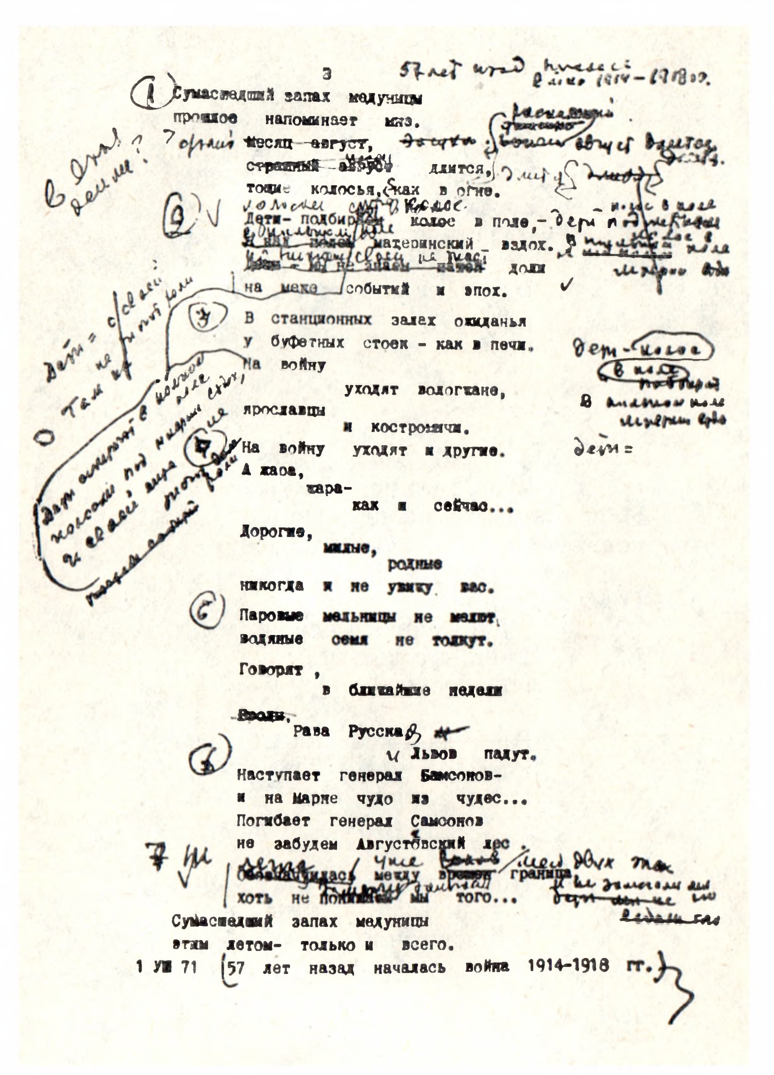
На войну уходят и другие.
А жара,
жара,
как и сейчас.
Дорогие,
милые,
родные,
никогда я не увижу вас.
Паровые мельницы не мелют,
водяные — семя не толкут.

Говорят,
в ближайшие недели
Рава Русская
и Львов падут.

Наступает генерал Самсонов, —
и на Марне чудо из чудес.
Погибает генерал Самсонов...
Не забудем Августо́вский лес.

Но легла между эпох граница,
хоть не замечали мы того.
Сумасшедший запах медуницы
нынче летом — только и всего.

1971



3

Сумасшедший запах медуницы
прошлое напоминает мнэ.
Месяц август,
страшный август длится,
тощие колосья, как в огне.
Дети- подбирают колос в поле,-
И над полем материнский вздох.
Мы - мы не знаем нашей доли
на меже событий и эпох.

В станционных залах ожиданья
у буфетных стоек - как в печи.
На войну
уходят вологжане,
ярославцы
и костромичи.
На войну уходят и другие.
А жара,
жара-
как и сейчас...
Дорогие,
милые,
родные
никогда я не увижу вас.
Паровые мельницы не мелют,
водяные семя не толкут.
Говорят ,
в ближайшие недели
Броды,
Рава Русская
и Львов падут.
Наступает генерал Самсонов-
и на Марне чудо из чудес...
Погибает генерал Самсонов
не забудем Августовский лес .
Обозначилась между времен граница
хоть не поймем мы того...
Сумасшедший запах медуницы
этим летом- только и всего.

1 УШ 71 (57 лет назад началась война 1914-1918 гг.)

Сумасшедший запах медуницы
прошлое напоминает мне.-
~~Август раскаленный все мне снится,~~
снится
тощие поля в огне.

Дети-
~~мы колосья подбираем~~
~~[illegible] колоски к снопам.~~
~~[illegible]~~
~~мы того не понимаем,~~
~~что свершить еще придется нам.~~

В станционных залах ожиданья
у буфетных стоек - как в печи...
На войну уходят вологжане
ярославцы
и костромичи.

На войну уходят и другие.
А жара,
жара,
как и сейчас.
Дорогие,
милые,
родные
никогда я не увижу вас.

Паровые мельницы не мелют,
водяные - семя не толкут.
Говорят,
в ~~[illegible]~~ недели
~~Замберг-Львов /и [illegible]~~ падут.

Наступает генерал Самсонов,
и на Марне чудо из чудес.
Погибает генерал Самсонов.
Не забудем Августовский лес,
и легла между ~~[illegible]~~ ~~этой~~ граница,
хоть не понимаем мы того...
Сумасшедший запах медуницы.
этим детям - только и всего.

1 УШ ~~[illegible]~~.
57 лет назад началась война 1914-18 гг.

425

Сидят портные на столах,
мундиры шьют и шьют.
В саваннах,
джунглях
и песках
идут бои,
идут.
Среди болотистых низин,
среди высоких скал
упал солдат,
другой за ним
споткнулся
и упал.
Лежит солдат — мильон заплат,
прорехи
там и тут.
Хирурги за столом стоят
и зашивают,
шьют.
Винтами вертолет гребет.
Огонь,
огонь вокруг.
Крепись, солдат, но вертолет
не выпускай
из рук.
Пылает топь,
горит скала,
а пули жгут
и жгут.
И нет стола —
одна зола,
а пули шьют
и шьют.
С портного дело началось, —
портной
и виноват.
Идет война и вкривь и вкось. . .
Кто виноват?
Солдат.

1972

426. НАЛЕТЫ УСИЛИВАЮТСЯ

Представьте, —
в грозный час
по разбомбленным трассам
бегут,
бегут от вас
бумага и пластмасса.

Себе представьте, —
тут,
где магистраль дымится,
от вас бегут,
бегут
кирпич и черепица.

И спичек коробок
бежит,
бежит в осинник,
который не сберег
своих просветов синих.

Теряет взрытый мир
тона,
оттенки,
краски.
Смотрите, —
ворон взмыл
с машины типографской.

И снова дикий брег,
и стать рудой металлу:
во всем обратный бег
вещей к их матерьялу.
В ужасный этот час,
среди беды великой
пусть не осудят вас
ни колесо,
ни книга.

1973

427—428. НА ФЛЕЙТЕ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ

1

Всю ночь шел дождь и город плакал,
сливаясь в мутный силуэт.
Всю ночь шел темный дождь,
однако
бродил среди туманов свет.

Он был и резкий и не резкий,
он был далек и не далек,
как будто трогал занавески
машин
скользящий
огонек.

И город полнился зонтами.
На влажные их купола
рожденная за облаками
зарница-зоренька текла.
И всё,
что прежде было мутно,
приобретало грань и тень.
И ночь была,
и стало утро
и начинало
трезвый
день.

1972

2

На массиве,
заселенном
сумраком и тишиной,
красный дождик стал зеленым,
тронув светофор ночной.

---

[1] Строка Маяковского.

По автобусу стекает,
а посмотришь-поглядишь —
вдоль по крышам пробегает,
пробует
железо крыш.

Покидая эмпиреи —
полутени вышины,
правит завязи апреля,
ладит узелки весны.

Репортерскою заметкой
вызванный на эту ночь,
с ветки прыгает на ветку —
новым листикам помочь.

Вот и мне бы,
вот и мне бы
с непокрытой головой
выйти в дождевое небо,
в теплый дождик городской.

Между 1969 и 1973

429. ВСЁ НАШЕ

Всё — наше,
наше,
наше
и вместе с тем — мое,
гектары нив и пашен,
и щедрое литье,
и светлячки в пустынных
лугах, и окна хат...
А на домах-пластинах
фонарики горят.
Горит фонарик зоркий
вблизи и вдалеке...
А ельник на пригорке,
а ласточкины норки —
над звездами — в реке.
Наш — этот берег дальний,

наш — ближней школы двор
и детской готовальни
набор и недобор.
Рейсфедер и кронциркуль...
Но вот уже видны
и кратеры и цирки
той стороны Луны.
А синий — темно-синий,
а черно-синий цвет
расчерчен в сотни линий
дорогами ракет.
Взлетают,
                улетают
туда, в простор зовя,
где в шахматы играют
и небо и Земля.
Так сквозь года и даты,
вдоль чертежей и вех
наш век спешит двадцатый
к нам —
            в двадцать первый век.

1970

ИЗ СБОРНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТ

430. ВОЗВРАЩАЯСЬ ИЗ ТЕАТРА

Трамвай в депо. Недвижны тучи.
От фонаря в деревьях свет.
Ракета линией шипучей
плывет, и вот ракеты нет.

Лишь озаренных листьев сотни
как будто темным тучам дар.

Подтрунивание гитар.
Рукопожатья в подворотне.

Калитка на́ цепь заперта.
И колокольчик нетерпенья,
и дышит, дышит теплота
теней, лежащих без движенья.

1923

431. ВСТРЕЧА

Где найдешь такую степь другую —
воздух свеж от предвечерних рос,
облака уходят на Чугуев,
        и спешит
                за ними
                        грузовоз.

Вот уже он — только шарик ртути,
вот уже невидим,
                а поет.

На шоссе глухую лиру крутит
древний лирник —
тихий пешеход.

Хитрые глаза его навеки
скрыты рыбьей пленкой,
потому
он скрипит о божьем человеке,
и других
не надобно ему.
Он скрипит,
и если бы не эти
грузовозы,
рвущие закат,
было б всё
как будто семь столетий,
словно семь эпох тому назад.
Вероятно,
в этом хитрость многих,
кто глядеть на солнце не готов.

Но как странно —
на одной дороге
видеть столкновенье
двух веков.

1932

432. ГИМН

В краю подсолнуха и льна,
дубовых рощ
и птицы разной
граничила моя страна
с своей соседкой буржуазной.

Сюда же приходил состав
с гербом таинственных соседей.

Он гнал пары, не опоздав,
и к четырем вагонам сведен,
и, пурпуром знамен задет,
на звездном
затихал вокзале:
тьма,
свет,
тьма, свет.
И тьма.
И свет.
И мы приезжих не узнали.
Всё было непонятно в них
и на шахтеров не похоже:
и свитров странный воротник,
и сундучки
вишневой кожи.
Но, видя в небе молодом
бушующие флаги эти,
они запели,
и знаком
был гимн,
единственный на свете.

1933

433. ЛИВЕНЬ ВО ВРЕМЯ ДЕМОНСТРАЦИИ

Гроза наступает.
Раскат за раскатом.
Летит с тополей золотистая вата.
И легкий, и нежный, и свежий их запах
стремится на запад,
на запад,
на запад!

На запад!
На запад!
И плещет над нами
расшитое медными нитками знамя.

И, волосы взвеяв и спутавши зелень,
ливнем и музыкой воздух прострелен.

И, словно пустой,
отзывается камень
под сбитыми в груду
грузовиками.
И влажных знамен
освежающий запах
несется
на запад,
на запад,
на запад.

1933

434. СТЕПЬ

Апрель! Апрель!
Серебряной чертою
разделена земля, и подняты на воздух
стога и скирды, фольварки и пашни.
И степь дрожит озерным серебром.
И вечереет, и скрипят колеса
колодцев,
а колодцы эти —

как бы времен Самсона.
И над ними,
над элеватором,
над дымною толокой,
где жаворонки носятся степные,
то ухнет барабан, то медная тарелка,
то забренчит фанфара.
Снова ухнет
турецкий барабан, и ветерок из Крыма,
а может быть, из Африки летит.
Дыханьем нежным взвеет волосинки,
приставшие к забору, пустит рябь
по лужам за вокзалом, тронет щеки
детей, играющих в хромого маляра,
который выбирает краски.
У весны
такие краски — их не отгадаешь
и вновь заскачешь на одной ноге
по барбарисовой своей дорожке.
Названья краскам нет, и лишь под старость
расскажешь любопытствующим внукам
о милом, но печальном цвете ветра
над оловянной лужицей весны.

И ухает оркестр.
В соседнем клубе
приветствуют доярку пастухи.
И самый старший парень из района,
а может быть из области, твердит
о деле славы, доблести и чести.

О, эта доблесть, эти честь и слава!
Но цвета нет у славы, только после,
когда заскачешь на одной ноге
по жидкому, как вакса, чернозему
и свежая звезда над перелазом
растает льдинкой, потечет ручьем
и в лунной эстакаде вся потонет,
тогда поймешь, что этой славы цвет —
цвет кофточки дояркиной, и юбки,
и цвет платка, и фартука ее.

И все расходятся.
Еще флейтист слюну
из флейты выдувает и в футляр
кладет замолкшую пустую трубку.
Еще серебряное блюдце моря,
подчеркнутое стрелкой Сивашей,
блестит в луне до самого Азова,
Но спит гнилое море.
Тише, тише...
Не разбуди его.
Один бухгалтер
костяшками стучит и ставит цифру
то в ту графу, то в эту.
Ночь.

1933

435

Как бусинка с крестом,
паук
свисал в туман
на паутине,
и раскрывал глаза не вдруг
твой дворик в желтизне утиной.

Свежее ледяной воды,
румяней, чем рассвет пригожий, —
ты недозревшие плоды
раскладывала
по рогожам.
И началось...
Шальной снаряд,
прорвав забор
и сучья брея,
ранет с брезентов
мел подряд
и лопнул ливнем
в галерее.

Смертельной мукой молода —
ты ничего не говорила.

Слепыми пальцами тогда
вокруг ты шарила перила.

И над крыльцом курился дым,
и платье легкое качалось,
но трудный воздух был пустым,
и костыля не оказалось.

И стекла вздрогнули окрест,
и вмиг
рассыпался с налету
над взятым городом оркестр
громами на четыре счета.

Тотчас же люди и дома
познали ритм военной силы,
как бы мелодия сама
движением руководила.

И благовест над головой
басил
торжественно
и ровно.

И комиссаров гнал конвой,
и выпускали уголовных.

(1936)

436. ЧЕРНАЯ ЛАСТОЧКА

Нет, не черные ласточки только
улетают в иные края.
Как бушует по улицам полька,
черепа
палашами
кроя.

Эта музыка за бесценок,
не вступая в особенный спор,

не таких
подкупала паненок
ветерком от малиновых шпор.

Но танцорам неосторожным
угрожает стремительный рейд:
Наводницкий,
Железнодорожный
И Цепной начинают гореть.

Может быть,
и тебе по дороге, —
уходи же
на берег другой,
уноси же
веселые ноги
сквозь бушующий
в фермах
огонь.

Может быть,
крепкий ветер Коммуны
тронул щеки твои
не теплом, —
так беги
за последним драгуном,
уцепясь
за чужое седло.

Улетают не ласточки только, —
так меси
эту липкую грязь,
так пляши
эту черную польку,
за чужую луку
ухватясь.

1933

437. ЭМИГРАНТКА

Как стеклянный плод,
звезда на ветке,
и стучат в оврагах соловьи.

Нехорошею ценой нередко
покупались радости твои.
Шляхтич ли в малиновом [1]
крылатом,
гордостью
подбитом контуше
больше нашего
простого брата
хитрой униатке
по душе?
Или ротмистр,
выходец из морга,
залетевший
слишком высоко,
приманил тебя
пустым от торга,
оловянным
от беды
глазком.
Может быть,
гречанка,
католичка,
спрятав скромный яд себе на грудь,
молится
на каждую капличку,
чтоб нам голову верней свернуть.
Но найдется на нее управа.

А в кустах звезда,
и только тронь —
яблоко ее
на берег правый
упадет,
и вспыхнет Оболонь,

[1] Войска Петлюры снова пришли вместе с поляками весной 1920 г.

и, закрыв глаза,
один на свете
в сто ручьев
зальется соловей.

Может быть,
штыком тебя отметить,
вычеркнув
из памяти своей?

1932

438. МУРАВЬИ

Весь черный собой,
в мураве голубой
встает муравей,
будто поднят трубой.

И черный доспех
на нем и на всех,
и черный шелом
на всех и на нем.

Весь рыжий собой,
в мураве голубой
встает муравей,
будто призван трубой.

И рыжий доспех
на нем и на всех,
и рыжий шелом
на всех и на нем.

И мчится любой
вперед головой, —
недобрый кентавр
в броне боевой.

И рыжий о черный
ударился щит.

Ни вздоха, ни стона, —
война шелестит.

И черное войско,
и рыжая рать,
и рыжие черных
спешат доконать.

Из черных влекут
из чужих волостей
зеленых коров,
черноватых детей.

Копытца, копытца
стучат, шелестят,
домой направляется
рыжий солдат.

Спешит муравой
муравей мировой,
за ним муравей
еще мировей.

1937

439. КЛАДБИЩЕ НА СЕВЕРЕ

Приливы следуют,
отливы. . .
Купцы лежат у самых вод.
Наживы дух нетерпеливый
купцам
забыться не дает.

Над ними чайки всем базаром
среди сетей,
среди оград
взлетают
и кричат недаром —
как будто гнезда их горят.

Как будто их лишают дома
или творится Страшный суд.
К часовне,
к алтарю пустому
пустые шняки пристают.

И к позабытым избам смерти
ведет забытая тропа.
Торчат, как бы знамена, жерди.
И валуны — как черепа.

Всю ночь заря и непогода,
и над задымленной губой
кресты с могил
уходят в воду,
руками разбросав прибой.

Куда деваться бедной рыбе?
Сквозь этот морок и дурман
кладбище на граненой глыбе
в открытый
правит
океан.

1936

440. ФАНФАРНЫЙ МАРШ

Так вот она — радость солдата,
солдатская вот благодать:
фашистское сердце зажато,
попробуйте руку разжать!

Фашистское сдавлено горло, —
кулак разожмется навряд.
Проворные бомбы, как сверла,
сверлят ваше небо, сверлят.

Их грохоты в каждом квартале,
их пламя в седой синеве.

В Берлине уже мы бывали,
но вы не бывали в Москве.

Лесами вы шли и лугами
под тучами наших небес, —
ваш Заячий луг[1] перед нами,
пред нами ваш Пасмурный лес.[2]

От нас никуда не уйдете,
от нас убежать вам нельзя, —
привыкли мы к точной работе,
работают наши друзья.

От Дона, от Волги — Ахтубы
идет всё вперед наш солдат,
на Шпрее голосистые трубы,
фанфары на Эльбе звенят.

Их дружного гула и звона
над миром разлив, да какой!
Да здравствуют наши знамена,
наш ветер сибирско-донской!

Так вот она — радость солдата,
солдатская вот благодать:
фашистское сердце зажато,
попробуйте руку разжать!

1945

441. ЧЕТВЕРКА

Их четверка боевая,
а фамилии бойцов —
Иваненко,
Иванбаев,
Иванидзе,
Иванов.

---

[1] Местность Хазенвайде в Берлине.
[2] Город Финстервальде на Дрезденском направлении.

Не страшили дождь и ночь их,
и немало огневых
вместе подавили точек,
не считая запятых.

Вместе шли они в сраженья
через минные поля,
на узлах сопротивленья
славу поровну деля.

Воевала, дело зная,
та четверка храбрецов —
Иваненко,
Иванбаев,
Иванидзе,
Иванов.

Шли за Нарев, шли за Вислу,
и за Одером-рекой
стало гитлеровцам кисло
от четверки дорогой.

Стало тесно распроклятым —
охватил фашистов страх!
Та четверка в сорок пятом
заскочила к ним в рейхстаг.

Расписалась, боевая,
на стене без лишних слов —
Иваненко,
Иванбаев,
Иванидзе,
Иванов.

И конец войне. Победа!
Все на родину свою —
на Донец, на Каму едут,
на Рион, на Сырдарью.

У друзей такой характер —
полон рот у них забот:

тот — на шахту, тот — на трактор,
эти двое — на завод.

Трудятся, не забывая
сотоварищей-бойцов,
Иваненко,
Иванбаев,
Иванидзе,
Иванов.

1946

442. МОСКВА ДЕРЕВЯННАЯ

Узкие, легкие санки.
Ты хороша, как зима.
Глянешь —
от гордой осанки
многие сходят с ума!

Отрок боярский не волен
в чувствах своих и словах.
Розовый цвет колоколен.
Розовый снег на крестах.

Видишь,
какое раздолье.
Что ж ты молчишь,
отчего?
Что ж в рукавички собольи
душу не примешь его?

Он по Москве деревянной
бродит,
рассудка лишен.
Кровельки — снег мой румяный,
снег
да малиновый звон.

1948

Расскажи народам всем и странам —
как в сорок втором году зимой
ты сквозь ночь,
сквозь бурю
к партизанам
вел свой самолет
на голос мой,
как звало,
как плакало контральто,
радио налаживая связь,
как сквозь горы
черного базальта
в темноту
к тебе
душа рвалась.

— Милый, милый, —
я, радистка, пела, —
снег и сосны,
тихо и темно.
А душа болит и ноет тело,
стужей и войной опалено,
молит лишь о госпитальной койке,
всё в когтях мороза и огня.
Если выжил,
умоляю только —
вспоминай красавицей меня.

1949

444. СЕНТЯБРЬ 1939 ГОДА

Над спокойной улицей Артема,
над осенним Киевом во Львов
с отдаленного аэродрома
самолеты
шли
меж облаков.

В воздухе, уже холодноватом,
пролетали,
                будто в серебре,
над военным комиссариатом,
над грузовиками во дворе,
над призывниками молодыми,
в форму не одетыми пока.

Было небо в серебристом дыме.
Было солнце.
Были облака.
Стыло солнце в тучах светло-серых,
будто сизый дым вставал с земли,
будто в киевских садах и скверах
листья
вот такого ж цвета
жгли.

Был сентябрь характером неровный,
далеко не мирный выпал год, —
к западной сестре единокровной
шел на выручку
                        воздушный флот.

В воздухе катился сыроватом
вслед за быстрым валом
                                быстрый вал
над военным комиссариатом,
где я стенгазету рисовал.

1949

445. СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ

Не сплю,
хоть ко сну меня клонит.
Меж темных осенних равнин
я в лаковом еду ва́гоне —
в международном —
один.

Бессонница мучает зверски.
Проклятое сердце стучит.
Хоть поезд и мчится курьерский,
а будто на месте стоит.

Лежать мне и трудно и тяжко.
Матрасы,
перины,
а в бок
вонзается острая пряжка,
застежка,
кремень — ремешок.

Кладу под лопатки ладони,
трясет —
угодил я на ось.
А прежде и в жестком вагоне
на голой скамейке
спалось.

Возьмешь «Комсомольскую правду»,
подстелешь. . .
Хоть тряска,
хоть гул,
а едешь и тихо
и плавно,
и мягче подушки баул.

Среди лесорубов
под споры,
под храп их заснешь без труда:
какие же, значит, рессоры,
товарищи, были тогда!

1952

446. ГОЛОС ИВОЛГИ

Горький голос иволги накликал
темные
туманные деньки. . .

Вот и кончилась пора каникул, —
телефонные пойдут звонки.

Эдисона я не обвиняю,
но звонок,
второй,
еще звонок...
Вечера прохладные меняю
на полудня странный холодок.

Я умылся,
молока напился:
в 9.30 катер отойдет.
Лоси собираются на пирсе,
старый заяц чемодан несет.

Он живет под современным домом,
я писал уже о доме том...
Небо молнией грозит и громом,
лес задернут
дымом
и дождем.

Сосны,
приготовьтесь к урагану:
с параллели 78-й
и по вашему меридиану
может грянуть ветер штормовой.

Хорошо покачиваться чайке
в синем море,
в небе голубом...
Чайки-чаечки,
меня встречайте
ранним летом
в 72-м.

Чересчур раскаркалась ворона
вовсе рядом,
вдалеке опять.

Сосен круговая оборона
будет вихрю противостоять...

Приняли продукты,
                    сдали тару.
Дольше оставаться мне нельзя.
Теплый вереск,
тихая гитара, —
вам спасибо,
добрые друзья!

Заеньке-носильщику спасибо...
Капитан торопит,
                    шлет за мной...
Море нынче вовсе некрасиво, —
лето снова борется с зимой.

1966, 1971

447

Дождь и солнце... Как поймешь их,
как постигнешь смены их...
Сколько девушек хороших
ходят в черных макинтошах,
вдруг от неба голубых.

Этой — глупенькой, неловкой —
выпал (да какой!) успех,
а вот эта философка
стала дурочкой при всех.

Что наделал светлый лучик,
павший между туч с высот!
Как он мучает,
как учит,
как загадки задает!

1969

На островах цветет сирень —
и весь залив благоухает,
медлительно
переливает
на круглых водах светотень.

И всё полно такой лазури,
такой послушно тишине,
что даже старой мины сурик
не хочет думать о войне.

Как будто кончились утраты,
как будто мы навек вдвоем,
как будто жили не солдаты
в том флигеле,
где мы живем.

1972

ИЗ НЕСОБРАННОГО И НЕИЗДАННОГО

449. БРОНЕПОЕЗД

Октябрь,
и по утрам вода
затянута
непрочною корою,
и каплет дождь,
и лист, и, как всегда,
проходят бронепоезда,
на стыках грохоты утроя.
Площадкой броневой вперед,
к реке,
к обрыву,
к бездорожью!
И тучи очередь порвет,
и вздрогнет мостовой пролет
тяжелой
и зловещей дрожью. . .
Не перейти реки врагу
ни на плотах,
ни в брод,
бредя в воде по пояс,
когда на этом берегу
в осеннюю
седеющую згу
железом пышет бронепоезд.

1923

450. О ЛОШАДИ

Сегодня о верном друге —
О лошади статной и милой, —
Что в ливень, в тумане и вьюге
Из боя меня выносила,
Которая перед атакой
Ладонь языком лизала,
Ходила за мной, как собака,
Как ребенок глупый и малый,
Воровала мои галеты
И сахар хрустящий любила...
Проходило дымное лето,
И осень сырая наступила.
Враги налетели, как птицы,
За седою осенней згою.
Я коню приказал ложиться
И толкнул его тихо ногою.
Я укрылся за теплое брюхо,
Потрепав золотистую челку, —
Только пули царапались сухо
О соседние сосны и елки.
Это было у самой ночи,
И жужжали и пели пули, —
Лошадиные мертвые очи
В глаза мои заглянули.

1923

451. ПОСЛЕДНИЙ ПРИСТУП

На закате
Захлопнется гулко
И тревожно
Чугун ворот.
В темные узкие переулки
Вечерний обход
Идет.
В раскаленном предчувствии ночи,
Озаряя мгновенную тишь,
Взбушевавших пожаров клочья
Замигают по скатам крыш.

И в железобетонной груде
Из-за проволоки
И песка —
Вознесенные жерла орудий
Щурятся на облака.
И грохочут
С неистовым свистом
Сквозь железные
Скрежет и гам, —
Отражая последний приступ
Отступающего врага.

1923

452. ТЕЛЕФОНИСТ

В серебряный рожок
Трубят ветра,
Стеклянная летит и вьется пыль.
В морозный час
Декабрьского утра
Застывший чуть качается ковыль.
Телефонист — закручивай башлык,
Телефонист — известья торопи!..
Телефонист один бродить привык
Средь белоснежной
И пустой степи.
Дышать легко ль холодным серебром?
И не легко
Под ветром коченеть...
Катушка громыхает за бедром,
Размотанная ускользает медь.
А впереди,
Задумчив и высок,
Скрывает
Вражеский разъезд курган...
Телефонист!
Вытаскивай наган,
Медь пуль туда!..
Последнюю — в висок.

1923

453. СОНЕТ

Пусть металлический язык сонета
Фанфарами торжественными крут.
Ни шторм, ни прах, ни время не сотрут
Того, что тягостным резцом задето.

Кто смел сказать с улыбкою про это,
Что розы в мастерской не расцветут?
Литейщика, гравера и поэта
Благословен тройной и трезвый труд.

Тому покорны медленные сплавы —
И оловом и медью величавы —
Кто укротил рдяную круть руды.

Вы дышите тяжелою свободой,
Поэзии бессонные сады
И голубых плавилен садоводы!

1923

454. КАВАЛЕРИЯ

Ветер, свистай,
гикай, —
бешеный, что ни конь.
В небо,
в облако пику
снова лови в ладонь.
Конное это веселье
катится по пути,
пикой —
стальной каруселью —
над головой крути.
Если барьер — через,
молнией пусть летит
щепка, песок, вереск
из-под копыт;

буря косматая скачет,
чубы кидает на лоб:
это
такое значит —
весь эскадрон
в галоп.

1924

455. ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОД

Он хлещет ливнем ледяным,
Грозит сугробом
В хмуром боре
И паровозный клонит дым
На замерзающее море.
Глушит
Из пропасти веков
Броневиков
Тревожным воем,
Глядит задумчивым покоем
Еще не склеванных зрачков.
И снова праздною пургой
В полях запляшет спозаранку,
Чтоб где-то
В стороне другой
Восстать безлюдным полустанком.
Рассеянные по степи —
Мы топчем сонные поляны,
Не бодрствуем,
Но и не спим,
Каким-то исступленьем пьяны.
Сегодня отдых и ночлег,
А завтра вновь и степь и кручи;
А мы летим
Сквозь дождь и снег
И налетающие тучи.

1924

456. ПОЛОТНЯНЫЙ ГОРОД

Снова теплые недели, —
в яркой зелени полей
взволновались, полетели
стаи белых кораблей.
Эта стая — не простая
и белеет неспроста —
это город вырастает
из сурового холста.
Ты гляди, товарищ, в оба,
видишь,
пыль вдали видна —
целый день идет учеба
у станицы полотна.
Скрылось дуло пулемета
в набегающей траве —
это красная пехота
обучается стрельбе.
Слышишь крики, слышишь топот,
слышишь шашек быстрый звук, —
кавалерия галопом
налетела на лозу.
А вдали в дыму и гуле
с предрассветного утра
суетятся у орудий
разбитные номера.

Здесь под вечер на поляне
ляжет медленная тень,
к лагерю придут крестьяне
из соседних деревень.
На площадках, словно в клубе,
что народу! — места нет!
Ветер вечера голубит
легкие листы газет.
И плывет ракета в тучи —
высока и зелена, —
рассыпая сноп летучий
над станицей полотна.

1926

457. ПОДРЫВ

Войска идут без музыки и пенья
На правый берег. В селах и лесах
Бессмысленной дорогой отступленья,
Гоня друг друга, вьются корпуса.

А мост висит и стягивает туже
Два вражеские берега реки.
У этих ферм — восставших дыбом кружев —
Еще стоят и ждут подрывники.

На левом берегу по отмелям, по ивам
На всех рысях спешит к мосту разъезд.
И смотрит мост, как синим переливом
Огонь ползет и шнур смолистый ест.

И ждет конца. Пироксилин и порох
Едва дымят, свое коварство скрыв...
И кажется саперам: каждый шорох —
Как будто начинающийся взрыв.

Огонь скользит, огонь журчит негромко
И до пролета — лишь один вершок...
Удар... и клубья. Вновь удар, и клок,
И вновь удар... и в воздухе обломки.

1926

458. ОБОРОНА

Я люблю наш настойчивый труд
от субботы и до субботы.
Я, проснувшись, люблю поутру
над стихами своими работать.

Я люблю, чтобы, птиц заманя
синевой, желтизной, изумрудом,
припадали к ручьям зеленя
и стояла плотва у запруды.

Я люблю переплавку руды
и далекую лампу в забое,
я люблю, чтобы плыли скирды
золотым кораблем в золотое.

Я люблю, чтоб над горнами тьма
разгоралась неистовым садом.
Я люблю новых фабрик дома,
выходящие в поле фасадом.

Я люблю антрацит и мазут
и почное в лесистом овраге.

*

Грузовозы в «Известья» везут
голубые рулоны бумаги,

над машинкою ясная мать
краснощекого первенца кормит,
паровоз не устал грохотать
и мильоны мешков на платформе,

над ретортами химик склонен
и, задумавшись, ми́р обнимает.

Шум комбайнов,[1] и ветер знамен,
и оркестры под Первое мая.

Если газами встретит война
это всё,—
мы решим без сомненья —
не твоя, не моя в том вина,
не твое, не мое преступленье.

А пока у станков мы,
пока —
пусть взлетают и реют без счета
над землей, над страной, в облаках
наши ласточки-самолеты.

---

[1] Комбайн — усовершенствованная сельскохозяйственная машина, соединение жатки и молотилки.

А пока полетит из гнезда
эта стая веселых пернатых —
мы отстроим свои поезда
в скорострелках, в броне и в плакатах.

И, готовясь, мы будем беречь
по заводам, лугам и квартирам
то,
что наша неточная речь
называет работой и миром.

1927

459

В сугробы уперлись трамваи.
Всё снег —
не выйти со двора.
Недавно встали —
тьма какая,
гляди,
ложиться спать пора.
Но, добрый друг неравнодушный,
ты всё напоминаешь мне
об искорке звезды воздушной,
сверкающей у нас в окне.

1936

460. ГРОЗА

Приподыми свою ладонь,
глаза к зарницам
приучи, —
сперва не обожжет огонь
лучей,
играющих в ночи.
А после
разгорится тьма
и, в белых зорях поседев,

яснее выступят дома
и дымная листва дерев.
И тяжкий ливень
грянет ниц,
смутив бесшелестную тишь,
как будто когти сотни птиц
скребутся
о железо крыш.
Ты окна бледные открой,
внеся
студеную струю, —
пусть этих птиц
полночный рой
ворвется
в комнату твою.
Пускай в сияющем стекле
он будет прядать серебром,
пока во ржи,
пока в свекле
бушует озаренный гром.

1929

461. МАРСИАНКА

Сквозь искры звезд, сквозь тучи пыли,
сквозь все дворы, сквозь все сады
ко мне сигналы приходили
с еще неведомой звезды.

Ты со звезды далекой пела,
меня звала издалека.
Твое серебряное тело
мерцало мне сквозь облака.

Ты сквозь столетья улыбнулась,
и твой угас невнятный свет.
Наверно, радио сломалось, —
и звезд таких на свете нет.

1944

462. ВЕЛИКИЙ ВЕК

Великий век,
                    двадцатый век,
как дивны нам твои усилья!
Приобретает человек
свои стремительные крылья.
Над миром он лететь готов,
высоких выше облаков
огни взбегают бортовые.
Всё дальше,
                    дальше от Земли
он в дальние уходит дали...
Двадцатый
                    славный век,
                                        продли
ты к Солнцу
                    наши магистрали.

1961

463

В пространство мировое посылаем
Мы наши корабли.
        И с каждым днем
Вселенную подробней постигаем
Своим математическим умом.
Есть чертежи.
        Но есть и вдохновенье,
И есть мечта, и говорить — мечте,
И начинается стихотворенье
Об отдаленном пирсе —
                                        на звезде!

1962

464. БЫВАЛИ МЫ

Бывали мы сентиментальны,
трудясь на совесть, не за страх,
и всё ж дороги идеальной
вам не оставили в годах.
Для вас ковров мы не стелили, —
не в тягости, не в лени суть.
По терниям сквозь морок пыли
пройдет и ваш солдатский путь.
И станет и у вас на шее,
как жернов, старое висеть,
и вы узнаете в траншее,
как слезы лить, как песни петь.
Но нас бранить повремените, —
Мы тоже двигали свой век.
Вы образы перемените
и дайте строчке новый бег.
Мы тоже труд свой знали тяжкий,
но легких не чурались снов —
мечта уравновесит чашки
грядущих и былых весов.

1965

465. ОСТОРОЖНО — ЦВЕТЫ!

Всё — и мое и наше,
и планы и дела,
и то, чего не нажил,
но жизнь тебе дала.

С таблицы умноженья,
с таблицы логарифм
летят изображенья
скорее птиц, чем рифм.

В трезвоне, перезвоне
парят они, звенят.
Вот — семечко в ладони...
И на ладони — сад!

Кивает сад ветвями,
цветами шевеля...
Всё — наше перед нами:
и небо и земля!

1971

466. ФУТУРОЛОГИЯ

Уходят философы,
уходят полководцы
Двадцатого века.
У них было время
всё обдумать,
всё обсудить.
Они сделали свое дело.

Но вот говорят: скоро
будут сорваны все ландыши
и не станет капель
конвалярия майалис.
Чем будем лечить
больные сердца?
Как чем?
Мы запретим
рвать ландыши,
как запретили
охоту на тигров.

Говорят: скоро
пересохнут реки,
а от морей
останется морская соль.
Что будем пить?
Как что?
Были бы бокалы —
мы будем пить
шампанское.

Говорят: скоро
так увеличится
народонаселение мира,

что людям не хватит городов,
а в городах зданий.
Где будем жить?
Как где?
Спросим совета у пчел,
освоим
их ульи и соты.

Уходят философы,
уходят полководцы
Двадцатого века.
Придут философы,
придут полководцы
Двадцать первого века.
У них будет время
всё обдумать,
всё обсудить.
Они что-нибудь придумают.

1972

467

Подытожены диковинки
русской северной земли:
по капустникам — часовенки,
над цикорием — кремли.

Всё, что в радости и трепете
отжило свой век давно, —
по горушкам гуси-лебеди,
полотенце-полотно.

Есть у нас село Исаево,
а в селе безбожном том
идол стороны незнаемой,
вырубленный топором.

Рядом Пасхою творожною
на муравке божий храм.

Ну, а небо осторожное —
ливень с солнцем пополам.

Всё крыжовник, всё смородина,
перелески-острова.
Верея да надворотина —
вырезные кружева.

Всё кокошники-наличники.
Мы, сказать тебе позволь,
не христьяне,
                    не язычники —
чай да сахар,
                    хлеб да соль.

1973

468. ПОЕДИНОК

Признаться, рифмы надоели:
без секундантов на дуэли
к барьеру делают шаги...
Сошлись...
                    стреляют...
                                        не стреляют —
друг другу руки пожимают:
навек друзья,
                    а не враги.

1973

469. РОСА

Свет зеленовато-странный —
цвет туманов и лесов.
Бродят по лесу туманы,
будто души рыбаков.

Будто ищут,
в травах шарят,

просят помощи у нас.
Будто в мокрой хвое шарик
загорелся
и погас.

То лампадка — не лампадка,
то обман — и не обман:
между соснами украдкой
зажигается туман.

Будто огонек на мачте
и фонарик бортовой,
будто в память о рыбачке
вспыхнул маячок дневной.

1973

470

Я буду трудно умирать —
сердечко у меня такое, —
я как его ни беспокою,
всё не желает умирать.
Оно всё бьется,
                    бьется,
                              бьется
и день и ночь, и день и ночь,
и в руки смерти не дается,
и говорит ей:
                    — Руки прочь!

1973

471. СЕНТЯБРЬ-73

Резкий холод.
      Ливень.
      Ветер дикий.
Бабье лето только на два дня.

Хунты отвратительные лики
смотрят на тебя
    и на меня.
Тишина...
И лязг и грохот ночью.
Тишина...
И днем страна дрожит.
Президент покрыт крестьянским пончо,
на полу растерзанный лежит...
Он на кладбище — далеком, малом.
Тишина...
И вновь кровавый пир.
Господи, во что бы то ни стало
надо переделать этот мир.
В тюрьмы превратились стадионы.
Местом пыток стали корабли.
И над миром мчится вихрь студеный
с неширокой полосы земли.

1973

472. ВЕРЛИБР V

Ветер. Ветер.
Волны в берег.
А старухи вяжут.
Три старухи вяжут.
    Чуть шевелятся их пальцы,
    чуть шевелятся их спицы.
    Чуть шевелятся клубки.

Шторм. Шторм.
Волны в мол.
А старухи вяжут,
три старухи вяжут —
    голубой пуловер,
    розовый джемпер,
    с оленями шарф.

Девять... Десять...
Все двенадцать баллов...

А старухи вяжут,
три старухи вяжут —
　　тому, кто не выплыл,
　　тому, кто захлебнулся,
　　тому, кто утонул.

А старухи вяжут, —
три старухи скажут:
«В холодное море
кинем старикам —
　　шерстяной пуловер,
　　джемпер пуховый,
　　теплый шарф».

1973

473. СИМОН УШАКОВ

Все поэты пишут о Рублеве, —
ну, а как же Симон Ушаков?
Здесь вопрос не только близкой крови,
здесь уроки множества веков.

В правилах старинных разуверясь,
на иное свой настроив пыл,
впал художник против воли в ересь,
потому что жизни верен был.

Катастрофе благодарен гений,
он растет и зреет вместе с ней —
вне канонов, школ и направлений, —
жизнь живая все-таки важней.

⟨*1973*⟩

474

Мы ходим по корням, им больно, —
у нас топор, коса и серп...
И вскрикнет дерево невольно,
когда больной заденешь нерв.

Не надо попрекать осину —
Иуда, мол, повис на ней.
За штабелями древесины
зеленых вижу я друзей.

Деревья в первый миг свиданья
звенят во все колокола,
печать томленья и страданья —
на них и сердце и стрела.

И дуб отнюдь не меднолобый...
Деревьев верная семья —
от колыбели и до гроба —
твои обычные друзья...

⟨1973⟩

475. ОПЯТЬ «ГЕБЕН»

Нет, не панихида, не молебен,
а машинных отделений гул.
В Черном море ходит крейсер «Гебен»,[1]
покидая навсегда Стамбул.

Он бродил у берегов одесских
и у севастопольских ходил,
был и у кавказских, — немцы в фесках
наш обстреливали ближний тыл.

И уже не та волна шальная
расстилается, уже идет,
пену старины седой смывая,
не пятнадцатый —
семьдесят третий год.

И не панихида, не молебен.
Но могилы стали тяжелей —
на стальной веревке тянут «Гебен»
на глухую бойню кораблей.

---

[1] Немецкий крейсер времен первой мировой войны.

Там разделают его стальную тушу,
переплавят на больших кострах.
Упокой разбойникову душу
если не Валгалла, то Аллах...

Всё давным-давно забыто это —
перед нами мирных сто дорог,
лишь на пятой полосе газеты
поместят случайный некролог.

1973

476. СОЛО НА АРФЕ

Пусть море темное лютеет,
пусть волны-демоны летят, —
уже край неба розовеет,
уже клок пены розоват.

И комнаты повеселели,
ночник не так темно горит,
и радость у твоей постели —
заря рассветная стоит.

Еще исправится погода
и станет море, как стекло.
Еще и в это время года
бывает сухо и тепло.

1951

477. ПОСЛЕ БОЛЬНИЦЫ

Моя Вселенная — мой дом,
и то не весь —
одна квартира.
Что же осталось мне от мира,
который за моим окном?

Остался юг,
остался север,

остались запад и восток,
остались искры в стратосфере
моих надежд,
моих тревог.

Все стороны,
все государства
глядят ко мне в мое стекло.
Не ограничено пространство,
но время,
время
истекло.

1973

478. В ЭСТОНИИ

Вот и кончилось синее лето.
По лесам одни грибники.
Снова вязаные жилеты
и резиновые сапоги.

На другом островке собаки
лают,
лают на облака.
Хорошо б наловить салаки —
маринованная неплоха.
В Старом городе тихо и глухо,
лишь вдали от пустынных вод
над теплом ресторанных кухонь
чаек
    носится
        хоровод.

Мой мышонок озяб не на шутку
на открытом ветрам берегу.
Надевай поскорее шубку!
Ну, давай —
я тебе помогу.

1966, 1973

479. «ПЕЙЗАЖ С МЕЛЬНИЦЕЙ»

Лето жужжит и шевелится
в смене секунд и времен.
Может быть —
это мельница,
может быть —
дракон.

Что за доспехи железные,
лошади бледная масть!
Повесть о пользе полезного
и непонятная страсть.

Славного,
а не ослуха
взял себе рыцарь слугу.
Санчо
на крепкого ослика
грузит
крупчатку-муку.

Будет с гренка́ми яичница,
будет лапша и пирог.
Можно ли ограничиться
радостью
          без тревог?

Есть и драконы и мельницы,
умники и чудаки..,
Лето жужжит.
                    Шевелятся
усики
     и хоботки.

Трогают,
          трогают,
                    трогают,
пробуют каждый цветок.
Лето зеленой дорогою
с медом спешит на леток.

1973

ПЕРЕВОДЫ

С УКРАИНСКОГО

Григорий Сковорода

480

Ой ты, птичка желтобока,
Ты не вей гнезда высоко, —
Вей гнездо в высокой травке,
Вей в молоденькой муравке.
Ястреб крыльями чуть машет,
Над тобой повис на миг.
Он терзает малых пташек,
Вот тебя почти настиг.
Стоит явор над горою
И кивает головою:
Ветры веют, повевают,
Руки явору ломают.
А вербочки шумят низко,
Доброго желают сна.
Ручеек лопочет близко, —
Видно воду всю до дна.
Мысль, что я простого званья,
Не приносит мне страданья.
Пусть того это смущает,
Кто высоко залетает.
Я же в мире и покое
Буду жить да поживать, —
Будет чуждо мне всё злое
И не буду горя знать.

Тарас Шевченко

481

Проходят дни, проходят ночи,
Проходит лето; шелестит
Лист пожелтевший; гаснут очи,
Заснули думы, сердце спит.
И всё заснуло... И не знаю,
Живу ли я, иль доживаю,
Или по свету так влачусь,
Ведь уж не плачу, не смеюсь...
Доля, где ты? Доля, где ты?
По тебе тоскую!
Если доброй жалко, боже,
Дай хоть злую, злую!
Но не дай спать ходячему,—
Спать не просыпаться
И гнилою колодою
По свету валяться.
Дай мне жить, дай жить всем сердцем,
Чтоб людей любило,
А не дашь... так — злости, чтобы
Мир испепелила!
Страшно быть в оковах, страшно
Умирать в неволе,
Но страшней, куда страшнее
Спать на вольной воле —
Умереть и не оставить
Ни следа на свете,
Чтобы люди — жил ли, не жил —
Не смогли ответить!..
Доля, где ты? Доля, где ты?
По тебе тоскую!
Если доброй жалко, боже,
Дай хоть злую, злую!

«Зачем ты ходишь на могилу? —
Ей мать с тоскою говорила. —
Довольно слезы проливать!
Не спится почему опять
Моей голубке сизокрылой?»
— «Так, мама, так». И вновь ходила,
А мать ждала, томилась мать.

— Не сон-трава на могиле
Ночью расцветает, —
То калину на могиле
Невеста сажает,
И слезами поливает,
И господа просит,
Чтоб послал дожди ночные,
Обильные росы,
Чтоб калина принялася,
Распустила ветки.
«Может, прилетит, как пташка,
Милый с того света!
Совью гнездо я милому
Над самою могилою.
Прилечу, и защебечем
На калине с милым.
Защебечем да поплачем
Тихими слезами.
На тот свет летать мы станем
Ранними утрами».
И калина принялася,
Ветки распустила.

И три года на могилу
Невеста ходила.
На четвертый... не сон-трава
Ночью расцветает,
То с калиною невеста
Говорит, рыдает:
«Широкая, высокая
Калина моя,

Не водою ключевою
Ты политая!
Широкие реки — слезы
Тебя полили!
Люди славою лукавой
Меня доняли.
Обижают подруженьки
Подругу свою, —
Обижают румяную
Калину мою.
Обвей мою головоньку,
Росою умой
И ветвями широкими
От солнца укрой.
Поутру меня увидят,
Меня засмеют,
Широкие твои ветки
Дети оборвут».
Утром рано на калине
Пташка щебетала.
Под калиною невеста
Спала — не вставала:
Утомилась молодая,
Навек опочила.

Всходило солнце, людям было
Отрадно, весело вставать.
А мать еще и не ложилась,
Не ужинала — всё томилась,
Ждала свою голубку мать.

483

Вишневый садик возле хаты.
Хрущи над вишнями снуют.
С плугами пахари идут,
Идут домой, поют девчата,
А матери их дома ждут.

Все ужинают возле хаты,
Звезда вечерняя встает,

И дочка ужин подает.
Ворчала б мать, да вот беда-то:
Ей соловейко не дает.

Мать уложила возле хаты
Ребяток маленьких своих,
Сама заснула возле них.
Затихло всё. . . Одни девчата
Да соловейко не затих.

484

Сам удивляюсь. Кто ответит,
Что делать мне, с чего начать?
Людей и долю проклинать
Напрасно. Но как жить на свете
В цепях, в далекой стороне?
Вот если перегрызть бы мне
По силам было цепи эти, —
Грыз понемногу б. . . Так не те,
Не те их кузнецы ковали,
Не так железо закаляли,
Чтоб перегрызть их. Горе нам,
Невольникам и сиротам,
В степи бескрайной за Уралом!

485

Как за подушным, правый боже,
Ко мне на дальней стороне
Пришли тоска и осень. Что же
Придумать, что же сделать мне,
Что мне затеять? По Аралу
Уж я брожу, тайком пишу
И, стихотворствуя, грешу,
И всё, что некогда бывало,
Припоминаю вновь, сначала,
Записываю вновь подряд,
Гоню тоску, чтоб как солдат
Не лезла в душу. . . Стражник лютый
Не отстает ни на минуту.

486

И сонные волны, и мутное небо,
На берегу в далекой мгле
Камыш, как бы навеселе,
Без ветра гнется. Боже! Где бы
Узнать, придется ль долго мне
В моей незапертой тюрьме
Над никудышным этим морем
Тоской томиться, мыкать горе!
Молчит засохшая трава,
Лишь гнется, будто бы жива,
Не хочет правду мне открыть. . .
А больше некого спросить.

487

Хата Катри-Катерины
Хороша, богата.
Приехали запорожцы,
Зашли к Катре в хату.
Один — Семен Босый,
Другой — Иван Голый,
Третий — славный вдовиченко,
Иван Ярошенко.
«Изъездили Польшу
И всю Украину.
И никого не видели
Краше Катерины!»
Один молвит: «Братья,
Если б был богат я,
То отдал бы всё золото
Этой Катерине
За час за единый».
Второй молвит: «Други,
Мне б сильные руки,
Я бы отдал всю их силу
За час за единый
Этой Катерины».
И тут молвит третий,
Говорит он: «Дети,

Всё я сделаю на свете
Для вот этой Катерины
За час за единый».
Катерина задумалась,
Ему отвечает:
«Есть у меня брат родимый.
Гибнет, погибает
Он в Крыму — в неволе вражьей.
Кто его добудет,
Тот, казаки запорожцы,
Супругом мне будет».
Гости разом встали,
Коней оседлали
И за братом Катерины
На юг поскакали.
Один в Днепре сгинул,
Как в темной могиле,
Другого в Козлове
На кол посадили.
Третий, Иван Ярошенко,
Славный вдовиченко,
Из лютой неволи,
Из Бахчисарая,
Брата вызволяет.
Утром двери заскрипели,
Гости входят в хату:
«Вставай, вставай, Катерина,
Встречай, Катря, брата».
Глянула — и отступила,
И заголосила:
«То не брат мой, то мой милый!
Я с тобой хитрила».
— «Ты хитрила!» И Ка́трина
Голова скатилась.
«В хате злой и злая доля,
Выйдем, брат, на волю!»
Поехали запорожцы,
Только ветер в поле.
Катерину молодую
В поле закопали,
А славные запорожцы
В степи побратались.

488

Мне почта вновь не привезла
Желанных писем с Украины...
За грешные мои ль дела
Меня карает бог? Причину
Жестокой кары знать не мне,
А впрочем, бог за что карает,
И знать не так уж важно мне...
А сердце плачет, вспоминая
Печали все в печальном крае, —
Всё, что в родимой стороне
Случалось некогда со мною
В еще недавние года...
Клялись мне в верности тогда,
Кто братом звался, кто сестрою,
А разошлись, как туч гряда,
Друг друга слез не удостоив.
И вот опять на склоне лет
Пришлось людей узнать... Нет, нет!
Бедняги все поумирали:
Холера там, а то б прислали
Клочок бумаги. . . . . .
. . . .
От тоски да от печали,
Чтоб не видеть, как читают
Письма эти, погуляю,
Погуляю я над морем,
Поразвею свое горе,
Украину вспоминая
Да песенку напевая.
Скажет человек — обманет,
А она хитрить не станет;
Обнадежит, успокоит
И всю правду мне откроет.

489

Считаю в ссылке дни и ночи —
И счет им теряю.
О господи, как печально
Они уплывают!

А года плывут меж ними,
И тихо с собою
Доброе они уносят
И уносят злое!..
И не спросят, всё уносят
В дальнюю дорогу!
Не молись, твоя молитва
Не дойдет до бога.

В болотах тусклыми струями
Меж камышами за годами
Три года грустно протекли;
Всего немало унесли
Из горницы моей унылой
И морю тайно обрекли;
И море тайно проглотило
Мое не злато-серебро —
Мои года, мое добро,
Мои незримые скрижали,
На них в часы моей печали
Незримым я писал пером.
Пускай унылыми струями
Текут себе меж камышами
Года невольничьи... А я!
Таков обычай у меня!
И посижу, и погуляю,
На степь, на море погляжу,
Былое вспомню, напевая,
И в книжечке вовсю пишу
Как можно мельче. Начинаю.

490

Я на здоровье не в обиде,
Да только взор мой что-то видит,
Чего-то сердце ждет. Болит
И, как ребенок, что не сыт,
Не засыпает, всё рыдает.
Быть может, сердце ожидает
Времен дурных? Добра не жди,
Не жди свободы невеселой,

Она заснула: царь Никола
Заставил спать. Чтоб разбудить
Беднягу, надо поскорее
Всем миром обух закалить.
Да наточить топор острее —
И вот тогда уже будить.
А то, пожалуй, так случится —
До страшного суда заспится!
Поможет панство крепко спать:
Всё будет храмы воздвигать
Да пьяного царя родного,
Да византийство прославлять,
И не дождемся мы другого.

Иван Франко

491

Сонеты — как рабы. В них мысль зажата
Тисками строк и трепетом объята:
Так новобранца меряют — солдата,
Так новобранцу форма тесновата.

Сонеты — господа. В угоду моде
Мысль предадут, чтоб следовать погоде.
Они цветов великолепных вроде,
Которые бесплодны по природе.

Рабы и господа! Всегда встречают
Друг друга крайности. Несмелы речи —
Ведь сил своих рабы еще не знают.

«Эй, стройся в ряд!» Сомкнув с плечами плечи,
Предстанут, волею одной согреты, —
Живые и могучие сонеты...

492. SEMPER TIRO

Жизнь коротка, искусство бесконечно,
И творчество измерить не дано:
Ты опьяненье видел в нем одно.
Его считал забавою беспечной,
Но безгранично выросло оно,
Твои мечты и душу отобрало
И силы все берет и всё же молвит: «Мало!»
Тобой же сотворенное виденье
Ты неким называешь божеством
И сушишь кровь ему на прославленье,
Твой мозг и нервов сок пред этим алтарем —
Как будто жертвоприношенье;
Твой идол завладел, как подданным, тобою,
А сердце шепчет: «Нет! Сам будет он слугою».

Но шепоту не верь! Не доверяй богине
Поэзии! Она влечет, манит, —
Ты музою пленен, но стал рабом отныне:
Она тебя всего опустошит
И прихотям своим навеки подчинит.
Не верь струне, поющей перед нами,
Что будем мы владеть стихами и сердцами.

Мечтой не возносись, в союз вступая с лирой!
Когда в душе теснится песен рой,
Служи богине честно и порфирой
Не думай заменять наряд простой...
Пусть песня драгоценна, словно миро, —
У жизни на пиру ты скромно стой
И знай одно — poëta semper tiro.[1]

---

[1] Поэт всегда ученик (лат.) (tiro — новобранец, новичок в деле).

493. ТРАГЕДИЯ АРТИСТКИ

Был дивный май. Цвела сирень
И розы у веранды...
Под звоны цитры целый день
Плыл голос панны Ванды.
Он от старанья стал глухим,
Но панна тянет всё же:
Цидрим-цим-цим! Цидрим-цим-цим! —
Всегда одно и то же.

Вот время жатвы. Жнец идет
Под вопли музыканта.
В грозу и дождь, но — знай — поет
На даче панна Ванда,
Весь день поет, а вслед за ним
И ночь, людей тревожа:
Цидрим-цим-цим! Цидрим-цим-цим! —
Всегда одно и то же.

Капусту рубят. Убран сад.
Всё так же — не иначе —
Певица бедная поет
В саду на старой даче.
То с криком пьяным, то с густым
Набатным звоном схоже:
Цидрим-цим-цим! Цидрим-цим-цим! —
Всегда одно и то же.

Мороз и ветер. Снег кругом
Поляны покрывает;
А кто-то в доме нежилом
Бренчит и напевает.
Стал голос хриплым и глухим,
Но панна тянет всё же:
Цидрим-цим-цим! Цидрим-цим-цим! —
Всегда одно и то же.

Пять дней метель секла стекло,
А на шестой устала;
Всю дачу снегом замело,
И Ванда замолчала.

Но дух ее неукротим —
Поет на смертном ложе:
Цидрим-цим-цим! Цидрим-цим-цим! —
Всегда одно и то же.

Промчались многие года!
Всё поросло крапивой,
И не осталось и следа
От дачи несчастливой.
Лишь стонет ночь над местом злым —
Мороз дерет по коже:
Цидрим-цим-цим! Цидрим-цим-цим! —
Всегда одно и то же.

Так почему ж не спит душа,
Печальна и уныла?
О чем покойница скорбит?
Отца ли, мать убила?
И почему всегда с одним
Романсом выступает?
Цидрим-цим-цим! Цидрим-цим-цим! —
Других она не знает.

Леся Украинка

494—497. ⟨*ИЗ ЦИКЛА «ВЕСНА В ЕГИПТЕ»*⟩

1

ХАМСИН[1]

Хамсин, томимый страстью, разгулялся.
Он — рыжий — в небе над Египтом мчится,
Песка своим сухим крылом касаясь,
И обжигает пламенным дыханьем.

---

[1] Хамсин — южный ветер огромной силы, известный европейцам под названием самума. Зимой его не бывает, он начинает дуть весной.

Какая-то неистовая свадьба!
Песок поет, как будто в дудку дует,
Тяжелую нарушив неподвижность,
И, вторя, камешки как в бубны бьют.
Так кто же там, в слепящей желтой мгле,
Затеял править пляску в честь хамсина?
Кто веет покрывалами сквозными,
Кружась так быстро, быстро в легком танце?..
Таинственные нежные плясуньи —
Пустыни скорбной ветреные дети!
«Прикрой глаза! Засыплю, иностранка!»
И тут хамсин плащом своим ревниво
От взора моего закрыл танцорок.
Никто не смеет видеть их. Араб
К земле склонился посреди пустыни,
Как в час молитвы. «Так! Молись! Молись.
Я старый бог, я твой могучий Сет,
Озириса я разорвал на части
И тело разметал по всей пустыне.
Ох, как тогда Изида[1] зарыдала!..»

Былое вспомнив, весел стал хамсин,
И сдвинулась тогда пустыня с места
И в небо ринулась. И в желтом небе
Померкло солнце — помутнело око
Озириса, и сразу мир ослеп.

2

ДЫХАНИЕ ПУСТЫНИ

Пустыня дышит. Ровное дыханье.
Песок лежит — спокойный, золотой.
Но каждая гряда и холм любой
Всё о хамсине здесь воспоминанье.

Феллах трудолюбивый строит зданье, —
Здесь мимолетных иностранцев рой

---

[1] Древняя египетская легенда говорит о том, как злой бог Сет убил доброго брата Озириса и как потом Изида, жена Озириса, искала своего супруга, чтобы оживить его.

Найдет гостиницу и сад густой.
Феллах — могуч: всё — рук его созданье.

Одна беда — оазисы в пустыне
Не для него... Вот он узоры пишет
Под самой крышей... Ткань на нем колышет,

Скользит горячий ветер по холстине,
Пот осушает... дальше по равнине
Летит... опять, опять... Пустыня дышит.

8

АФРА [1]

Тишь и безмолвие. Кажется воздух водою стоячей.
Оцепенели бананы, не вздрогнет их треснувший лист.
Даже мимозы — и те изнывают в истоме горячей,
Млеют без грезы...
Откуда же грохот и свист?

Слышится дробь барабана, трубы раздается звучанье!
Эй, замолчите! Кому эта мука нужна?
Им всё равно! Маршируют, гремят англичане,
Грозно вдоль Нила идут, чтобы вся трепетала страна.

Только прошли, тишина опустилась за ними,
Будто завесой упала огромной, тяжелой, глухой.
Пальмы послушно, печально поникли ветвями сухими, —
Можно подумать, сам бог придавил эти ветви рукой.

Небо от жара белеет и вот уже в пепле седеет, —
День без остатка сгорел в напоенной огнем тишине.
Бледная ночь: темнота растерялась, не смеет
В жгучую тишь снизойти. Ни единой звезды в вышине.

Мир будто мертв. Перед сном не откликнется птица.
Всюду летучие мыши бесшумно шныряют одни,
Будто восток призывает признать тишину и смириться,
Бархатным, тихим крылом тишину умножают они.

---

[1] Афра — тяжелая горячая тишина.

4

ТАЙНЫЙ ДАР

Плачет Египет недолго. Умыл свои ясные пальмы,
Зелень полей плодородных над Нилом слезой окропил,
Возобновил позолоту блистающей светом пустыни
И улыбается снова: таинственны радости Сфинкса!
Вижу, глаза египтянок смеются под черной вуалью, —
Женщин в рабынь превратил Магомет, но глаза их
свободны!..
Песней отечество славят и женщины здесь и мужчины,
Гордые головы их не склонились под ношей тяжелой, —
Будто на них почивают Египта двойные венцы.
В красной одежде идет водонос, и как будто он шутит, —
Чистой водою звенит и желающим пить предлагает,
Сладкую свежую влагу он льет из большого сосуда,
Шуткой приправив ее, улыбается, плату беря.
Нищие дети феллахов шалят, веселятся на солнце,
Глазки горят любопытством. Повсюду головки детей...
Только завидят туриста, бегут за ним, просят подачки.
Дал или не дал — хохочут, как будто им всё нипочем.
Лишь бы тростинка нашлась, а ребята сосут и довольны,
Рады, как будто они государством — богатством владеют.
«Радость откуда такая?» — к себе обращаюсь
с вопросом.
Мысль промелькнула в ответ — словно голос забытой
легенды:
«В дальние те времена, когда Нил родился здесь
в пустыне,
Мать положила его в колыбель и — в роскошной качала,
Нежный отец над ребенком склонился, с небес наблюдая,
Как не по дням — по часам вырастает любимое чадо,
Как набирается сил и несет их уверенно в море...
Нил родился, и к нему поспешили с дарами Гаторы.[1]
Семеро было богинь, и даров принесли они семь.
Первая молвила так: «Я дарю тебе тучную землю».
Проговорила вторая: «Три жатвы отбудешь в году».
Третья промолвила: «Ра[2] никогда о тебе не забудет».
Ветку простерла четвертая: «Это — защита от Сета».[3]

[1] Гаторы — древнеегипетские богини судьбы.
[2] Ра — бог солнца.
[3] Сет — злой бог.

Пятая молча папирус и лотос пред ним положила.
«Тайны свои сбережешь», — прошептала шестая ему.
И, улыбнувшись сквозь слезы, за нею седьмая следила:
«Боги, завидуя детям твоим, обрекли их на рабство.
Дам я народу оружие — полное радости сердце, —
Ни фараон, ни пришельцы не смогут убить в сердце радость».
Так вот в начале веков обещали Гаторы! .. И верю:
Слово премудрых богинь нерушимо во веки веков.

Павло Тычина

498. НА ПЛОЩАДИ

Как на площади у церкви
революция идет.
— Пусть чабан, — все закричали, —
нас на пана поведет!

— Ну, прощайте, ждите воли, —
гей по коням! .. — И кругом
закипело, зашумело —
только флаги за селом...

Как на площади у церкви
голос грустных матерей:
— Так сияй же, ясный месяц,
над путями сыновей.

Как на площади всё тихо, —
сна не превозмочь...
Вечер.
Ночь.

499. КОЖЕМЯКА

Кожи Никита мял —
пришли к нему люди,
пришли в слезах к нему люди:
— Ой, горе, Никита, если б ты знал,

горе, если б ты знал!
Король-змий
людей поборол —
ну, что ты ему скажешь?
«Помилую, лишь кровью натешусь» —
ну что ты ему скажешь?

Стал Никита зол —
глазом не повел, —
двенадцать кож под его руками
хрясь! хрясь!

Пришли к нему во второй раз:
у каждого ноздри вырваны,
у каждого уши отрезаны,
и у каждого губы.
И все загнусавили так:
— Ой, горе, Никита, если б ты знал! —
Задумчив Никита стал —
дурнями их обозвал:
— Вот уж дурни, так дурни,
и когда они переведутся! —
Пришли к нему в третий,
и каждый перед собою вел:
жену без головы,
сына без головы,
и так страшно, так смешно ступали их ноги.

Тут Никита вскочил:
— Все вы безголовы!
Ну и что из того, что я вам помогу?
Вы трижды являлись, чтобы трижды
глупцами остаться —
не можете догадаться!
Где ваши богачи?

— А! — прокатилось — и сразу молчанье.
Раскрылись глаза — и настало молчанье.

— Почему их ноздри не вырваны?
Почему их сыны не порубаны?

— А! — разорвалось — и сразу молчанье.
Раскрылись глаза их — и все догада-

(лилась кровь из мертвых)...
Положили мертвых отдельно.
Живые стали отдельно.
Грянули на богача!

И закипела земля...

Максим Рыльский

500

Как Одиссей, блужданьем утомленный
По морю синему, я — жизнью утомлен,
Прилег под сенью дерева большого,
Зарылся в листья и забыл про всё.

Мелькают мысли или тени мыслей
В полудремоте. Бродит луч в листве,
И пятна света на коре играют,
И муравей, не торопясь, ползет.

И я засну под беззаботный шелест
С надеждой, что меня, играя в мяч,
Прекрасная разбудит Навзикая,
Родная дочь феакского царя.

501. КИТАЕВ

Исчезли облака, растаяв,
И встал над волнами вершин
В курчавой зелени Китаев —
Благоуханный сельский крин.

Сквозь монастырский сумрак цвелый,
Из-под глухого клобука,

Как взоры грешницы веселой,
Смеются годы и века.

Пусть медь печальней панихиды
Сзывает братью в божий дом,
Пускай Евстафия Плакиды
Копье застыло пред крестом.

Пусть к перепуганным иконам
Надежды тянутся людей,
Пускай грозит венцом и троном
Их прорицающий Андрей, —

С простой клюкою пилигрима
Уже не в прежние сады
Влечется тень неудержимо
Григория Сковороды.

502

Когда срезают грозди винограда
Порою лучезарного тепла,
Он с нею встретился. Она из сада
На мулах ехала, как сад светла.

И он спросил: «Скажи, что сделать надо,
Чтоб ты моей, навек моей была?»
Она ему: «Не гаснет пусть лампада
Перед Кипридой». Ветку занесла.

На мулов крикнула, их сон нарушив,
И правый мул забавно поднял уши,
И пыль взлетела — розоватый дым.

И он пошел, исполненный отрады,
И думал: «Хорошо быть молодым,
Когда срезают грозди винограда».

Владимир Сосюра

503. ОСЕНЬ

Черный ворон сидит на могиле,
и дорога на город за ней.
Вот и яблоки с яблони сбили,
и картошку вывозят с полей.

Листья желтые, голые ветки,
синий воздух как будто продрог...
На капустниках гости нередки —
это дети грызут кочанок.

Там, где тополь и вербы над тыном,
там к утру замерзает вода,
по холодным и грустным долинам
так печально гудят провода.

Тучи встанут над синею сенью,
дождь в полях золотых застучит,
хорошо будет ночью осенней
кукурузу румянить в печи.

504. О, НЕ НАПРАСНО!..

О, не напрасно, нет, гремели пушки в поле,
и наша кровь лилась, и шли мы умирать.
О, не напрасно, нет, сама по доброй воле
иконки и кресты с детей снимала мать.

Гул на шоссе шагов... машины перебои,
веселый командир приветствует юнцов...
Как будто старый сон возник передо мною —
в забое, в полутьме под песню обушков...

И девушки идут, и жены выступают,
и детвора бежит, — восторг в глазах горит...
И ночь скрипит, скрипит, промозглая, слепая,
и поднят мрак ее на лезвиях зари...

И не напрасно, нет, гремели пушки в поле,
и наша кровь лилась, и шли мы умирать...
О, не напрасно, нет, сама по доброй воле
иконки и кресты с детей снимала мать!..

Михайль Семенко

505. НА ШПРЕЕ

Уток и чаек стайки, —
черная в Шпрее вода,
сочувствуют уткам и чайкам
бюргеры, как всегда.

С мостов, с балконов под небом
потчуют птицу ту,
и кормятся чайки хлебом
на лету.

Колеблются тени Dom'а
в воде, будто пасмурный дым,
катер с шуцманом снова
чаек подымет с воды.

С улыбкой глядит прохожий
на уток и на поток.
Любуется сколько может,
чтоб пфеннига не потерять
и не отморозить щек.

Микола Бажан

506. ПАПОРОТНИК

Чекан старинный — месяц белоок,
Как бы во сне — всё скрыто пеленою, —
То полумрак урочище лесное
Таинственною влагой заволок,

Полночных жертв колышется дымок:
Перед богами на рядно льняное
Волхвы кладут, склонившись головою,
Добротный мед и сочный свой творог.

Глухая ночь — языческий дурман.
С озер окрестных тянется туман.
И дышит папоротник цвелью странной

В сыром лесу, среди седых полян,
Над свадебными играми древлян
Веснянки молодые несказанны.

507. В ЧУФУТ-КАЛЕ

(Отрывок)

Заметы времен сохранились на плитах:
Разбитые камни безмолвно хранят
Загадочный след колесниц позабытых,
Когорт, караванов, прохожих и стад.
Оставили след в этой дикой природе —
Вспахали шершавый, зернистый гранит
Колес сучковатых большие ободья,
Подковы арабских трезвонных копыт,
Широкая важная поступь верблюда
И небольшие копытца осла.
Толпа беспокойного, жадного люда
Сюда дальних странствий песок занесла.
Здесь след начертали невольничьи ноги.
Невольничья кровь заливала следы,
Ремнями плетей здесь чернели дороги
И греков, и готов, и крымской орды.
Бродил здесь философ, от мирных сандалий
Остались следы, от сапожек купцов,
Ступни мореходов здесь след оставляли
И в шкуре мохнатой ступни бедняков.
Шаги здесь звучали, здесь слышались стоны,
Здесь люди спешили, здесь люди плелись
На рынок и в крепость, на желтые склоны
По желтым ступеням и в желтую высь.
Бранились, мирились, а было тревожно,
В поход уходили, и больше их нет,

Сегодня с трудом лишь заметить возможно
На камне едва обозначенный след.
Тюрьма земляная размыта дождями,
А эти дожди прошумели давно.
И вьется змея между цепкими мхами
Не там ли, где прежде хранили зерно.
И небо пустынно, лишь, прочего выше,
Одни крепостные желтеют врата,
И плесенью своды разверстые дышат, —
Повсюду молчанье, везде пустота.
И вдруг голосок удивительно тонкий,
Безмолвие песней знакомой смутив,
Похожий на вызов — задорный и звонкий,
По-своему дерзкий, — выводит мотив.
И кто же — босой так уверенно топчет
Глухие ступени, сухую траву?
И вот появился. «Откуда ты, хлопчик?»
— «Откуда? Из школы, а здесь я живу».
Сам рыжий, и солнце сияет во взгляде,
Веснушки считает горячим лучом.
А в сумке у хлопчика — книги, тетради.
«Мы вместе с отцом этот холм стережем!» —
И машет над всем городком-государством
Рукою хозяйской, и машет опять,
Как будто таким недоволен пространством:
Подумаешь — царство, а негде играть!
Мальчишке в рубашке из синего ситца,
Курносому, с тонким его голоском,
Ему — ненасытному — как поместиться
В прадедовском мире, в хозяйстве былом.
Веснушчатый мальчик мечтает о многом,
И мальчику тесно такое плато —
Ходить бы ему по далеким дорогам,
Ходить бы ему, где не ходит никто.
Так вот он какой — здешний школьник
и житель!
Как гордо и крепко стоит на земле
Не знающий горя веселый хранитель
Акрополя древнего в Чуфут-Кале!

508. ПЕРЕНЕСЕНИЕ ПРАХА ВАЖА ПШАВЕЛА

Что было раз — тому не повториться.
В Тбилиси ночь была. И был лишь череп твой.
Я с трепетом глядел в твои глазницы —
Лежала в них земля, и сумрак, и покой.

Пустые очи были величавы,
Как своды древние над сном подземных вод.
Как сталагмит медлительно растет,
Так, в водах замерцав, всходила мудрость пшава,
Железистый поток — его гремела слава,
То был тайник скорбей — могучий свод
Пещеры костяной, безмолвной, величавой.

Глядел я сквозь него и в тучах видел дали —
Скрещенья видел я тропинок и мечей,
Дубы скрипели над твоим Чаргали,
Как бы узор на дедовском кинжале —
В графиты скал вчеканен был ручей.
То сновиденья бились в лабиринте —
В мозгу старинном — рыцаря-певца.
И ночь ползла, как барс, по кручам на Мтацминда,
Чтобы взглянуть на кость спокойного лица,
И ветер мужества нам леденил сердца.

И стыдно было нам его страшиться взора.
Он с нами был — суровый пшавский муж.
Он, как песок, растер крупинки мелких душ
И мужество возвел крутой тропою в гору.
Важа, Акакий, Александр, Илья, [1]
Внизу передо мной в огнях гремит земля.
Стихов созвездье встало над Тбилиси,
И кипарисы над камнями тут,
Трехгранные, как бы мечи, взвилися,
И горы ими отдают салют.

---

[1] На горе Мтацминда над Тбилиси похоронены писатели Акакий Церетели, Александр Грибоедов, Илья Чавчавадзе, Важа Пшавела.

Леонид Первомайский

509. ЗЕМЛЯ

Осенняя дорога... мокрый шлях.
Снопы, как мертвецы, лежат в полях.
Куст одинокий на ветру лысеет,
обижены на небо провода.
Как сердце горестное холодеет,
как скорбно завывает телеграф,
как ветер пролетает вдоль равнины,
как солнце угасает, вдруг пропав
за темною границей Украины!

Грузовики во мгле не первый раз,
и не впервые мгла у самых глаз,
хотя не раз уж полыхало пламя,
таинственное небо осветив.
Не раз крылами небо исчертив,
витала смерть у нас над головами,
но знать такой тоски мы не могли,
еще такой не ведали кручины,
как в этот час, когда мы тихо шли
за темную границу Украины.
Ее дороги я и прежде знал...
В ее садах не раз я отдыхал,
здесь дни свои и ночи коротая.
Вилась тропинка посреди хлебов
и в неглубокий приводила ров,
где ключ играл и бормотал, играя.
Ракита наклонялася над ним,
рассвет уже заглядывал в ложбины,
и в небо тихо подымался дым
приветливых селений Украины.

Я вспоминал счастливые лета.
Вокруг, сгущаясь, висла темнота.
Машина с ревом буксовала в луже.
Но ветру и дождю наперекор
я в отдаленье видел милый взор,
хотя погода становилась хуже.

И, в грязь сойдя, я приналег плечом
на борт забрызганной моей машины.
Ревел мотор. Так в поле под дождем
прощался я с границей Украины.

Машины сдвинулись и в дождь ушли.
С дороги поднял я комок земли,
обрызганный осенними дождями...
Лежал он на ладони, не согрет, —
как сердце то, в котором крови нет.
Война блеснула заревом за нами.
Меня шоферский торопил рожок.
Машины я нагнал, и вновь долины
пошли во тьме. Расстаться я не мог
с комком земли родимой Украины.

Ведь это было всё, что о моем
мне говорило радостном былом,
о детстве милом, о степях без края,
о милой речке, о раките той,
которая нагнулась над водой,
как будто бы теченье созерцая
дней юности моей. Земли комок
на сердце я храню. Моей судьбины
не отделит сам беспощадный рок
от всех судеб любимой Украины.

Я пронесу его сквозь все бои,
порывы все и помыслы мои
с ним узами крепчайшими связуя.
Одною жизнью он со мной живет,
как пепел Клааса, мне сердце жжет,
стучится в сердце, сны ему диктуя.
И я, идя дорогой боевой,
дождусь освободительной годины,
когда смогу комок земли родной
вернуть родимым пашням Украины.

А если я в походе упаду
на твердую от стужи борозду,
раскинув будто для объятий руки,
а если не дождусь святого дня

и меж курганов погребут меня,
пусть, словно символ связи, не разлуки,
на сердце застывающем моем,
в могиле средь неведомой долины,
пусть он лежит, не тронутый врагом,
комок земли нетленной Украины.

510

Поэзия — не украшенье,
И не для звонких рифм предлог.
Субстанция стихотворенья
Не в самых строчках — между строк.

Прямое слово — показатель
Неточный здесь, не в этом суть, —
Не каждый здесь соревнователь
Способен душу в стих вдохнуть.

Поэзия — неуловима,
Не зная отдыха и сна,
Ищи ее неутомимо, —
Тебе откроется она.

Ты на горы всходи и кручи,
Срывайся, падай, но вперед!
За проволокою колючей,
За сотни рвов она встает.

Лежи, как пехотинец в поле,
Вставай, вперед, вперед опять,
Чтобы могла на вольной воле
Она меж новых нив сиять.

В пустыне путь ее замечен,
Среди людей тот путь лежит,
И вот — всё обещанье встречи,
Всё о свиданье говорит.

А ветер камыши колышет,
А голос ближе и ясней.
Ее ты слышишь, а не слышишь —
Так нет ее в душе твоей.

511. СТАРОСТЬ

Опять весна, и темные сады
Разбужены порой ее начальной, —
И первые веселых птиц лады,
И теплых тучек первые следы
В глубоком небе тают беспечально.

До осени дорога далека,
И до зимы дней и ночей немало.
Не приводила к гибели тоска,
И горькая слеза любви пока
Мои глаза не слишком обжигала.

В плоды еще не превратился цвет,
Таинственный лишь начал сниться берег,
На смену тьме опять приходит свет,
И мне всего-то восемнадцать лет...
Как жаль, что этому никто не верит!

Евгений Фомин

512—513. *ИЗ АЛТАЙСКОЙ ТЕТРАДИ*

1

ЭЛИКМАНАР

Шумя, перегоняя облака
И огибая кедры и селенья,
Упав, как лента неба, на каменья,
Меж скал стремится сизая река.

Она поет, влечет, она легка,
Как бы мираж, как смена освещенья,
Как удивительное сновиденье,
Продленное на долгие века.

По крутизне, над самою водой,
Мы движемся упорно к нашей цели,
И путь в воде мы наблюдаем свой:

В реке дорога, горы забелели,
Они, как день, неслышно прошумели
И вот уже остались за спиной.

2

КАРАКОЛЫ

Сегодня двигаемся еле-еле:
Тайга и горы, ливень над тайгой,
Грязь, пни и камни — скверный путь какой!
Так где же Караколы в самом деле?

И вот они пред нами, как купели,
Расположились светлою дугой,
И словно день стоял совсем другой,
И сразу мы тогда повеселели...

Мы на озера черные глядим.
Как много тайн — известных только им —
Вода нам открывает ледяная.

И красоту небес, и щедрость гор
Теперь воспринимает каждый взор,
В воде спокойной их рассказ читая.

Андрей Малышко

514. ВОРОН

Он над степью проносился тенью,
Падал, приминая первоцвет.
Ворон нынче справил день рожденья,
Ворону сегодня триста лет.

И не только дали голубели
Перед ним или Днепра затон:
Видел Остраницу он и Хмеля,
Над Полтавской битвой реял он.

Много было битв, и жил он сыто,
Кровью наслаждался и мясцом, —
Перед ним стеною встало жито,
Закрывая старый окоем.

Заволок туман его зеницы,
Он оглох, дрожит, когда сквозь дым
Конница стремительная мчится
Под багряным знаменем своим.

515. УКРАИНА МОЯ

Вновь тебя я зову — что ж ты голоса не распознала?
Вновь откликнись, прошу, молодая, родная моя!
Ветром, может быть, стать, — только тучами небо застлало.
Может, песней позвать, — только где же добыть соловья.

Пепел, пыль и зола по родимым несутся равнинам,
И раина скрипит, и пылает родительский дом.
Ветром быть не хочу, чтоб не падать к ногам лошадиным.
Над бедою твоей не хочу распевать соловьем.

Но тобою дышать, за тебя я бороться желаю,
Вот дорога моя, — и все муки твои я приму,
Все печали твои подыму, молодая, родная,
Заключу в гордом сердце, не сданном в залог никому.

Я пойду, как Микула, согнусь, потемнею от ноши,
Я иссохну от жажды, под грузом не раз упаду,
Но я всё же увижу твой сад — молодой и хороший,
И цветы я увижу в твоем вечно юном саду...

С ГРУЗИНСКОГО

Тициан Табидзе

516

Не грезу ли Грузии целой
Я в песне своей берегу?
Я только тростник неумелый,
Поющий без помощи губ.
Доверься мне. Если б горели
В груди моей сотни сердец —
Все б вырезал их, как свирели,
На радость тебе, мой певец.
И горы Кахетии рады
И тысячи дудочек хор.
И если мне смерть — награда,
Принимаю твой приговор.

С УЗБЕКСКОГО

Алишер Навои

517

У любимой на пиру, милый музыкант, играй.
Книгу горести моей и печали открывай.

Ты рассказывай о том, как страдаю, как грущу.
Ты мелодию тоски вдохновенно исполняй.

Твои струны хорошо прославляют мир иной.
Но сейчас о мире том, я прошу, не вспоминай.

Если струнный инструмент всё не сможет объяснить,
Словом песенным своим инструменту помогай.

Голову мне отруби — может, буду я смелей.
Побыстрей гони коня, свистом сабли опьяняй.

Так настрой свой инструмент, чтоб созвучен пиру
был,
У любимой на пиру от других не отставай.

Не беда, что твой напев вовсе не для Навои,
Слух ценителей других тем напевом услаждай.

518

Двух зубов мне не хватает, но какая это щель!
Жизнь из щели выползает, смерть вползает в эту
щель.

Щели все заделать можно, щели можно заложить.
Кто же эту щель заложит? Не простая это щель.

Как бы ни был осторожен, как бы ни берегся ты, —
Даже краткое мгновенье расширяет эту щель.

Нет, не только дверью смерти представляется она, —
Множество земных печалей проникает в эту щель.

От зубов сто притеснений — вот мой тягостный удел.
Зубы возраст отмечают, дни считает эта щель.

Ближе, ближе срок предельный, грань небытия видней,
Не одни редеют зубы, и глаза — пустая щель.

И, всё выше поднимаясь, скорби и печали дым
Застилает их и мраком наполняет эту щель.

Неустанно, неуклонно сквозь глазницы, меж зубов
Старость с сотнею недугов посещают эту щель.

Навои, к пути готовься — это твой последний путь.
Близкой смерти посещенье означает эта щель.

519

Враг терзает каждый час, каждый миг терзает друг.
Друг как будто бы один, а причина многих мук.

Розы нежные цветут, но у нежных роз шипы.
Я везде ищу друзей — только недруги вокруг.

С пери встретиться своей, сто преград преодолев,
Там, где милая прошла, я целую путь разлук.

Любящий не различит — где неверность, верность где.
Наслаждение мое — всё дела любимых рук.

Колесо своей судьбы можно ли остановить?
Замкнуто кольцо судьбы — заколдован этот круг.

Если не желаешь ты от печали умереть,
Виночерпия зови, пользу знай его услуг.

Навои, ты откажись ради милой от всего,
И свиданье облегчит сердца твоего недуг.

520

Я хочу, чтоб был счастливым и богатым мой народ.
Не вино мне достается — кровь из ран моих течет.

Кто лишь удовольствий хочет, тот не стоит ничего —
Он в зависимость к другому непременно попадет.

Лучше гордым и способным выпить самый горький яд,
Чем из пиалы безволья пить хотя и сладкий мед.

Разве лучше сто красавиц? Разве краше их цветник?
Счастлив тот, кто с милой вместе в бедном шалаше живет.

Сердцем ты не предавайся упоительным пирам.
Привыкай к ночам страданья в хижине своих забот.

Птице хорошо на воле, радуясь, поет она.
Птица в клетке золоченой зерен рабства не клюет.

Лучше щедрым быть и телом собственным кормить собак,
Чем, от скупости жирея, жить, не ведая хлопот.

По дороге к высшей цели ты не мчался на коне.
Вместе с нищим-горемыкой нищета его умрет.

Навои, печальна старость для несчастного того,
Кто в дни юности беспечной жизнь порочную ведет.

Мукими

521. РАННЯЯ ВЕСНА

Опять весна, и зелен сад, цветы со всех сторон.
Друзья, пусть грянет полных чаш веселый перезвон!

Святая дружба — дар небес, она — сердец бальзам.
Когда вокруг тебя друзья, ничем ты не стеснен.

И только я один грущу, один схожу с ума:
Ты улетела от меня, а я в тебя влюблен.

Забыла пери обо мне, заброшен мой цветник, —
Не слышно пенья соловья, лишь карканье ворон.

И если другу расскажу я о беде своей,
Лишь сердце скорбное мое сильней изранит он.

Не порицай своих друзей, а в горы уходи:
В горах ты будешь, Мукими, за всё вознагражден!

522. А ТЫ УШЛА

Ты нанесла мне сотни ран. Они болят — а ты ушла.
Все знают о беде моей, и в сердце ад — а ты ушла.

Ты сердце истерзала мне — скажи, какой же ты султан?
Я ранен, разорен тобой твой султанат — а ты ушла.

Я умираю от любви, насмешка, ложь и клевета
По наущенью твоему меня клеймят — а ты ушла.

Жестокосердная! Гранит и тот бы мягче воска стал,
Увидев, что в бою меня враги теснят, — а ты ушла.

Никто из добрых мусульман средь битвы не бросал
друзей,
Не кончен бой, и тучи стрел еще летят — а ты ушла.

Мне лучше бы не знать тебя, но даже думать я не мог,
Что клевета, позор и стыд меня сразят, — а ты ушла.

Но всё ж, красавица, тебя благословляет Мукими,
Он бедняка бедней — тобой он был богат — а ты ушла.

523. Я РАЗУМ ПОТЕРЯЛ

Я разум потерял, глаза мои горят, —
Пусть люди обо мне поменьше говорят!

Красавица, с тех пор как я лишен тебя,
Я по ночам не сплю! Мечты к тебе летят.

Вздыхаю, и томлюсь, и таю, как свеча,
Которую жара и пламя не щадят.

Пить больше не могу отраву горьких дней, —
Где нежных встреч вино? Где сладкий виноград?

Пишу пером ресниц и черной тушью глаз, —
Услышь меня, услышь лишенного отрад!

Я будто человек, ужаленный змеей,
Катаюсь по земле — и в самом сердце яд.

О виночерпий мой, не обноси меня, —
Пусть на пиру любви я буду пьян стократ.

Ферганца Мукими тебе индус милей, —
Приезжие у нас, как видно, нарасхват.

524. Я ПОЗАБЫТ

Смеется надо мной судьба — я позабыт тобой!
Моя душа — тоски раба, — я позабыт тобой!
Я на ногах держусь едва, — я позабыт тобой!
Как ты жестока, как черства, — я позабыт тобой!
Повсюду обо мне молва — я позабыт тобой!

Идет пирушка у друзей, и слышен звон острот,
Один — плясун, другой — певец, а третий — стихоплет.
Здесь не ударят в грязь лицом — искусный здесь народ!
Но безответная любовь «прости!» любимой шлет,
От горя никнет голова, — я позабыт тобой!

Пора счастливая моя безмерно далека,
Моя судьба тогда была, как мед для языка.
Тогда я созерцал тебя, одетую в шелка,
Тебя я слушал. А сейчас владеет мной тоска.
Печаль достигла торжества — я позабыт тобой!

Я всей душою ликовал, я пел всем существом,
Тоски и горя я не знал — я был с тобой вдвоем,
И взора я не закрывал, ты отражалась в нем.
Моим жилищем был цветник, и пел я соловьем.
Стал одиноким, как сова, — я позабыт тобой!

Кому доверить тайну мне, где мне найти врача?
Я только сердце истерзал, в разлуке жизнь влача.
Но к сердцу твоему не смог я подобрать ключа.
Страдаю, мучаюсь, томлюсь и таю, как свеча.
Любовь без меры такова. Я позабыт тобой!

Мир стал темницей для меня, а был он так широк!
В глаза швырнул мне соли горсть мой беспощадный рок,
И я ослеп, и милой нет, и жребий мой жесток.
Размалывают мне костяк в мельчайший порошок
Судьбы тяжелой жернова, — я позабыт тобой!

Все тернии и все шипы усыпали мой путь.
На все мученья обречен, я не могу вздохнуть.
Ты в книге скорби обо мне прочтешь когда-нибудь.
Я — Мукими — прошу тебя: бесчувственной не будь, —
В той книге каждая глава: «Я позабыт тобой».

С НЕМЕЦКОГО

Генрих Гейне

525

Так что ж это значить может?
Я тайною грустью смущен,
Волнует меня и тревожит
Сказанье старых времен.

Прохладою вечер веет.
Спокойно Рейн течет.
В последних лучах светлеет
Скала над лоном вод.

Там вся в золотом молодая
Волшебница видна.
Коса ее золотая
Рассыпалась, как волна.

Блестит золотой ее гребень,
И песня ее звучит.
Мелодия льется в небе,
Зовет она и манит.

Пловец на лодочке малой
Охвачен дикой тоской.
Забыл о подводных скалах,
На голос спешит роковой.

Его похоронят глуби
В вечерней пучине своей.
Не всякого ли губит
Пение Лорелей?

526

Милый друг, ты полюбил,
И страдальца я жалею.
В голове моей темно,
А на сердце всё светлее.
Милый друг, ты полюбил
И признать не хочешь это, —
Пламя сердца твоего
Выбилось из-под жилета.

527

Трубят голубые гусары,
Уходят в другие края,
И я прихожу с букетом
К тебе, дорогая моя.
От буйных господ мы покоя
Не знали ни ночью, ни днем.
Квартиру они занимали
Даже в сердечке твоем.

Николаус Ленау

528

Месяц тихий ясноокий
В заводь смотрит с высоты.
Растерял среди осоки
Света бледные цветы.
Вышли нá берег олени,
Смотрят ввысь — в простор ночной,
Взмыли крылья в отдаленьи
Над болотною травой.
Взор мой никнет от рыданья,
Пронизало душу мне
О тебе воспоминанье,
Как молитва в тишине.

С ПОЛЬСКОГО

Адам Мицкевич

529. ГРОБНИЦА ПОТОЦКОЙ

В краю весны, как роза молодая,
Увяла ты, и дней печальных рой,
Как мотыльки, исчез перед тобой,
И я грущу, былое вспоминая.
А жарких звезд кочующая стая
Горит вдали над нашей стороной:
Быть может, небо ты прожгла слезой,
Горячий взор к отчизне устремляя.
Мы — земляки! И я, тоской томим,
Умру, где с пилигримом пилигрим
Ведут беседу у твоей могилы.
И путник из родной страны придет,
И я проснусь от звука речи милой,
Которая о нас с тобой поет.

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Варианты приводятся согласно порядку стихов в произведении. После нумерации строк (или строф) указывается источник варианта. Если он не указан, это означает, что источник тот же, что и для предыдущего.

2

перед 1 *ВР*

Город опустел,
обмяк
и казался слабым.

Стыл в предместьи особняк
под казацким штабом.
В нем дрожали стекла все
от колес
и брони.

Генерал три дня висел
там на телефоне.
Хмурил брови генерал,
а в саду за грядками
хитрый партизан играл
с казаками
в прятки.

И прокрался на балкон
(часовых был
целый сад)...
И в гранату вставил он
капсюлю
и целился.
Вздрогнул дом
и застонал
с тихой укоризною,
сонная
вода
зеркал
из багетов
брызнула.

Генерал без чувств,
без сил,
не дождавшись ужина,
руку с трубкой опустил,
смятый
и контуженный.

4

между 20 и 21
ВР

Он знает:
сонное молчанье —
лишь хитрость близкого врага,
и в море ходят англичане,
ощупывая берега.

8

вместо 1—2
ВР

Январь —
он пасмурный
и серый,
он —
горьких ветров властелин.

*

Так умирают инженеры —
друзья внимательных машин.

И нежною
и нужной волей,

9

строфа 6
ВР

А ты пришел сюда —
в тени аллей,
среди могил,
остановись и думай —
о воздухе,
о пухе голубей
и о земле,
ревнивой
и угрюмой.

12

после части 2
КП

Так две свечи
из окон разных,
так две затронутых струны,
так разговор,

почти бессвязный,
уже воскресшего
с больным.

16

строфа 2
КрА

Скольжение, вираж, излом
И пересвист дорожный ветра, —
А после,
Под прямым углом
В пространства...
В тучи...
В километры...

вместо
последн. шести
строк

Республика!
С иных сторон,
Где лишь кочевники бродили,
Мы слышим перелет колонн
Твоих журчащих эскадрилий.
За часом час,
За годом год —
Мы знаем:
В облаках блистая —
С Амура к Висле проплывает
Одна
Торжественная стая.

23

вместо 1—9
КП

Наехали в санях с нахрапу,
собачий подымая гам.
В глухих прихожих
прямо на пол
роняли
шубы
и снега.
А после
из больших бутылей,
не поднимая узких глаз,

27

2

после 62
КП

Река летела, без русла,
Она убогие тряпицы
И чью-то шапку принесла,
И пели в деревнях девицы:
«Ой, половодная вода,
Ты унеси девичье горе

Из речек и ручьев туда,
Где корабли гуляют в море».
Но горе и в воде не тонет,
Вновь к берегам его прибьет,
Рыбак червей несет в ладони
И за плечами перемет,
И у запруды наклонясь,
Заметил он седое тело, —
Оно ушло в траву и грязь
И как бы сгорбившись сидело,
Как будто человек, устав
От непрестанного сомненья,
Учил задумчивый устав
И равнодушья,
и забвенья.
И каждый раз,
когда трава
Раскачивалась над волнами,
Он шевелил едва-едва
Своими вспухшими губами:
«Ой, половодная вода,
Ты унеси лихое горе
Из речек и ручьев туда,
Где нет
ни воздуха,
ни моря».

3

Я знаю —
хлынет наводненье
со всех сторон,
со всей страны,
и встанут старые строенья —
в соленый сон погружены.
И сединой голубоватой
пройдет прохладная волна,
подымет кресла депутатов
в глухих парламентах она.
Весною ранней
и румяной
снег зазвенит
и там,
и тут;
И мостовые, как поляны,
Цветами первыми взойдут.

28

после 4 МГ Ни пристаней, ни вокзалов нету, —
Прямо по компасу в пятерне.

Завтра
бензином налью Комету.
Завтра
твой винт заведу, Дорнье.

Жизни моей страховой полис —
Тетке,
невесте
или кому:
Завтра лечу
на последний полюс —
В полымья зорь,
в ледяную тьму.

Звезды зимуют в снежном севе,
Звезды навстречу вплывают в люк, —
Я улетаю на дальний север,
Шведская шхуна ушла на юг.

Шведскую шхуну
встретил рано, —
К вечеру дело
и нет утра.
Тянется к тучам из океана
Волн промерзающая игра.

Амундсен летал —
вернулся Амундсен, —
Но эта дорога
крута и страшна, —
Может быть, мне никогда не вернуться
Оттуда,
где шалая тишина.

В самую точку поставить надо
Знамя Республики,
а потом
Плитку последнего шоколада
Отогревать посиневшим ртом.

Примус потух,
и жира тюленьего
Хватит всего на один миг, —
Я потянулся с тоской и ленью
В первые заморозки мои.

Звезды кочуют в черной пещере,
Мне, замерзая, на них глядеть.
Белые кости и белый череп
Станет обнюхивать белый медведь.

32

вместо 6—11 ВР

Россия — трудная страна:
цыганкой,
  тройками
    и щами
она по-прежнему страшна;
и бродят тучные мещане.
Ты слышишь треньканье гитар
  и ты на месте сразу замер, —
  когда в глаза твои базар
  взглянул
  заплывшими глазами.
Весна.
  Но чем тебе дышать?
У рундуков на жирном рынке
твоя встревожена душа
  каким-то громом
  под сурдинку.

часть 3 вместо 6—9 автограф

Россия — трудная страна:
медоточивыми речами,
потусторонними очами
она по-прежнему темна
и, словно ангелы, мещане,
и нечем, кажется, дышать
у рундуков на Хитром рынке,

43

2

вместо 32 30 ст.

Были неженками раньше,
а теперь кожух с плеча —
гимнастерка атаманши
и в морозы горяча.

Пышут красным углем губы
в золотой зиме равнин.
  «Побросали немцы шубы,
  и остался ты один.
  Далеко такие села,
  где сенник
  и печь с огнем, —
  на разъезде невеселом
  мы полюбим
  и умрем».

Сердце черным снегом тает
у любовницы в руке.

Лейтенант не понимает
на бандитском языке.

«И любовь и умиранье
здесь на родине моей, —
в ледяной степи игранье
малых звезд
и ковылей.

Два патрона,
яд на случай,
падаль в черном чебреце,
неожиданная туча
у Маруси
на лице».

К Киеву приближались части Красной Армии.

45

часть 1, после строфы 6 30 ст.

(Дождь стекает хмуро
по усам)
Может быть, на турок —
корпуса?
Может быть, удачей
хороши,
по Берлину скачут
ингуши?
Или внука царского
в ночи
тешат по-гусарски
москвичи,
и дрожит над чарой
до утра —
«очи-ночи-чары»
табора?

46

после части 5 автограф

А нам грустить не велено
ни днем,
ни вечерком.
Печаль моя,
подстреленным
кувыркайся чирком.

Мы свежие,
мы с холоду,
в работе не до слез.

*

Блажен,
кто юность с молоду
до старости пронес.

50

конец МГ

Как запомнили белые ночи
по болотцам,
в морошке,
в дыму, —
Как в лесу —
ярославский рабочий
рассказал
о Советах ему.

51

вместо 1—6 МГ

Этих флейт и фаготов заплачка
не вальс — не «Осенний сон», —
у веселых наездниц пачки —
улетающий аквилон.

вместо 41—48

Хорошо на больших вершинах,
где серебряных ветров струя.
Только люди внизу
и машины
и в партере —
любовь моя.

И над нею, на галерее,
нестесняющийся народ,
вопреки золотым ливреям,
леденцы и ранет грызет.

Ах! Любовь моя смотрит строго,
на галерке — веселая «жисть»!
Хорошо —
это сердце трогать,
эти фрукты
и сладости грызть.

54

вместо 1—5 КрН

Профессор из класса выходит
и коридоров —
уезд.
Но что-то неладно в природе
ученых присутственных мест.

вместо 52—61

На старости лет не по чину
ты бродишь один до утра,
уже зеленеют овчины
и стекла
по темным дворам.

Уже ты не ляжешь сегодня
и книги уступишь на вес.

*

Лети же,
цветок прошлогодний,
в зеленое утро
небес.

60

между строками 4 и 5 авторск. экз. 30 ст.

У льдов и воронок
глухая игра —
взлетают вороны
и бродят ветра.

между строками 21 и 22

А берег — он скомкан
и в легкой пыли
сусальной бахромкой
пылает вдали.

строки 27—31 30 ст.

Гремучею кровью
смывая листы,
летите с верховьев
на сонный пустырь.

70

загл., эпиграф автограф

**История села Горюхина,
ныне Октябрева**

(Новейшие времена)

> Прибыв на станцию, с которой должно было бы мне своротить на Горюхино (так называлась наша деревня), нанял я вольных и поехал проселочной дорогой.
>
> *Ив. Петр. Белкин (Старший)*

между строфами 3 и 4

Вводили клюквосеянье:
на станцию в седьмом году
везли по воскресениям
обозы эту ягоду.

85

после строфы 1 автограф

Кто помнил солнечный залив
И смутный остров изобилий,
Где, дом супруга разлюбив,
Друг дружку эллинцы любили.

строфа 4

Кто видел край, где пел поэт, —
Над степью воздух комариный,
Палатки, пестрые перины,
Любовь Земфиры и рассвет.

87

вместо 31—58 КП

даже и в глухое время
    уже слыхал
    подземный гул.
Он к центру наступал
    с окраин,
пока,
    от близких бурь пунцов,
голодным вороньем ограен,
закат дряхлел
среди дворцов.
    Кругом незримо нарастая,
    готовый прогреметь кругом,
    он дул
над царским горностаем
и над купеческим бобром.
А время шло...
     Вы были с теми,
     кто, ветром огневым дыша,
в глубокой,
тихой,
сонной
теми
    толчок грядущий предрешал.
        И Ваше имя тем дороже,
        что на страницах
            Ваших книг
        мы видим признак
        первой дрожи,
        переходящей
            в гром
                и сдвиг.

89

начало автограф

Как русский пейзаж знаком:
смиренная ольха вдоль пашен

да странники.
И вдруг завком
и красный август Карабаша.

вместо 12—18

Он вскрикивал из жирной мглы,
где полночь
тайною
вязала
и визги дисковой пилы,
и свет
со стороны вокзала.
А воздух серой был согрет

после 24

Над всем,
что греет добела
и чванной бедности
не ищет.

*

Не будешь ты
(и не была),
моя страна,
слепой
и нищей.

93

ВК

Москва стоит как бы на месте,
летя вперед.
На Кремль и на его предместья
пурга идет.

Поднявши воротник,
не узнан
никем кругом,
под бой часов глухих и грузных
идет нарком.

Над снегом маятник угрюмый
стучит окрест.
Нарком проходит мимо Гума
в ночной проезд.

Идет он улицею мглистой —
седым путем,
где торговали букинисты
еще лишь днем...

Он, молча, входит в наркоматы
под ритм часов.
Швейцары спят в пустых палатах,
не видя снов.

Он тихо раскрывает двери
        и щурит глаз,
скользит он мимо бухгалтерий
        и мимо касс.

В голубоватых анфиладах,
        среди колонн,
декреты,
        планы
                и доклады
        читает он.

И карандаш его нередко
        сквозь сон и дым
роняет на полях заметки —
        как прах звезды.

Она летит крупинкой света,
        и свет погас.
Нарком зовет уже к ответу
        меня
            и вас.

Что скажем мы?
Что я отвечу
под звон минут?

*

Мой стол раскрыт,
        пылают свечи,
и сладок труд.

98

СП Недалеко
        от камней Пер-Лашеза,
от кипарисов
и плакучих ив,
еще стоит стена,
следы железа
на кирпичах угрюмых сохранив.

Грозой коммуны
        блузники пылали,
но по кварталам городским, страшна,
от туй,
и статуй,
и аллей Версаля
пороховая кралась тишина.

И серые химеры на соборе,
    на балюстраду локти положив,
    глядели вдаль,
    где был Париж,
    как море,
    и кораблями плыли этажи.

И в переулках,
    где троился шорох,
застрекотали
    ружья впопыхах.
    Вошли версальцы,
    и курился порох,
    запутавшись
    в кладбищах
    и садах.

Еще пекарни спали на рассвете,
накрапывало,
тротуар теплел,
дрозды свистели,
а солдаты эти
других солдат
пригнали на расстрел.

Быть может, коммунары при расстреле,
предчувствуя исход борьбы иной,
уйти в кирпич
и стать стеной хотели
и не сумели
сделаться стеной.
И, может быть,
в года военных бедствий,
под дулами версальскими они
свои сердца
оставили в наследство
в другие страны
и в другие дни.

102

вместо 16—31 автограф

Он прошел пятьдесят губерний,
Спал в советах и кабаках.

И встречались столбы верстовые,
И зеленые банды ему, —
Вся ты ляжешь, большая Россия,
В небольшую его суму.

Он непомнящий — это память,
Он без паспорта — в этом власть.

Он на площади перед домами
Станет долго поклоны класть.

На его причитанья и вздохи
Отзовется свинцовая мгла:
Даже псы подбирают крохи,
Падающие со стола.

Вот и капли коснулись ладони,
Вот шумят и покрыли стожар,
И крылечки немецких колоний,
И колеса молдавских мажар.

116

гл. 1
«Повести»

Играя с самого утра,
ходил шарманщик по дворам.
Гроб на цепочке перед дверью
гробовщика
глазел на перья
хохлатой птицы,
и она —
от ненависти зелена —
из ящика брала билетик
для любопытных —
тех
и этих.

Их было много — очередь
успела птице очертеть.
Их было много — трезвых, пьяных:
казак ударил в фортепьяно,
а мальчик обшивал погон
трехцветным шнуром
с трех сторон
и напевал про тихий Дон.
Дробинкой капли целясь в лужу,
погода становилась хуже,
всё это скрипом заключа
жестянки
в форме калача,
и через лужи
конных трое
шахтера гнали под конвоем.
Достигнув рынка,
он бежал...

гл. 2
после 37

По гребню тучи,
зелена,
неслась бесшумная волна

и слушала из волн овечьих,
как шелестит часов кузнечик.

Кричать?
Но лучше не кричать.
Пусть отберут
(и снова шелест)
стакан
и в нем вставную челюсть,
шкатулку с табаком,
кровать,
две запонки
плохого сплава...
И в двери постучали слабо.
Шахтер:
— Товарищ, ищут по заставам
меня,
но я бежал сюда.
Я к вам стучусь,
скажите «да»,
скажите «нет»,
но поскорее!
Ночь в слуховом окне чернеет.

вместо 48

погонят, может быть, меня.
И где-нибудь в грибном подвале
винтовка
и меня повалит.
И в том же погребе пустом
посыплют кровь мою песком.

вместо 72—77

нося по лесенке витой
табак для гостя золотой,
пока,
от конной рубки розов,
не занял город
полк матросов.

вместо 81—82

взял трубку,
обещал писать,
но, может быть, его убили
в Галиции
или Сибири,
или с его письмом вагон
был в груду щепок
превращен.

после 84

Начнем сначала.
На канате
трепался по ветру плакатик.
Под рукомойниками степь
не уставала шелестеть.

Беседа капель
                    быстрых,
                              серых
велась по-прежнему в карьерах.
Кирпичный домик во дворе
стоял в мельчайшем серебре.
Как быстро выдали оружье!
Погода становилась хуже.
Девчонка неизвестных лет
несла ведро с борщом
и хлеб
и скрылась за кирпичным зданьем.
И здесь же родилось восстанье.
. . . .

6

Но было много, слишком много
месивших грязную дорогу,
    свои шинели подобрав.
Дробинкой капли телеграф
стрелял в английское суконце.
Едва угаданное солнце
меж туч,
          стоявших в три ряда,
знать не хотели провода.
Они тянулись вдаль,
провея
мочалой порванного змея.

Так, начинаясь с мокрых пик,
белогвардейский шел пикник,
    вдали кончаясь всем базаром
    немытых девок,
    самоваров,
    курятников...
         И на-гора́
    взлетел он
         с криками «ура».

    Торжествовали юнкера.

7

Когда-нибудь за пять минут
тебя тромбоны отпоют.
И на гражданской панихиде
оратор по наряду
выйдет
и скажет слово как-нибудь,
    что в жизни, а не в смерти суть,
    что жизнь воспринимают разно

у нас
и в странах буржуазных.
И вновь задребезжит оркестр
над хвоей — пальмой здешних мест,
над хвоей
с бантами из стружек.

Погода станет хуже, хуже.
И гроб несут.
И тот охрип.

И этим угрожает грипп.
И в страусовых перьях лошадь
косит,
но сена не предложат.

Ухабы,
ямы
там и тут,
того гляди, перевернут.

И сам покойник понимает,
как стыдно умереть не в мае.

Другое дело у Довженко —
идет расстрел,
стоишь у стенки,
и пули скачут от тебя,
рубашку тихо теребя,
и тыквы радугами светят,
и труп
увозят
на лафете.

Не увозили мертвых этих.

Красноармеец и краском —
они раскинулись крестом.
Росли над ними елки, палки.
Плакатик красный в перепалке
был сорван
и сходил с ума
под грудой разного дерьма.
И голубой, как уголь, ворон
следил за битвой томным вором,
большие крылья оброня
в седую пену воронья.
Он крал глаза,
и эта кража
была ему природы краше.

8

Еще стреляли...
Между шпал
один шахтер не погибал.
Равнина на участке данном
взлетала там и тут фонтаном.
И на шахтера в поле том
бежал солдат с открытым ртом,
    наставя ножик синеватый.
И не было уже солдата.
Но поспевал солдат второй,
    наставя ножик синий свой.
Шахтер свинцом
                их шпарил,
                        шпарил,
пока, пустой отбросив шпалер,
подняв две булавы гранат,
не вышел
        на штыки солдат.
— Не подходи!

Над мелкой лужей
погода становилась хуже,
и вторил трубачом петух,
он от сплошных дождей опух,
он убегал в сырые палки
подсолнуха,
и было жалко
его
и двор,
    который дрог
    под тучами больших дорог.

И через лужи конных трое
шахтера гнали под конвоем.

121

набросок продолжения автограф

Подари мне твой голос на память,
чтобы в жизнь из мечты превратясь,
протянулась навеки за нами
посторонним неясная связь,

чтобы голос мой тихий, негромкий
и сиял, и звенел бы тобой,
словно сорок колец обручальных,
ставших клеткой моей золотой.

131

автограф

ДОМ С КОЛОННАМИ

(Светопреставление)

За жасмином, за скворешней,
что не чинена давно,
меж колоннами завешено,
занавешено окно.

Небольшая плата спрошена,
но немножко не с руки
ждать под крышею хорошею,
где запоры и замки.

Где молчали поколеньями,
где от страха свет поблек,
где учил жену смирению,
как девчонку, муженек.

Где в кольчуге с узким знаменем
богородица глядит,
как сынок ее безвременно
в разные счета зарыт.

Богоматерь с темным отроком
улыбается ему,
и ведут цыганки под руки
сына младшего в тюрьму.

137

автор. экз. II
продолжение текста

Вдоль балки, вдоль оврага
плывут, плывут плоты.
О голубая влага,
о Волга, где же ты?

144

вариант I
автограф

Садовники находят и поныне
стрелу в розариуме между гряд.
Славянская несчастная княгиня
в кукушку обратилась, говорят.

По Киеву ползут степные хмары,
и Кракову грозит смертельный страх.
В доспехах светлых воины Тамáры
и день и ночь дежурят на горах.

И кажется, огонь кипит в колодцах,
и тронулся высокогорный лед.

И кажется, вот-вот земля взорвется
и век за веком лишь сигнала ждет.

вариант 11

Колокола, и Кельн, и в небе лысом
прямая тучка упадает ниц,
над киноварью и над черным плисом
в цветном окне по скатам черепиц.

Розариум весны — второе пламя,
а рыцари уходят на восток.
Они стоят без шлемов в темном храме.
Вот и умолк далекий топоток.

Над Доном и Донцом густые хмары.
Европа начеку, Европа ждет.
В доспехах светлых воины Тамары
идут по снегу прямо к леднику.

Кочевников и темную Европу
она пленила, верно, оттого
как богоматерь или Пенелопу
везде поют прекрасную ханум.

И аналой поэта полон списков.
Поэт творит и обуян мечтой,
он пишет ей акафист, как епископ,
ее обожествляет, словно сван.

Среди дорог и стран средневековья
ее он ищет, странник и поэт,
как крестоносец, раненный любовью,
как не познавший всей услады грек.

За ней хоть в Индию. Иносказаний
он всё плетет, плетет цветную вязь.
Он пишет лишь одно свое признанье
на сотни, на десятки тысяч строк.

К молчанию народ не приневолишь,
его устами говорит народ.
Ах, если б сердце покорить одно лишь,
а не мильон совсем иных сердец.

вариант строф 3—7

Но раздается посреди столетий
повозок и коней нестройный гул.
И в сарацинов уж играют дети —
а вот уже и Фридрих утонул.

А половцы кочуют в Приазовье,
дымят костры, зола перед арбой.
Орды, приманенные свежей кровью,
над русским князем начинают бой.

И всё ползут, ползут степные хмары.
Европа ждет, Европа начеку.
Уже с верблюдами идут татары
по солончаку.

И время оживает на бумаге,
хоть книги перечитаны не раз.
И в полночь льется тихий вальс из Праги
и на столе висит противогаз.

(Вариант во время гибели Чехословакии)

вариант III

Под Акрой рыцари. Степные хмары
вползают в Киев. Краков начеку.
В доспехах ясных воины Тамары
идут по снегу прямо к леднику.

Хорезм великолепный и Европу
очаровал ее открытый ум.
Как богородицу, как Пенелопу
все прославляют мудрую Ханум.

Хоть аналой поэта полон списков
о воинах и женах дальних стран,
он ею бредит, как дурной епископ,
как крестоносец дикий или сван.

Аравия, Китай — иносказанья...
Герои встретятся, в конце концов,
но тысяча шестьсот отборных строф
лишь жаркое его в любви признанье.

Февраль—декабрь 1947

148

строфы 1—2
автограф

Над площадкой для фокстрота
синий с бронзою квартал.
Лист сорвался в позолоту,
тронул прутья и пропал.

Штукатурка минарета
проступает меж ветвей.
Как рябина разогрета!
Ягод тысячи на ней.

157

строфы 5—6
автограф

И что же я поделаю,
взволнованный вконец:
мне снятся руки белые
без перстней и колец.

Хоть мягкие, но точные
простерлись в полусне,
как облачко молочное
глаза прикрыли мне.

160

1

автограф

Волны, волны, зеленя тугие,
вялых водорослей дальний цвет.
Вся самодовольная стихия
лжет в глаза, но разливает свет.

И приподнимает, опускает
плотные, тугие зеленя.
Улыбается, наверно знает,
что в открытом море ждет меня.

2

Всё забыто, ничего не надо,
ко всему уже утрачен вкус.
В бледном море свежесть и прохлада,
тихий, слабый киселек медуз.

Но медузу лучше и не трогать, —
исчезая в пену и туман,
за медузами лежит дорога
в тихий и великий океан.

Тихий и великий... боже, боже,
полутьма, зеленый полусвет.
На кладбище это всё похоже,
на котором памятников нет.

3

Пена, пена — всё без перемены,
всё смеется, всё ей трын-трава.
Если так самодовольна пена,
значит, мир не прав, она права.

Пена, пена, пена в отдаленье
и нетерпелива и светла.

Пена, пена — белое кипенье —
Пена свет у неба отняла.

В плотных водах — сумрак удрученный,
свет печальный, будто мотылек,
будто в раковину заключенный
розовато-синий огонек.

между строф 3 и 4 ВиЗ

А под ней стеклянные глубины,
и на неизвестной глубине
    немцы, наскочившие на мину,
    спят,
а наверху
шумит стремнина
с белой пеной
на любой волне.

181

строфа 4 Зн

Как щетина травы поседела!
Как по-зимнему
рдеет заря!
Всё,
что пламя прибрать не успело,
похоронит
        снежок ноября.

185

между строф 2 и 3 СС

А живые голы, необуты.
Ужас давит их,
беда гнетет.
Год проходит,
как одна минута,
тянется минута,
словно год.

208

СВАНЕТИЯ

автограф

От тоски, от неволи вчерашней
даже нынче не скроешься ты, —
вот и сванские рыжие башни,
а на башнях трава и кусты.

И над башнями легкая хмара,
и на сердце такая тоска

от уздечки царицы Тамары,
от цветного ее сапожка.

От униженных этих угодий,
от свиного помета в пыли.
Даже письма сюда не доходят,
как же мы-то с тобою дошли!

Через скользкие скалы в долину,
через лед под железным дождем.
Как я радуюсь пироксилину,
заключенному в сердце моем.

218

вместо строф 7—9 СВ

Научи за новый век бороться,
Волга, Волга, синие струи.
Слей все ручейки и все болотца
в берега широкие твои.

Прикоснуться к одряхлевшей коже,
Волга, Волга, не сочти за труд,
чтоб мне стать на пять минут моложе,
заглянуть вперед на пять минут.

Плавными волнами, как руками,
в грудь вложи мне веру молодых,
чтобы не считать друзей — врагами,
посторонними не звать родных.

Возврати мне этот мир огромный,
чтобы был он мне, как прежде, мил,
чтобы ночью, даже самой темной,
он сиял и, как магнит, манил,

чтобы та, которая мне милой
остается и на склоне дня,
за мое брюзжанье не бранила
и, брюзжа, не мучила меня.

231

вместо 1—4 «Огонек»

И этот прутик-хворостинка
на вечереющем лугу,
и эта зябкая скотинка,
глядящая
в туман-реку.

Стоит и смотрит:
что такое?
что там светлеет?
Ничего.

274

вместо строф 3—5 автограф

темные омуты,
дерзость в чести...
Вечно не дома ты,
вечно в пути, —

вовсе азартная,
стыд невпопад, —
Русь бесплацкартная —
старый солдат.

Вор да монашенка
(деньги при ней),
галки на башенках
мокрых церквей.

(Зорь полыхание
в далях сырых.
Даже в Тасмании
отблески их).

Даль мутно-белая,
сырость-грибок.
Всё переделаем,
дайте лишь
срок.

342

автограф

Говорят, что, в этом мутном иле
находя покой и благодать,
города в болота уходили,
так, что звонниц было не видать.

Говорят, едва нагнешься с гати, —
сквозь купавы видишь вдалеке
белое лицо в угрюмом плате,
крестик кипарисовый в руке.

Говорят, что здесь над жидкой почвой
панихиды слышались окрест, —
так что ямщики возили почту
не по этой гати, а в объезд.

Главный инженер, отведав хины,
тоже был немало удивлен,
услыхав над маревом равнины
жалобный заупокойный звон.

Как прошли сюда локомобили?
Как не проглотила их земля?

Что это, узкоколейка или
черный торф положен в штабеля?

Что это — фургоны? Полевая
кухня варит, жарит и печет.
Мы лазурной нефтью поливали
листья — зеленцу стоячих вод.

И летят с цветов пушистых нити,
словно наших наступлений весть.
Старицы святые, не звоните —
у меня сегодня 36.

347

автограф

Опять волны широкий ропот,
и проплывает вдалеке
самовлюбленная Европа
на аспидном своем быке.

В его глазах тоска и ревность,
ее глаза весны ясней, —
пускай похищена царевна, —
беда стряслась совсем не с ней.

вместо 7—11

В его глазах тоска и ревность, —
плывет, не видит ничего.
Рука похищенной царевны
коснулась черных губ его.

Она похищена, так что же!
Был слеп от ярости, так что ж!
Ведь блеск руки на черной коже
так удивительно хорош.

348

автограф
начало

За оградой кружевною
две могилы в ряд,
там не муж лежит с женою,
не с сестрою брат.

Так кого ж мы проводили
на клади́ще вновь?
Дружба спит в одной могиле,
а в другой — любовь.

349

перед строфой 1
автограф

Мы твоих вечеров не забыли,
яблонь улица — Альмазар!
Любопытствуя, автомобили
смотрят в рощу очами фар.

вместо строф
2—5

Тюбетейки, мешки, одеяла...
Рядом с юношей старая мать.
А цветами весна заиграла
нежно-красному шелку под стать.

И над всей азиатской весною,
в синем куполе, синем везде,
льется радио песней цветною,
эту песню сложил Шейхзаде:

«Стремится конница вперед,
воздушный вылетает флот,
артиллерист снаряды шлет,
мы победим, вперед, вперед».

377

вместо 3—29
автограф

Ты, ундина моя, интриганка,
возникаешь над пенной волной.

Над асфальтом роняешь ты руки,
вновь скрываешься в бездне зыбей,
мне суля все отрады, все муки
в белоснежной купели своей.

Опрометчивого снисхожденья
не суля, возникаешь опять.
Нереида, мое положенье
невозможно завидным назвать.

Мимо лавочек и рестораций
я бегу, всё бушуют струи,
день и ночь бесконечные длятся
икарийские игры твои.

378

автограф

1

(Ничего я тревожней не знаю, —
в виноградники льется она, —
в черных тучах играя, ныряя,
голубая, сквозная луна.

Лишь мускатов и лавров дыханье
золотое, тугое на вкус.
Различаю одни очертанья
кипарисов, кладбищ и медуз.

Только волны серебряным хором
повторяют далекий призыв;
лишь русалка плывет из Мисхора,
Айтюдорский маяк потушив.

Чтоб слепила рыбачьи фелюги
голубая ее чешуя,
чтоб мерцали холодные руки,
белоснежные руки ея.

Чтоб по трапам, опущенным в глуби,
шли матросы на дно при луне,
чтоб она, никого не голубя,
только муки дарила одне.

Только муки за полную цену,
только муки, от муки бледна.
Я и сам бы сошел в эту пену,
да как раз закатилась луна).

2

От Мисхора до Сары все пляжи,
все причалы, все камни видны.
Только руки, как крылья лебяжьи,
различаю при свете луны.

Лишь одно, как сквозь гроздь винограда,
вижу море, и кажется мне,
нереида, ундина, наяда,
ты глядишь на меня при луне.

Говорят, молодые поморки
так в глаза своим милым глядят,
чтобы самый из них дальнозоркий
затупил в долгом взгляде свой взгляд.

Предоставим влюбленным поморам
в их полярные игры играть.
Но зачем за серебряным флером
предо мной ты на юге опять.

Ты из сказочных, видно, амфибий,
если так и стройна и бела,
лишь на хвост опираясь свой рыбий,
предо мною предстать ты могла.

Если даже среди плоскогорий
и пустынь, озаренных луной,
всё я вижу зеленое море
и тебя под зеленой волной.

3

Почему вместе с чайками пена
подымается, в небо летя?
Почему ты рыдаешь, сирена,
разве ты потеряла дитя?

Как пустынно, безлюдно на пляже,
всех война разогнала вконец.
Я не твой, я не сын тебе даже,
не такую любил мой отец.

Опустели Харакс и Алупка,
крест бумажный на каждом стекле.
Что же ты, нереида-голубка,
притаилась на дне да во мгле?

Видишь, транспорты мечутся в море
и торпедные бьют катера.
Погулять на веселом просторе
и тебе, дорогая, пора.

Видишь, влагу разрезала мина
и как будто бы цель неплоха.
Выбирай же, невеста-ундина,
помоложе себе жениха.

380

автограф

Рожь, ячмень на косогоре,
да телега, да рассвет,
да в твоем веселом взоре
не вопрос и не ответ.

Скачет пара удалая,
покатился тарантас...
Ты не добрая, не злая,
а такая — в самый раз.

Не ундина, не наяда,
не тоска, не благодать,
а такая, что не надо
о тебе упоминать.

Всё, что было, только случай,
но остался на шоссе

огонек звезды падучей
в среднерусской полосе.

Догорела папироска,
теплый пепел оброня.
Где ж ты, белая березка,
где вы, милая моя?

И, поля ржаные, где вы —
всё идет на память мне
романтическая дева
на таврической волне.

439

1—5
«Лит. современник»

Купцы и фактористы.
Что же
тревожит мертвецов слепых?
Мы вычеркнули их, положим,
из поминальников своих.

И только чайки всем базаром...

ПРИМЕЧАНИЯ

На протяжении почти полувека литературной деятельности Н. Н. Ушакова (1899—1973) вышло в свет 36 стихотворных сборников поэта, а после его смерти еще два — «Якоря земли» (1974) и «Три книги» (1974), подготовленные к печати им самим.

Ушаков всегда придавал большое значение композиции своих поэтических сборников. «Каждой своей книгой, — писал он, — я старался сказать что-то иное, новое для себя... Вообще я стремился работать книгами, а не сборниками, составленными из разрозненных, взаимно не связанных стихотворений. Каждая книга для меня — нечто целое, со своим кругом вопросов и поэтических ответов на них». [1]

Готовя в последние годы жизни собрание своих сочинений в четырех томах (куда должны были войти также и проза и теоретические работы писателя по вопросам поэтического мастерства и стихосложения), Ушаков, как свидетельствует найденная в его архиве рукопись, остался верен этому принципу: два первых тома рукописи составляют приведенные почти целиком его основные сборники: «Весна республики», «30 стихотворений», «Календарь», «Горячий цех», «Мир для нас» и т. д., с сохранением структуры каждого из них.

В последней прижизненной книге поэта «Мой век» (1973), явившейся самым полным из избранных собраний его стихотворений и составленной по аналогичному принципу (рубрики соответствуют названиям основных сборников), расположение стихотворений внутри сборников было изменено самим автором — главным образом по причине сокращенной публикации этих сборников: «Мой век» был для Ушакова лишь очередной книгой — «со своим кругом вопросов и поэтических ответов на них», и отнюдь не замышлялся как итоговое и достаточно полное издание его сочинений. Таким изданием должно было стать неосуществленное четырехтомное собрание сочинений, рукопись которого дает вполне определенное представление о системе авторского отбора и компоновки текста. Сохранившийся проект задуманного издания (в его стихотворной части) и положен в основу настоящего сборника. Кроме раздела «Основное собрание», представляющего соответствующие книги стихов поэта, в данном издании имеются еще два раздела: «Из несобранного и неизданного» и «Переводы». Оба они сформированы со-

[1] «О Николае Ушакове. Статьи, очерки, воспоминания», Киев, 1977, с. 209.

ставителями, стремившимися познакомить читателя со всеми сколько-нибудь значительными гранями поэтической работы Ушакова, в частности и с его переводческой деятельностью.

Так как Ушаков успел провести работу только над составом и композицией собрания своих сочинений и тексты, судя по характеру машинописи и наличию неисправленных опечаток, остались им невыверенными или выверенными не до конца, все произведения в настоящем издании приводятся по тем изданиям, где авторская работа над текстом была закончена.

Даты написания, помещенные под стихотворениями, как правило, принадлежат автору или определены по его хронологическим указаниям, нередко весьма своеобразным. Дело в том, что Ушаков зачастую прибегал к двойным датам (через тире), обозначающим отрезок времени (иногда очень длинный — в 2—3 десятилетия), на протяжении которого складывался текст. Изучение архива писателя показывает, что такие даты отражают индивидуальную особенность его творческой работы, для которой характерно многократное обращение к тексту. До тех пор, пока поэт продолжал что-то менять в нем, даже если менялись отдельные слова или разбивка строк, стихотворение считалось «в работе».

В настоящем издании даты двойные (через запятую) означают наличие двух существенно различающихся редакций текста, разделенных значительным промежутком времени (более года). Если время написания установить не удалось, указывается дата первой публикации (в угловых скобках) или предположительная дата (со знаком вопроса).

Во всех случаях — кроме тех, когда из-за недостаточной разработанности газетной и журнальной библиографии это установить не удалось, — в примечаниях указывается первая публикация каждого произведения, а также последующие ступени изменения текста в печати и, наконец, источник, по которому этот текст приводится. Если же стихи поэта не перепечатывались или перепечатывались без изменений, отмечается только их первая публикация, которая служит и источником текста. Звездочка перед порядковым номером примечания отсылает к разделу «Другие редакции и варианты». Пояснения малоупотребительных слов и мифологических имен вынесены в Словарь. Для произведений Ушакова характерно обилие географических названий, нередко обозначающих и вехи военной истории. Подобные реалии (кроме улиц, местностей и достопримечательностей городов) также объясняются в Словаре.

При подготовке настоящего издания впервые сделана попытка использовать материалы большого и еще не изученного архива поэта, хранящегося в Киеве у его вдовы Т. Н. Ушаковой-Белогорской. В частности, приводятся выдержки из записей, имеющих характер автокомментария и важных для понимания творческой лаборатории поэта.

Условные сокращения, принятые в примечаниях и в разделе «Другие редакции и варианты»

БСП — Николай Ушаков, Избранные стихи. «Библиотека современной поэзии», М., Гослитиздат, 1936.

ВГА — Н. Ушаков, Вдоль горячего асфальта. Роман в 3-х частях, М., «Молодая гвардия», 1965.
Веснодв. — Николай Ушаков, Веснодворец. Стихотворения, Киев, Держлітвидав Украины, 1962.
ВиЗ — Н. Ушаков, Восток и Запад. Военные стихи, Киев — Харьков, Держлітвидав, 1941.
ВК — «Вечерний Киев».
ВМ — «Вечерняя Москва».
ВПН — Н. Ушаков, Вершины перед нами. (Стихи). М., «Советский писатель», 1951.
ВР — Николай Ушаков, Весна республики. Стихи, М., «Молодая гвардия», 1927.
ГзГ — Николай Ушаков, Год за годом. Стихотворения, Киев, Гослитиздат Украины, 1956.
ГЦ — Николай Ушаков, Горячий цех. Стихи, М., «Советская литература», 1933.
ДН — журнал «Дружба народов».
Ед — Николай Ушаков, Единство. Избранные стихи, Киев, Гослитиздат Украины, 1951.
ЕТС — Николай Ушаков. Есть такая сторона. Стихотворения и поэмы, М., «Художественная литература», 1965.
Зв — журнал «Звезда».
Зн — журнал «Знамя».
Избр. 1 — Николай Ушаков, Избранные стихотворения, М., Гослитиздат, 1935.
Избр. 2 — Николай Ушаков, Избранное, Киев, Гослитиздат, 1949.
«И новый день, и век иной» — Николай Ушаков, И новый день, и век иной. Стихотворения, Киев, «Дніпро», 1967.
К — Николай Ушаков, Календарь. Стихи, М., «Молодая гвардия», 1933.
«Киев» — Николай Ушаков, Киев. Стихи, Киев, Держлітвидав, 1936.
«Кобзарь» — Тарас Шевченко, Кобзарь. Перевод с украинского. Под редакцией М. Рыльского и Н. Ушакова, М., «Художественная литература», 1939.
КП — «Комсомольская правда».
КПр — «Киевский пролетарий».
КрА — «Красная Армия».
КрЗ — «Красная Звезда».
КрН — журнал «Красная новь».
Лет — Н. Ушаков, Летопись. Стихи 1941—1944, Киев, Гослитиздат Украины, 1946.
Лир — Н. Ушаков, Лирика, М., Гослитиздат, 1961.
ЛГ — «Литературная газета».
М — журнал «Москва».
МВ — Николай Ушаков, Мой век. Стихотворения, М., «Художественная литература», 1973.
МГ — журнал «Молодая гвардия».
МдН — Николай Ушаков, Мир для нас. Стихи, М., Гослитиздат, 1935.
«Мои глаза» — Николай Ушаков, Мои глаза. Стихи, Киев, «Молодь», 1972.
«Мы будем жить» — Николай Ушаков, Мы будем жить. Стихи, Уфа, «Союз писателей Украины», 1944.

НМ — журнал «Новый мир».
НП — Николай Ушаков, Новые путешествия. Стихи, Киев, «Радянський письменник», 1948.
О — журнал «Октябрь».
П — Николай Ушаков, Путешествия. Стихи, М., Гослитиздат, 1940.
«Повести» — Николай Ушаков, Повести. Пятая книга стихов, Харьков — Киев, «Література и мистецство», 1933.
ПрД — Н. Ушаков, Правое дело. Стихи о войне, Ташкент, Гослитиздат Уз. ССР, 1942.
ПрП — «Пролетарская правда».
ПСУ-36 — «Поэты Советской Украины в переводах Николая Ушакова», Киев, Держлітвидав, 1936.
ПСУ-41 — «Поэты Советской Украины в переводах Николая Ушакова», Киев, «Радянський письменник», 1941.
Р — журнал «Радуга».
СВ — Николай Ушаков, Свежий вечер. Стихи 1950—1955, М., «Советский писатель», 1955.
СП — Николай Ушаков, Самое простое. Стихи, Киев, «Коммуна писателей», 1931.
«Состязание в поэзии» — Николай Ушаков, Состязание в поэзии. Разведка спором. Воспоминания. Портреты. Теория поэзии. Искусство перевода, Киев, «Дніпро», 1969.
СС — Николай Ушаков, Северное сияние. Стихи, М., «Советский писатель», 1947.
ст-ние — стихотворение.
Т — Николай Ушаков, Теодолит. Стихи, М., «Советский писатель», 1967.
«Три книги» — Николай Ушаков, Три книги. Стихи и переводы, Киев, «Дніпро», 1974.
30 ст. — Николай Ушаков, 30 стихотворений. 2-я книга, М. — Л., ГИХЛ, 1931.
ШЛ — Т. Шевченко, Лирика, М., 1960.
Ю — журнал «Юность».
ЯЗ — Николай Ушаков, Якоря Земли. Стихотворения. 1969—1973, М., «Советский писатель», 1974.
«Я рифмы. . .» — Николай Ушаков, Я рифмы не боюсь глагольной. Стихи, М., «Советский писатель», 1970.

От книги к книге. Автобиография была написана в 1962 г. и переработана в 1970 г. для изд. «Советские писатели. Автобиографии», М., 1972, с. 634—640, по тексту которого она здесь и печ. В архиве поэта хранится несколько вариантов автобиографий под загл. «Радость стихосложения» и «Творческая автобиография». *Герой... романа.* В архиве поэта сохранилась ученическая тетрадь с началом романа (без гл. 1); там же и ст-ние о Бородинской битве. *«Россия».* Ст-ние было напечатано в ПрП, 1924, 24 июня. *Костров* — см. прим. 262. *«Кладбище паровозов».* О ст-нии см. также прим. 11. *Коренев* Г. Е. (1906—1960) — поэт. *М. Серебрянский.* В автобиографии ошибка: редактором газеты был З. Л. Серебрянский (р. 1900). *Гус* М. С. (р. 1900) — критик, публицист. *Волкович* А. С. (1897—1937) и *Длигач* Л. М. (1904—1949) — поэты и переводчики. *Нежинцев* Е. С. (1904—1942) — поэт. *Сац* С. Н. (ок. 1895—1942) — поэт,

литературовед. *Турганов* Б. А. (р. 1901) — поэт, переводчик. *Юрков* И. В. (1904—1929) — поэт. *Кто смеет говорить о смерти* и след. цитаты — из ст-ний Ушакова «Весна республики», «Мастерство», «Советский часовой», «Лирика». *Воронский, Казин* — см. прим. 398. *Уткин, Багрицкий* — см. прим. 262. *Голодный* М. (1903—1949), *Дементьев* Н. И. (1907—1935), *Алтаузен* (Джек) Я. М. (1907—1942) — русские советские поэты. *Внизу Черкасский Малый* и т. д. — из ст-ния Ушакова «В газетном кабинете». *Гринченко* Б. Д. (1863—1910) — украинский писатель, историк, этнограф, автор «Словаря украинского языка» (тт. 1—4, 1907—1909), отмеченного премией Петербургской Академии наук. *Капиев* Э. М. (1909—1944) — дагестанский советский писатель; ему принадлежит основная масса переводов на русский язык стихов С. Стальского. *Уйгун* — см. прим. 261. *Мукими* — см. прим. на с. 704. *Сулейман Стальский* (псевдоним Гасанбекова, 1869—1937) — лезгинский ашуг, народный поэт Дагестана. *Леся Украинка* — см. прим. на с. 701. *Коцюбинский* М. М. (1864—1913) — украинский писатель. *Головко* А. В. (1897—1972) и *Яновский* Ю. И. (1902—1954) — украинские советские писатели. *Первомайский* — см. прим. на с. 702. *Эмин* Е. (наст. имя Магомед-Эмин, сын Севзихана, 1838—1884) — лезгинский поэт. *Тычина* — см. прим. на с. 701. *Рыльский* — см. прим. на с. 701. *Эйзенштейн* С. М. (1898—1948), *Пудовкин* В. И. (1898—1953), *Довженко* А. П. (1894—1956) — кинорежиссеры. *Гриффит* Д.-У. (1875—1948) — американский кинорежиссер. *Китон* Б. (псевдоним Д. Фрэнсиса, 1896—1966) — американский комический актер и кинорежиссер. *Яннингс* Э. (1884—1950) — немецкий актер театра и кино. *«Парижанка»* (1923) — фильм Ч. Чаплина (1889—1977), *«Броненосец „Потемкин"»* (1925) — фильм С. Эйзенштейна.

ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

ВЕСНА РЕСПУБЛИКИ

Первая книга стихов поэта открывалась предисловием Н. Н. Асеева (см. его текст во вступ. статье к наст. изд., с. 8). В архиве Ушакова имеется экземпляр ВР с автокомментариями к стихам, сделанными, очевидно, в середине 30-х гг. Эпиграфы к разделам: I — из ст-ния Ф. И. Тютчева «Цицерон», II — из ст-ния И. Ф. Анненского «Черная весна» и «Евгения Онегина» (гл. 7) Пушкина, III — из ст-ний Н. Н. Асеева «Россия издали» и И. Сельвинского «Алло! Русь» (первоначальная редакция).

1. КП, 1926, 17 октября. Печ. по ВР, с. 9. В автокомментарии: «Задумал ночью, возвращаясь мимо разрушенных казарм на Б⟨ульварно⟩-Куд⟨рявской⟩. Тут же возникли первые стр⟨оки⟩: «Великопостный смутный плач». Трубач жил рядом на Б⟨ульварно⟩-Куд⟨рявской⟩ в то время, когда я был еще гимназистом. Строки о жаворонках взяты из поэмы «Кровь на снегу» (905 г.), написанной в 1925 г. и уничтоженной. Казину нравился конец. Рубановский (зав. худ. отделом «Мол. гвардии») цитировал эти строки наизусть

и предполагал написать статью о быте в моей лирике. В стихотворении чувствуется Анненский — „Черная весна“».

*2. МГ, 1926, № 11, с. 104. Печ. по МВ, с. 19. В автокомментарии: «Написано по заказу «Красноармейца», в 1926 г. (Москва), но вышло для массового журнала слишком сложно. Напечатано в «Молодой гвардии»... Уткин хвалил. В редакции... стихи, повидимому, не очень понравились. О зеркалах взято из Коцюбинского («Фата-Моргана»). «Дождь дымился в эту ночь» — и все до конца — воспоминание о дежурстве домкомовском в ночь на 25 октября 1917 г. Моросил дождь, большевистские броневики обстреливали казначейство. Ночь я не спал — был в домовой охране. К утру мы глазели в щелки забитых досками ворот. Казаки и юнкера уходили на Дон. Таяло. Для Киева день был замечателен тем, что воевали красные с белыми, а победили желто-блакитные. Они вырыли два окопика с обеих сторон Гимназической и там отсиживались». Желто-блакитные — правительство контрреволюционной Центральной Рады, которое в октябре 1917 г. предательски захватило власть в Киеве, но уже 8 февраля 1918 г. было изгнано из Киева. Желто-блакитными называли на Украине буржуазных националистов (по цвету желто-голубого флага).

3. «Новый ЛЕФ», 1927, № 3, с. 25. Печ. по МВ, с. 23. В автокомментарии: «Кончил в VII 1926 г. Писал около года, долго и мучительно. Сперва «их командир» должен был повеситься. Ковалевский («Нова генерація») сказал, что такой конец мелодраматичен. Прочел я ему «Зеленых» на репетиции в клубе железнодорожников... Следовательно, первые варианты были написаны до ноября 1925 г. Начинались стихи иначе. В январе 1926 г. все время мне не давали покою строки: «на понизовьи картофель цвел... губерния пахла патокой». Радовался свежести пейзажа. В июне 1926 г. присоединил все провинциализмы и сделал концовку. Комиссар Шталь, студент, убит в г. Середе Яросл⟨авской⟩ губ⟨ернии⟩ зелеными в 1919 г. Был приблизительно сенокос, значит, после Петрова дня. Зеленые при появлении Крас⟨ной⟩ артиллерии, ехавшей от Буколова и Середы, бежали без оглядки по 20 верст и более. Предводительствовал ими некто Озеров, легендарный для Ярославской губернии тип. Говорили, что он являлся на базар и говорил с милиционерами переодетый женщиной, предупредив милицию о своем присутствии на базаре. Он ушел от ЧК через окно своей избы. Не думаю, чтобы он бежал в Персию, — Персия взята мною, как контраст для Вологды».

*4. КрА, 1923, 25 декабря; ВР; Лир. Печ. по МВ, с. 21. В автокомментарии: «Прожектор с моря, обшаривавший сухие и красные откосы Одессы, всегда производил на меня впечатление чего-то таинственного, казался неким тайным наблюдателем и шпионом».

5. ПрП, 1924, 9 марта. Печ. по МВ, с. 26.

6. МГ, 1926, № 6, с. 64. Печ. по ВР, с. 23. В автокомментарии: «Этому предшествовало стихотворение «Кавалерия», напечатанное

в январе 1924 г. в «Красной Армии». В «Молодую гвардию» стихи взял Асеев». *Под Варшавой.* В мае 1920 г. белопольские войска захватили Киев, но уже в июне Красная Армия освободила Киев, значительную часть Западной Украины и вступила на территорию Польши. Решающую роль в разгроме белопольских интервентов сыграла 1-я Конная армия.

7. КрН, 1926, № 7, с. 124. Печ. по ГзГ, с. 54. В автокомментарии: «Сохранились в памяти одесские бурые скалы и нежные сады 9-й станции, тралеры на горизонте... Багрицкий стихи эти бранил и был прав. Это было первое стихотворение, помещенное в «Кр⟨асной⟩ нови». Казин сообщил мне об этом на лестнице Дома Герцена. Воронский забраковал «Зеленых» и выбрал «Есть от полыни переход...» — это характерно для В⟨оронского⟩».

***8.** ПрП, 1924, 3 февраля, под загл. «Траур машин», с другим началом; ГзГ. Печ. по МВ, с. 28. Написано ночью 30 января 1924 г. *16 часов 27 января 1924 года* — день и час похорон В. И. Ленина.

***9.** «Красноармеец», 1926, февраль, № 82, с. 12. Печ. по МВ, с. 30. В автокомментарии: «Написано, а не выхожено — за один присест без всяких помарок. Асеев жалел, что стихи эти пошли в «Комсомолии». Он хотел взять их для «Мол⟨одой⟩ гвардии». Приятно было слышать от М. Петкевича ⟨троюродный брат Ушакова, летчик⟩, что «Ты входишь в сад...» читал один из летчиков на вечере Серпуховской ⟨летной⟩ школы». *На этой тихой и простой могиле* — могила летчика в Киеве в б. Мариинском парке.

10. ПрП, 1924, 6 апреля. Печ. по МВ, с. 32. В автокомментарии: «Никифоров ⟨очевидно, писатель Г. К. Никифоров⟩ удивлялся, что можно написать стихи даже и о буксах. Асееву стихи не нравились».

11. ПрП, 1923, 9 декабря. Печ. по МВ, с. 33. В автокомментарии: «Под Киевом у п⟨оста⟩ Волынского было грандиозное кладбище паровозов — тянулось оно почти до Святошина. Но кладбище паровозов вошло в мое сознание в тот момент, когда один из рабкоров назвал этот полный образности термин. Стихи писал на другой день после встречи с рабкором, побывав вечером на концерте («Патетическая симфония» Чайковского). Этому стихотворению предшествовало другое об осени, кончавшееся:

И ты жила, и я недаром жил —
И жить устало суетное тело, —
Благодари, что наша кровь кипела
И клокотала по канатам жил.

Как обычно, хорошее стихотворение всегда имеет такого спутника».

***12.** КП, 1925, 18 октября; Лир. Печ. по МВ, с. 35.

13. ПрП, 1924, 13 апреля. Печ. по МВ, с. 45. Американский изобретатель Т. А. *Эдисон* (1847—1931) в молодости, чтобы иметь воз-

можность заниматься своими изобретениями, зарабатывал на жизнь в качестве разносчика газет.

14. ПрП, 1924, 16 марта. Печ. по МВ, с. 38. Ст-ние написано после вечера в киевском Пролетарском доме искусств (12 января 1924 г.), на котором выступал Маяковский. Ушаков впервые здесь услышал поэта. В автокомментарии: «„Лошадь“ его меня потрясла». *Пел... Лазаря* — жаловался на судьбу.

15. ПрП, 1924, 17 февраля. Печ. по ВР, с. 45.

* 16. КрА, 1923, 27 октября, др. ред., подпись: Н. Печ. по МВ, с. 41. В автокомментарии: «Написал, сдав юриспруденцию, после длительного творческого поста. Писать хотелось необыкновенно. Мои одесские оды помогли мне в создании производственных моих од».

17. ПрП, 1923, 18 ноября. Печ. по МВ, с. 40.

18. ПрП, 1924, 6 января. Печ. по МВ, с. 42.

19. КПр, 1926, 1 января, под загл. «Двадцать шестой»; ВР. Печ. по МВ, с. 43. *Волховстрой* и *Шатура* — первые электростанции, построенные по плану ГОЭЛРО в начале 20-х гг. Публий *Овидий* Назон (43 до н. э. — 17 н. э.) — римский поэт.

20. НМ, 1927, № 3, с. 21. Печ. по МВ, с. 47. В автокомментарии: «На Пасху в 25 году ездил в Одессу. Под Киевом робко наступала весна, а у Одессы над глухим серым известняком товарной станции, над предместьями нежно цвел абрикос. Зелени еще не было. В Ялте в 1926 году гостил Миша ⟨М. Петкевич⟩. Рассказывал о пикирующем полете: «Лошади с ума от него сходят». Блестящая фраза и воспоминание о весне дали толчок к стихотворению, которое мне самому еще не успело надоесть и в 1931 году».

21. КрА, 1923, 10 апреля. Печ. по ВР, с. 61.

22. КП, 1927, 13 февраля; «Киев». Печ. по Лир, с. 35.

* 23. КП, 1927, 1 января. Печ. по ВР, с. 64. *Лоэнгрин, Эльза* — герои оперы Р. Вагнера «Лоэнгрин».

24. «Новый побут», 1926, 8 марта. Печ. по ГзГ, с. 40.

25. «Факел», 1925, № 4, с. 2, под загл. «Уборщица». Печ. по БСП, с. 37. В автокомментарии: «И. В. Юрков ⟨киевский поэт⟩ утверждал, что мелодика «Уборщицы» заимствована из его стихотворения «Кинопоэма». Я защищался на собрании Центростиля, доказывая, что мелодика эта восходит к «Жалобам Цереры» и «Лалле Рук» Жуковского и «Песни Мэри» («Пир во время чумы»), но не стоит отрицать то, что, возможно, мной и снижен прекрасный юр-

ковский бред, но в этом же рост поэзии. Так делал и Пушкин. Когда я писал Весну-уборщицу, мне рисовался большой дом на Тарасовской (улица в Киеве), в котором мыли окна».

26. КП, 1927, 13 февраля. Печ. по БСП, с. 40. В автокомментарии: «Одесса и гроза. С утра с лиманов шли лиловые тучи... Было душно, и вдруг после разрядов повеяло необычайной свежестью расцветающих степей».

* 27. КП, 1926, 6 июня (вариант); ВР. Печ. по МВ, с. 48. *Петкевич* Николай Юлианович (1896—1935) — троюродный брат Ушакова и друг детства; был начальником артиллерии Московского военного округа. В автокомментарии: «Накануне ездили с острогой на щук. Утром сидел в телятнике над разлившейся рекой. Уже припекало. Строфа «У них разбойная башка» написана в Одессе на Пасху 1925 года. В стихотворении было еще две главки. Первая об утопленнике (Анфиса пела: «А горя и в воде не знает»). Вторая главка относилась к забастовке в Англии. Асеев хотел взять щуку в ЛЕФ». *«Голубым пером»* — слова из ст-ния Г. Р. Державина «Евгению. Жизнь Званская».

* 28. МГ, 1926, № 7, с. 49; ВР. Печ. по МВ, с. 50. В автокомментарии: «Стихи эти помнил Маяковский. Я сильно изменил конец стихотворения осенью и зимой 1925 года, а в декабре 1926 года прибавил строфу о пингвинах». *Амундсен* Р. (1872—1928) — норвежский полярный исследователь. Открыл Южный полюс в 1911 г.; в 1925 г. совершил полет на аэроплане к Северному полюсу; в 1926 г. — полет на дирижабле из Европы в Америку через Северный полюс. Погиб при поисках итальянской экспедиции Нобиле во льдах полярного бассейна. После гибели Амундсена Ушаков изменил строку «вернулся Амундсен» на «не вернулся Амундсен».

29. ВР, с. 80. В автокомментарии: «Лунный вечер и зеленые, синие тени от деревьев на ярком снегу... Асеев отобрал эти стихи для ЛЕФ'а. Последнюю строфу цитирует (К. Л.) Зелинский (литературный критик) в статье «Поэзия как смысл» — как образчик локальности».

30. КП, 1927, 13 февраля; БСП. Печ. по Лир, с. 37. В автокомментарии: «Лунный восход в Одессе. Луна чувствуется за горизонтом, но ее еще нет, даль моря сияет «в лучах отсутствующей луны». Мы часто смотрели на восход луны с дачи, где торговали дынями, арбузами и кабачками. Последняя строфа пришла совершенно невольно и бессознательно в лунную майскую ночь на Страстной площади (в Москве). Перед этим встретил у (памятника) Пушкина Эренбурга, выбритого чисто, в черненьком куцем жакетике. После 1919 года странно было видеть Эренбурга таким европейцем».

31. МГ, 1927, № 3, с. 133. Печ. по ВР, с. 87. Ушаков возобновил работу над поэмой в 1944 г. В рукописный сб-к «Вечная весна», хранящийся в его архиве, включена часть 2-я поэмы («Задышит осень Перекопа»).

* 32. КП, 1926, 15 апреля; ВР. Печ. по МВ, с. 52. *В те баснословные года* — строка из ст-ния Ф. И. Тютчева «Я знал ее еще тогда. . .». *На Хитром рынке* — Хитров рынок в Москве (ныне пл. Максима Горького).

33. КрН, 1927, № 2, с. 55. Печ. по МВ, с. 55. *Шелейховский* Георгий Владимирович (1892—1947) — близкий друг Ушакова, по образованию математик, работал в области проектирования городов. В архиве поэта запись: «Мне приписывали многих учителей, в том числе Бунина, стихи которого я оценил уже в очень зрелом возрасте, но от ранней учебы у Тютчева я не отрекаюсь. У Тютчева, впрочем, как и у Фета с его «ласточкой стрельчатой над вечереющим прудом», я получил уроки классической композиции стихотворения, где идут два параллельных ряда: внутренние переживания и их отражение в приметах внешнего мира. Отсюда и композиция «Вина», где в концовке вынесен основной афоризм. На одном из поэтических семинаров, который я вел, кто-то из участников семинара даже не сразу поверил, что заключительный афоризм «Вина» принадлежит мне, а не Тютчеву».

ТРИДЦАТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Ответственным редактором второй книги стихов поэта был Михаил Светлов. На титуле авторского экземпляра Ушаков приписал после загл.: «Оранжевая книга». В его архиве сохранилась запись, поясняющая эти слова: «Сборник «30 стихотворений» первоначально, по аналогии с собраниями дипломатических документов, назывался «Оранжевая книга». Здесь как бы были собраны акты о судьбах людей от леди Макбет и транжирочки до адмирала землечерпалок. Лежащий между желтым и красным оранжевый цвет не понравился работникам издательства, вспомнившим строки Асеева:

Свет мой оранжевый,
    на склоне дня
не замораживай
    хоть ты меня.

Намечавшееся название книги было снято». Другая запись также относится к сб-ку 30 ст.: «Говоря о романтизме, мне хотелось бы обратить внимание на романтику истории, на размах событий, которые я старался нарисовать средствами реализма. Средства же эти подсказывались мне летописцами и хрониками, газетными очерками и военными сводками».

В архиве поэта имеются две записи, относящиеся к циклу «Сказанье старых времен». Опытом «высокой пародии» оказались для меня такие стихи из «Сказанья», как «В двенадцать часов по ночам. . .», «Три ландштурмиста» и вся поэма «1918», где петербургскому бедствию — наводнению из пушкинского «Медного всадника» — соответствовало бедствие киевское — взрыв пороховых складов на Зверинце. Эпиграфом к «Сказанью старых времен» взята

строфа из гейневской «Лорелеи» в переводе Блока, однако последние строки мною изменены. Вместо:

Давно не дает покоя
Мне сказка старых времен —

у меня:

Давно не дает мне покоя
Сказанье старых времен.

Этот вариант больше соответствовал моему замыслу: в стихах «Сказанья» я повествовал о героической были, а не о легенде.

Если говорить о жанре, «Сказанье старых времен» — не поэма, где единый стержень проступает в каждой из ее составных частей, а хроника». В дневнике Ушакова имеется запись о работе над циклом «1918 год»: «Дать день за днем события в Киеве на фоне событий в б(ывшей) России. Приступить к картотеке основных событий по газетам. Затем разработка. Работа в архивах... Но это не метод Вересаева — здесь есть и мой личный дневник». Позже, набрасывая ответ одному своему корреспонденту, работавшему над диссертацией о поэзии Ушакова, он писал: «Картины... события с их деталями я брал из мемуаров и книг военных историков с 1914—18 года... из репортерских заметок и очерков, занимавших целые полосы русских, украинских и немецких газет того времени, из современной кинохроники... Это Вы найдете в библиотеках, газетных, архивных хранилищах и в фильмотеках. И вот источники моих реалистических подробностей. Помнится, описание печальной немецкой елки 1918 года — свечи, затоптанные в паркет из главы «Гремя наступленьем чугунным», взяты мною из рождественского номера берлинской газеты. Уроки пользования этими материалами для меня... у Пушкина. Вспомните предисловие к «Медному всаднику»: „Подробности заимствованы из тогдашних журналов“». В автобиографических заметках периода 1928—1929 гг., когда шла работа над циклом, сам Ушаков определяет его как «лирическую пародию»: «30 стихотворений. Цикл о германском нашествии. Украина 1918 года. Сближение исторических этапов (1812—1918) путем лирического пародирования Гейне, Шекспира, Пушкина и смещения „классической и романтической традиций“».

34. 30 ст., с. 7; ГзГ; Лир. Печ. по МВ, с. 83. *Февраль девятьсот восемнадцатого.* В течение осени 1917 г. и зимы 1918 г. германское командование несколько раз перебрасывало с русско-румынского фронта на запад, а затем обратно свои дивизии, в том числе и ландверные. 19 февраля 1918 г. был подписан так называемый «хлебный мир» контрреволюционной Украинской Центральной Радой, которая обязалась поставить Германии и Австро-Венгрии огромное количество продовольствия и железной руды, однако тут же началась оккупация Украины, причем 1 марта был занят Киев, а к апрелю оккупирована почти вся Правобережная Украина. *Черная в снегах река* — по свидетельству автора, этот образ заимствован им у М. Коцюбинского. *Интендантов гнал* и т. д. В сб-ке «Киев» к этим строкам имеется исторический комментарий автора. *Эйхгорн* Г. (1848—1918) —

германский военачальник; в феврале 1918 г. получил звание генерал-фельдмаршала и был отправлен на Украину, чтобы возглавить там немецкую оккупацию. *Мутную весну.* В сб-ке 30 ст. к этим словам дано прим. автора: «Бывало, выйдешь из домкома — вокруг снежок, а по пути колокола весны знакомой, и в звездах двор не перейти, и в голый куст сиянье пало.

Чего, чего весною нет!

Нет хлеба, и скамеек влюбленным мало.

И томится снег, и дышит кризисом, и вместе с туманом двигается лед.

Евгений мой спешит в предместье, где Настенька его живет». Эти строки позже вошли в ст-ние «Февраль, развесив тучи в небе...» из повести в стихах «1918».

35. ВК, 1929, 7 мая, под загл. «Весна 1918». Печ. по «Киев», с. 22. *Zoo* —зоосад Тиргартен в Берлине.

36. ВК, 1929, 23 мая, др. ред.; 30 ст. Печ. по «Повести», с. 35, где опубликовано как часть 3-я поэмы «1918» (см. о ней прим. 78). Повесть создавалась в течение 1928—1933 гг. и состояла из шести самостоятельных частей («Февраль, развесив тучи в небе...», «И за апрелем май...», «И вот — июнь и гаммы...», «Встречает осень», «С легким паром!», «И стужа повисла ледком по усам...»). *Зверинец* — предместье Киева, где ютилась беднота и находились склады военных припасов. 6 июня 1918 г. около 10 часов утра на складах вспыхнул пожар и они взлетели на воздух. Предполагалось, что причиной пожара явилось самовозгорание. *Преображенский... марш* — марш Преображенского полка. *Нестеров* М. В. (1862—1942) — художник, вместе с В. М. Васнецовым и М. А. Врубелем принимал участие в росписи киевского Владимирского собора. *«По запаху врага».* По признанию Ушакова, заимствовано им у В. Хлебникова.

37—38. 30 ст., с. 16—18, ст-ние 37 начиналось цитатой из ст-ния Г. Гейне «Лорелея» (стихи 1—4) на языке оригинала. Печ. по МВ, с. 84—85. **37.** Кресты над Днепром — б. Царский (ныне Первомайский) сад в Киеве. *Кукушек случайные дачи* — район бывшей Козловской улицы, неподалеку от Аскольдовой могилы. *Повстанцы лопатою быстрой.* Подразумевается повстанческое движение на Украине против немецкой оккупации. **38.** *Донской* Борис — матрос, крестьянин Рязанской губернии. Убийство Эйхгорна совершено им по заданию ЦК партии эсеров. Как сообщали газеты, бросавших бомбу было двое. Одному удалось бежать. *Кримгильда, Зигфрид* — герои «Песни о Нибелунгах», цикла немецких народно-эпических сказаний.

39. 30 ст., с. 20. Материалом для ст-ния, очевидно, послужила судьба повстанцев Таращанского уезда Киевской губернии, отряд которых, образовавшийся в мае 1918 г. в деревне Янишевка, прошел с боями через всю Украину и героически сражался с немцами. В автокомментарии: «„Слово о повстанце Пустовите“ в первоначальной своей публикации было стилизацией украинской «Думы о Нечае». В послевоенные годы я стал перерабатывать «Слово о Пустовите»,

стремясь выйти за пределы стилизации в современность. Я думал завершить «Слово» строками о Щорсе. Но вариант этот не помог реализации замысла и остался лишь в черновиках». *Куркулей полтавских* — сердюков. *В зорях бронзовой дубравы* — район Коровьего озера, неподалеку от Выдубецкого монастыря.

40—41. № 40 — О, 1929, № 4, с. 78, под загл. «Реванш (Из лирической хроники)»; № 41 — МГ, 1928, № 11, с. 145, с подзаг. «9 ноября»; 30 ст., с. 23—28 (1-е без загл.). Печ. по МВ, с. 88—92. **40.** Речь идет о французском городе *Седане* (близ границы с Бельгией), возле которого во время франко-прусской войны 1870 г. были разгромлены войска французской армии. Взятие Седана 6 ноября 1918 г. французскими и американскими войсками рассматривалось во Франции как реванш за былое поражение. *Бродвей* — одна из главных улиц Нью-Йорка, длиной в 25 км. *Иная Германия крепла.* Подразумевается революция в Германии. В неопубликованной статье «Первичный материал поэзии — жизнь» поэт сообщает об источниках ст-ния: «Материал стихотворения — «9 ноября» Келлермана (роман о немецкой революции 1918 г.) — бодрые американские футболисты во Франции и усталые немецкие солдаты, брошюра об инструментах джаза... Сообщение о занятии американцами и французами Седана 6 ноября 1918 г., хроника «Эпизоды франко-прусской войны 1870—1871 гг.» (Париж, 1887) — дурная погода, мокрый и туманный полуостров, куда согнаны капитулировавшие французы в сентябре 1870 г. Рождественский подвал в газете «Роте Фане» («Красное знамя»), печальная немецкая елка 1918 г.». **41.** *В двенадцать часов по ночам* — строка из ст-ния В. А. Жуковского «Ночной смотр» (перевод из И.-Х. фон Цедлица). *Монарх переходит границу.* Вильгельм II (1859—1941) — последний германский император, бежал в Голландию в результате революции 1918 г. *Валькирии* — здесь имеются в виду эшелоны проституток для немецких солдат. *Бисмарк* О. (1815—1898) — немецкий реакционный политический деятель, в 1870—1890 гг. — канцлер Германской империи. *Мольтке* — очевидно, имеется в виду Х. К. Мольтке (1800—1891), один из виднейших деятелей немецкого милитаризма. *Аллея Побед* — улица в Берлине.

*** 42.** 30 ст., с. 31. *Гетман* — Скоропадский П. П. (1873—1945), бывший царский генерал, которого на так называемом «съезде хлеборобов» 29 апреля 1918 г. избрали гетманом Украины. Продержался до декабря 1918 г., когда Украина была освобождена от немецкой оккупации. *Тонкий, выбритый черкес.* Гетман, по казацкому обычаю, гладко брил голову и в торжественных случаях носил светлую черкеску с газырями. *Только каплет с каланчи.* В архиве Ушакова запись: «Деталь у меня обычно имеет свой жизненный адрес. Недавно снесенная (весной 1969 г.) каланча киевского б. Дворцового участка в таком внешне романтическом стихотворении, как «Тридцать гетманцев», — примета совершенно реалистическая». *Жуляны* — пригород Киева; через него в город шли петлюровские части. *Френч варшавского сукна.* Петлюра (см. прим. 78) носил офицерский френч; здесь говорится о распаде и разгроме гетманской армии.

43. НМ, 1931, № 5, с. 78; 30 ст., с добавлением 2-й части (из 29-ти строк). Печ. по МВ, с. 93. *Украйна глухо волновалась* — стро-

ка из поэмы Пушкина «Полтава». *«Яблочко»* — частушка, популярная в годы гражданской войны в армии и флоте.

44. МГ, 1929, № 8, с. 125. Печ. по МВ, с. 92. *В Германию три ландштурмиста* — реминисценция ст-ния Г. Гейне «Два гренадера». *Император* — Вильгельм II (см. прим. 41).

* 45. КрЗ, 1927, 7 ноября, под загл. «Баллада о медном монархе»; 30 ст.; ГзГ, без последнего четверостишия в части 2. Печ. по МВ, с. 56. В архиве Ушакова запись: «В одном из номеров «Нового ЛЕФ'а» на обложке была напечатана фотография: снимают московский памятник Александру III. Эта фотография, принадлежавшая, если не ошибаюсь, Родченко, подсказала мне мою «Балладу о медном монархе». Баллада сделана на тогда владевшем мною историческом материале 1918 года, события которого день за днем излагались в сборнике ИСТПАРТА. Вот почему «Баллада» могла бы быть одной из картин „Сказанья старых времен"». *Налетели фески на Кавказ.* Подразумевается вторжение в 1918 г. турок в Закавказье.

* 46. КрН, 1927, № 7, с. 126. Печ. по МВ, с. 59. В архиве Ушакова запись: «„Московская транжирочка" написана на одном дыхании, за какие-нибудь полтора—два часа. На следующий день, так же очень легко написана «Леди Макбет»... Асеев хотел напечатать «Московскую транжирочку» в «Новом ЛЕФ'е», к этому же склонялся и Маяковский. Но Брик отверг «Транжирочку» как стихотворение совершенно не лефовское... Мы читали с Багрицким у конструктивистов — он «Думу про Опанаса», я «Транжирочку», и нас признали конструктивистами, хотя «Дума про Опанаса» и «Транжирочка» не укладывались в рамки программы, как, впрочем, и стихи Инбер, и стихи Луговского. Да и самого Сельвинского эти рамки стесняли. Появилась даже теория, согласно которой для мэтра школы программа не обязательна. Таким образом, все конструктивисты были мэтрами». *Вороний продотряд.* В незаконченной статье «Тема и материал» поэт писал: «Мастер разбивает свою биографию на тысячу осколков, чтобы собрать их в ином порядке, в иной последовательности. Вороний продотряд из «Московской транжирочки» летал еще в 1916 году над ярославской гимназией, в вечерние смены собираясь грандиозными полчищами на деревьях Казанского бульвара и несясь по синему вечернему, предчувствующему снег небу к Волге». *Остоженка* — улица в Москве (ныне Метростроевская). *Уже в Константинополе былые господа* — имеются в виду белоэмигранты, бежавшие после взятия Крыма Красной Армией на Запад через Константинополь. *Случайными татарами* — старьевщиками, скупщиками старых вещей.

47. КрН, 1928, № 9, с. 128. Печ. по МВ, с. 62. *Леди Макбет* — героиня трагедии Шекспира и прозвище героини повести Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». *«Мышья беготня»* — цитата из ст-ния Пушкина «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы». *Бор идет из-за реки.* В трагедии Шекспира ведьмы предсказывают Макбету безнаказанность до тех пор, пока он воочию не увидит, как движется лес. *Черно-красные снегири* — милиция.

48. КрН, 1928, № 9, с. 126. Печ. по МВ, с. 65. *Как будто в бурях есть покой* — строка из ст-ния Лермонтова «Парус». Далее очевидно, перекличка со ст-нием Державина «Цыганская пляска» («Возьми, египтянка, гитару»). *Египтянка* — в данном случае: цыганка; долгое время считалось, что цыгане — дальние потомки египтян.

49. 30 ст., с. 59, под загл. «Лимитроф».

*50. МГ, 1926, № 6, с. 66, с 8-ю дополн. строками в конце. Печ. по 30 ст., с. 65. *Джимми Хиггинс* — имя героя одноименного романа Э. Синклера. Ст-ние, очевидно, навеяно спектаклем «Джимми Хиггинс», поставленным в театре «Березиль» Л. Курбасом в 1923 г. *Партизаны Архангельск брали.* 26—27 сентября 1919 г. оккупационная армия очистила Архангельск. 19 февраля 1920 г. город оставили белые, и в Архангельске была восстановлена Советская власть. В освобождении Архангельска большую роль играли партизаны.

*51. МГ, 1928, № 9, с. 159; 30 ст.; ГзГ. Печ. по МВ, с. 67.

52. КПр, 1928, 26 августа; 30 ст. Печ. по МВ, с. 69. *«Фрам»* — судно, на котором норвежский исследователь Ф. Нансен в 1893—1896 гг. совершил плавание в высоких широтах Арктики.

53. 30 ст., с. 76. Печ. по МВ, с. 72. *Парфенон* — храм богини Афины в городе Афины (V век до н. э.), считающийся высшим достижением древнегреческой архитектуры. *Музейная Эллада* — собрание копий античных статуй в Музее изобразительных искусств им. Пушкина в Москве.

*54. КрН, 1928, № 9, с. 124; 30 ст. Печ. по МВ, с. 77. В архиве поэта имеется запись об этом ст-нии. *Румяный университет* — здание Киевского университета окрашено в густой красный цвет. *В губернии желтых акаций.* Герой ст-ния кончил Одесско-Новороссийский университет.

55. ВК, 1928, 30 апреля, с 5-ю дополн. строками в конце. Печ. по 30 ст., с. 81. *Подол* — район Киева, нижняя его часть у Днепра. Во время наводнений улицы Подола заливала вода.

56. «Прожектор», 1928, 29 апреля. Печ. по МВ, с. 75. В авторский экземпляр 30 ст. вклеена вырезка из «Известий» с заметкой «Признаки весны», где по данным ленинградского фенологического бюро Центральной опытной станции отмечены первые весенние явления, наблюдающиеся на десять дней раньше нормы (зацветание весенних цветов, прилет грачей, пение синиц и пищух, появление пчел, гренландской мухи и т. п.). *Лесной институт* — в Ленинграде. *Ильинка* — улица в Москве (ныне улица Куйбышева). *Никольская* — улица в Москве (ныне улица 25-го Октября).

57. НМ, 1928, № 10, с. 132. Печ. по 30 ст., с. 87.

58. НМ, 1930, № 1, с. 90; 30 ст., под загл. «Спешить, как мне, не надо счастливой девочке». Печ. по МВ, с. 79.

59. НМ, 1928, № 12, с. 82. Печ. по МВ, с. 81. Эпиграф — цитата из ст-ния Пушкина «Осень».

* 60. 30 ст., с. 97. Печ. по Ед, с. 5. В авторский экземпляр 30 ст. внесены дополнения в текст и поправки.

61. О, 1930, № 10, с. 240. Печ. по МВ, с. 95.

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ

Третья книга стихов поэта вышла под редакцией Эдуарда Багрицкого.

62. «Литстрой», 1933, № 1, с. 70. Печ. по МВ, с. 115.

63. ГЦ, с. 11. Печ. по МВ, с. 100.

64. ПпП, 1924, 10 февраля; «Рост», 1933, № 3-4; ГЦ. Печ. по МВ, с. 106.

65. ГЦ, с. 15; ЕТС, только часть 2, с небольшими разночтениями, под загл. «Дни короче». Печ. по ГЦ, с. 15.

66. О, 1931, № 7, с. 40; ГЦ; ГзГ. Печ. по МВ, с. 113.

67—68. КрН, 1931, № 4, с. 62; ГЦ; Избр. 2, только часть 2, под этим же загл. и с подзаг. «Москва»; ГзГ. Печ. по МВ, с. 96. 2. *«Мы новый мир построим»* — слова из «Интернационала».

69. ГЦ, с. 27. Печ. по МВ, с. 109.

* 70. ГЦ, с. 29. Ст-ние входило под загл. «История села Горюхина (ныне Октябрева). Новейшие времена» в роман в стихах «Он едет по железной дороге» (о романе см. прим. 72). Автограф с датой: 1931. Эпиграф — неточная цитата из «Истории села Горюхина» Пушкина. *Маруси в бриджах голубых.* Подразумеваются атаманши кулацких банд по имени Маруси Никифоровой (Щекотилиной), возглавлявшей одну из банд на Украине в 1918 г. Она была задержана в Киеве в форме офицера царской армии. *С винтом* (жарг.) — с винтовкой.

71. ГЦ, с. 35, под загл. «МТС». Печ. по МВ, с. 102.

72. ГЦ, с. 37. Отрывок из ненапечатанного и, очевидно, незаконченного романа в стихах с тем же названием. В рукописи ст-ние имеет загл. «Второй вариант пролога». Роман датируется 1930—1932 гг., но автор начал над ним работу, очевидно, раньше, так как в архиве имеется несколько вариантов романа под разными названиями и с разным определением жанра (повесть в стихах «Сотворение мира» датируется, например, 1918—1930 гг.). Роман задуман в форме издания рукописей случайно погибшего поэта Ивана Бел-

кина, потомка пушкинского Белкина. Роману, состоящему из отдельных ст-ний, часть которых позднее входила в различные сб-ки поэта, предшествует предисловие самого Ушакова и заявление Ивана Белкина в ВОАПП (Всесоюзное объединение ассоциаций пролетарских писателей), в котором он излагает свою родословную и свои взгляды на происходящее. *Едет сжигать дредноуты* — выражение, которым поэт определял резкую перемену позиций, пересмотр взглядов на происходящее; оно встречается и в его дневниках.

73. НМ, 1931, № 5, с 79; ГЦ, с дополн. строфой 9. Печ. по МВ, с. 107.

74. ГЦ, с. 43. Печ. по МВ, с. 98. *Съезд Советов* — Шестой Всесоюзный съезд Советов, заседавший 8—17 марта 1931 г. в Москве. *Одна шестая.* СССР занимает одну шестую часть суши земного шара.

75. ГЦ, с. 46.

76. КП, 1926, 20 февраля. Печ. по ГЦ, с. 54. *Беженцы* — здесь: люди, которые во время первой мировой войны покинули находящиеся под угрозой занятия или уже занятые неприятелем территории.

77. ГЦ, с. 56.

78. ГЦ, с. 60. *Петлюра* С. В. (1877—1926) — один из главарей украинской контрреволюции, возглавлявший в 1919 г. правительство Центральной Рады. *Печерский... инок* — монах Киево-Печерской лавры. *В пещерок и выходов гущу* — знаменитые пещеры Киево-Печерской лавры. *Евгений* — герой незавершенной поэмы Ушакова «1918», сюжет которой соотнесен с пушкинским «Медным всадником»: испытав потрясение от взрыва на Зверинце, ушаковский герой сходит с ума и попадает в психиатрическую больницу (см. прим. 36). В ст-нии описана картина отступления из Киева белой армии осенью 1919 г.

79. КрН, 1930, № 1, с. 160. Печ. по Лир, с. 59. Первоначально предназначалось для 30 ст. (в раздел «У гробового входа»).

80. ГЦ, с. 65. Печ. по МВ, с. 86, где ст-ние перенесено в цикл «Сказанье старых времен». *Хропушин* — главарь одной из банд на Урале во время гражданской войны.

81. ГЦ, с. 69. *Бьют Петлюру греки.* Греческие части принимали участие в войне на стороне Антанты; Петлюра — см. прим. 78. *Краснов* П. Н. (1869—1947) — генерал царской армии, в 1918 г. поднял мятеж донских казаков против Советской России; Нахичевань была занята им летом 1918 г. *В кумаче Нахичевань.* В январе — феврале 1920 г. после упорных боев остатки белой армии были оттеснены от Ростова-на-Дону.

82. «Красная Башкирия», 1927, 24 июля. Печ. по ГЦ, с. 71.

83. ГЦ, с. 74.

84. КрН, 1928, № 4, с. 117. Печ. по ГЦ, с. 76.

КАЛЕНДАРЬ

Книга открывалась эпиграфом из «Истории села Горюхина» Пушкина «...Я стал рассматривать свои календари». Каждой из четырех частей книги предшествовали эпиграфы из стихов самого Ушакова, взятых из его сб-ков: ВР, 30 ст., ГЦ. Книга задумана и оформлена как календарь, где каждой знаменательной дате посвящено свое ст-ние.

* **85.** ЛГ, 1932, 29 декабря, с первой строкой: «Благословен, кто...». Печ. по МВ, с. 136. Ст-ние в несколько измененном виде входило в роман «Он едет по железной дороге» (см. прим. 72). Автограф с датой: 1918. В архиве поэта имеется несколько рукописных и машинописных копий ст-ния с датами: 1918, 1930.

86. ВМ, 1932, 6 октября; К; Лир. Печ. по МВ, с. 116. В К посвящено Международному юношескому дню (3 сентября). *Александр Сергеевич* — памятник Пушкину работы скульптора А. М. Опекушина, стоявший тогда на Тверском бульваре, по которому ходили трамваи.

* **87.** КП, 1932, 25 сентября; К. Печ. по МВ, с. 121. Написано в связи с 40-летним юбилеем литературной работы М. Горького, широко отмечавшимся общественностью 25 сентября 1932 г.

88. КП, 1925, 7 ноября. Печ. по К, с. 15, где под текстом: 7 ноября.

* **89.** К, с. 17, под текстом: 8 ноября. Входило в несколько измененном виде в роман «Он едет по железной дороге» (см. прим. 72). Автограф с датой 1923—1924 гг.

90—92. МГ, 1933, № 4, с. 44, только № 1 («Трубит пурга»); К, все три части, без загл. (с датами: 1929, 1930, 1932); МВ, только № 3. Печ. по К, с. 21 (№№ 1 и 2) и по МВ, с. 123 (№ 3). **1.** *Налетчики Шкуро* — конные части генерала А. Г. Шкуро (1886—1945), учинявшие жестокие расправы над мирным населением в годы иностранной интервенции и гражданской войны 1918—1920 гг. **3.** *3-й, № 4-й, «В», № 17* — московские трамваи.

* **93.** ВК, 1929, 21 января, др. ред. Печ. по К, с. 30, где под текстом: 21 января, и посвящением «дню смерти В. И. Ленина».

94. «Рост», 1933, № 7-8, с. 6, под загл. «Петербург (9 января 1905 г.)»; К, где посвящено «дню памяти В. И. Ленина» (22 января) и годовщине «кровавого воскресенья». Печ. по МВ, с. 125.

95. КП, 1932, 16 октября; К, где посвящено «дню Красной Армии». (23 февраля). Печ. по МВ, с. 127.

96. К, с. 43. Печ. по МВ, с. 131. *Четвертая большевистская* — весна четвертого года первой пятилетки.

97. ВК, 1929, 20 июля, без строф 14—15; СП. Печ. по К, с. 45, где посвящено «дню работницы» (8 марта).

* **98.** КПр, 1926, 8 марта (начало: «Садовница, седея с каждым днем»); СП; К, где посвящено «дню Парижской коммуны» (18 марта). Печ. по МВ, с. 129.

99. К, с. 51, с указанием: «14 апреля 1930 г. умер В. В. Маяковский». Печ. по МВ, с. 133. В книге «Состязание в поэзии» Ушаков писал: «Я узнал о его смерти в Киеве на вокзале. Прямой поезд Киев — Москва тогда отсутствовал. Два жестких вагона прицеплялись к проходящему одесскому. В ожидании прицепки киевляне толпились на перроне. И здесь сотрудник «Киевского пролетария» сообщил печальную весть. Была ранняя весна. Уже летели журавли. Сейм за Конотопом обмывал стволы плакучих ракит. Кролевецкие торфа синели апрельскими озерцами. Так у меня возникло стихотворение „Траурные трубы журавлей"» (с. 65). О знакомстве Ушакова с Маяковским см.: Н. Ушаков, Седьмое поле. Воспоминания и заметки (Р, 1974, № 7, с. 128—129).

100. «Кузница», 1925, 5 мая. Печ. по К, с. 53, где посвящено «дню Интернационала» (1 мая).

101. НМ, 1927, № 10, с. 65, с дополнит. 9-ю строками в конце. Печ. по К, с. 56, где посвящено «дню Интернационала» (2 мая). Ответ на ст-ние Н. Н. Асеева «Со сталелитейного стали лететь. . .».

* **102—104.** МГ, 1933, № 4, с. 44—45, №№ 1—2 («1921» и «НЭП»). Печ. по К, с. 59. № 1 («Это лето нас всех доконало. . .») входило в роман «Он едет по железной дороге» (см. прим. 72) под загл. «Желание дождя». Каждая из частей цикла датируется по автографу. В К даты: 1921, 1927, 1931. Судя по правке на авторском экземпляре сб-ка К, поэт собирался озаглавить первые две части триптиха: «Лето 1921 г.» и «Лето 1927 г.».

105. «Сов. Экран», 1926, 27 ноября; К. Печ. по МВ, с. 422. В ст-нии, очевидно, имеется в виду фильм «Фермер из Техаса».

106. СП, с. 12. Печ. по К, с. 68, где посвящено «Международному красному дню» (1 августа).

107. К, с. 71, под загл. «Праздник кончается». Печ. по МВ, с. 140.

МИР ДЛЯ НАС

Одним из редакторов этого сб-ка был поэт В. В. Казин. В архиве Ушакова имеется запись, относящаяся к этому изд.: «Тарасенкову, критику, доброжелательно относившемуся ко мне, принадлежит статья о моем творчестве в старой литературной энциклопедии. В этой статье он пишет о спаде поэтической энергии в моей книге стихов «Мир для нас». Не пытаясь защищаться, выдвигаю предположение, что, не заметив у меня возрастающей реалистической тенденции (поэма «Герой»), А. К. Тарасенков сожалеет об исчезновении романтической приподнятости в моих стихах».

108. КрН, 1935, № 11, с. 30, без загл. Печ. по МдН, с. 3.

109. Зв, 1935, № 10, с. 50. Печ. по МдН, с. 7, с исправлением даты «1909» (под загл. ст-ния) согласно авторскому экземпляру сб-ка МдН. Посвящено одному из полетов авиатора Сергея Исаевича *Уточкина* (1876—1916) на самолете «Фарман» над московским ипподромом (таких полетов было шесть: 2, 3, 4, 5, 6 и 9 мая 1910 г.). Чтобы публика шла на ипподром, а не смотрела из-за забора, Уточкин выше забора не поднимался. Продолжительность его полетов была более двух минут.

110. КрН, 1935, № 7, с. 83 (начало: «За окнами вода»). Печ. по МдН, с. 9.

111. КрН, 1935, № 7, с. 85. Печ. по МВ, с. 141.

112. МдН, с. 13, под текстом: «День возвращения челюскинцев. 1934». Печ. по МВ, с. 143. *За льдиной.* В 1933—1934 гг. на пароходе «Челюскин» было совершено плавание по Северному морскому пути от Мурманска до Берингова пролива.

113. МдН, с. 17.

114. КрН, 1935, № 11, с. 27. Печ. по МВ, с. 142. В основу ст-ния положены впечатления от путешествия по Сванетии, которое Ушаков совершил пешком в 1935 г.

115. КрН, 1935, № 11, с. 27. Печ. по МдН, с. 23.

* **116.** «Повести», с. 45; МдН. Печ. по МВ, с. 161. *Довженко* А. П. (1894—1956) — украинский советский режиссер и писатель; речь идет о его фильме «Арсенал» (о январском восстании рабочих киевского завода «Арсенал»). *Охотный ряд* — одна из центральных улиц Москвы (ныне пр. Маркса).

117. О, 1935, № 1, с. 191. Печ. по МВ, с. 146.

118. КрН, 1935, № 7, с. 86. Печ. по МВ, с. 147.

119. КрН, 1934, № 8, с. 98; МдН; ГзГ. Печ. по МВ, с. 149. Посвящено Э. Г. Багрицкому (1895—1934). В неопубликованной статье

«Тема и материал» Ушаков рассказал, как создавалось ст-ние: «Придумывать трудно: приходится ходить по земле и регистрировать свои наблюдения. Тогда строка начинает опираться на факт. Гражданская панихида в московском доме ССП, впечатление от пластинки, наигранной джазом, виды киевского вокзала, Днепр и меловые скалы у Выдубецкого монастыря, картина Бебутовой «Под душем», виденная на выставке, французская характеристика весны, которой еще трудно довериться. Фон: подкладка воздуха еще холодна, товарные эшелоны, встреченные на перегоне Конотоп — Нежин, крестьянские огороды около Шепетовки, золотая осень и колеи над голосеевским прудом (около Киева), железнодорожные щиты, поэтически осознанные на дороге в Луганск, — вот заготовки для будущего стихотворения — «Последний поезд». Гроб выносят из клуба, заломив гиацинты на полу, его перевозят на вокзал, гроб едет в товарном вагоне, и мимо него проносится жизнь: пассажирские, в которых играет музыка, площадка с грузовиками, сеялками, боронами, розовые, как тритоны, спортсменки на отмели, мамонтовые тыквы и красная ботва, холодная подкладка синего воздуха, осенние листья, снижающиеся, как парашют, — все, что любишь и трогаешь, ради чего бьется сердце и от чего трудно уйти. Стихотворение уже не схема, став единственным и неповторимым — оно рождается из общего хаоса неподнятых тем». В архиве Ушакова хранятся также неопубликованные заметки о Багрицком.

120. «Гудок», 1935, 6 сентября. Печ. по МВ, с. 151.

* **121.** МдН, с. 55. Печ. по МВ, с. 153. Автограф — под загл. «Голос». Последняя строка в автографе: «и ты, зная о нем, не поешь». На этом же листке набросок продолжения, которое вместе с другим, близким по теме и интонации ст-нием (под общим загл. «Романсы») включено в рукописный сб-к, составленный поэтом из стихов 1935—1939 гг.

122. КрН, 1935, № 11, с. 26, под загл. «Ссора»; МдН. Печ. по МВ, с. 154. Датируется по автографу, где небольшие, но существенные разночтения (ст. 1: «Не могу на тебя сердиться»; последний: «А у вас — только я одна»).

123. КрН, 1935, № 7, с. 84. Печ. по МВ, с. 156.

124. О, 1934, № 9, с. 114; МдН. Печ. по МВ, с. 158.

125. МдН, с. 69. Печ. по МВ, с. 160.

126. КрН, 1935, № 11, с. 29. Печ. по МдН, с. 70.

127. «Гудок», 1934, 21 сентября; МдН. Печ. по МВ, с. 119.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Эта книга стихов вышла под редакцией В. В. Казина. Она посвящена жене автора Татьяне Николаевне Ушаковой-Белогорской, с которой он совершил почти все свои поездки по стране. К двадца-

типятилетию их свадьбы поэт подарил жене самодельную книжечку «Дороги», где обозначил все маршруты их совместных путешествий, а также этапные вещи своей поэтической работы.

128. «Лит. Донбасс», 1939, № 4, с. 24. Печ. по П, с. 7.

129. Зв, 1940, № 3-4, с. 144. Печ. по П, с. 9. Эпиграф — из ст-ния «Якби тобі довелося...» («Если бы тебе досталось...»).

130. МГ, 1939, № 8, с. 98. Печ. по МВ, с. 186.

* **131.** МГ, 1939, № 8, с. 98. Печ. по МВ, с. 181.

132. «Лит. современник», 1937, № 8, с. 176. Печ. по МВ, с. 187.

133. МГ, 1939, № 8, с. 97. Печ. по П, с. 14. *Цусима* — морское сражение, происшедшее в мае 1905 г.; несмотря на мужество и героизм солдат и офицеров, большая часть русских кораблей была потоплена в бою с японским флотом.

134. О, 1938, № 1, с. 138, без строк 27—30. Печ. по МВ, с. 191. Написано на материале впечатлений от поездки по Северу (Ленинград — Заполярье — Беломорканал — Карелия). *Город в Заполярье* — Хибиногорск, который после гибели С. М. Кирова в 1934 г. был переименован в Кировск. *Камешки... на невысокой льдинке.* Так называемые «ледяные стебельки» образуются в Хибинах после осенних ночных заморозков на берегах озер и ручьев, вырастая под небольшими камнями и поднимая их на 3—4 см вверх.

135. О, 1938, № 1, с. 139. Печ. по МВ, с. 193. Речь идет об электрификации железной дороги Кировск — Кандалакша.

136. «Лит. современник», 1937, № 8, с. 175. Печ. по П, с. 23. *Нас даже в лодках хоронили* — северный обычай захоронения умерших. *Посад мы называли Колой* и т. д. Первое упоминание о Коле относится к 1264 г., когда новгородцы пришли сюда ради рыбного промысла и основали посад. В июне 1918 г. англичане высадили у Колы, в районе Мурманска, десант. *Севастополь.* Речь идет о героической обороне города во время Крымской войны (1853—1855). Оборона длилась свыше 11 месяцев. *Цусима* — см. прим. 133.

* **137.** НМ, 1939, № 4, с. 124. Печ. по МВ, с. 185. На авторском экземпляре П дописана еще одна строфа.

138. «Лит. современник», 1937, № 8, с. 176. Печ. по МВ, с. 190.

139. Зв, 1940, № 3-4, с. 143, под загл. «Первый Петр». Печ. по МВ, с. 177. *Весь город* — очевидно, Петрозаводск, начало которому положил Петровский казенный завод в Олонецкой губернии, основанный Петром I в 1704 г. для выплавки чугуна и отливки пушек. *Орел на медной пушке* — двуглавый орел, герб Российской империи.

140. КрН, 1937, № 1, с. 27, под загл. «1837—1855 (Стихи о Пушкине)». Печ. по МВ, с. 178. 1837 — год гибели Пушкина, 1855 — год окончания Крымской кампании и смерти Николая I. *Другой невольник чести* — М. Ю. Лермонтов, высланный на Кавказ за ст-ние «На смерть поэта». *Южные пылают горы, и мачты из воды торчат.* Подразумевается оборона Севастополя (см. прим. 136). Чтобы не допустить прохода англо-французских судов в Севастопольскую бухту, русские корабли были затоплены.

141. «30 дней», 1938, № 9, с. 54. Печ. по МВ, с. 179. *Над потрясенной мостовою* — измененная строка из поэмы Пушкина «Медный всадник».

142. «Лит. современник», 1937, № 8, с. 177. Печ. по авторскому экземпляру П, где исправлена строка 14. Там же записано Ушаковым: «Ленинград, на рассвете. Канал Грибоедова. После моего вечера на ул. Воинова, 18 (Клуб писателей)». *Медный царь* — памятник Петру I в Петербурге работы скульптора М.-Э. Фальконе.

143. «Индустрия Социализма», 1939, № 8, с. 5, под загл. «Всегда в строю». Печ. по П, с. 33.

* **144.** Зв, 1940, № 3-4, с. 143. Печ. по МВ, с. 170. *Шота Руставели* (конец XII — начало XIII в.) — грузинский поэт, автор «Витязя в тигровой шкуре». *Колокола, и Кельн, и черепица* и т. д. В первых двух строфах ст-ния речь идет о международном положении того времени. *К Киеву несутся тучи-хмары.* Намек на татаро-монгольское нашествие в 1223 г. *Польша начеку.* В 1241, 1260 и 1281 гг. Краков был захвачен и разорен татарами. До этого времени город поддерживал оживленные отношения с Германией. *Тамара* (1184—1213) — царица Грузии, время правления которой было эпохой расцвета феодальной Грузии. Ее полководцы вели победоносные войны с персами и турками и значительно расширили границы государства.

145. НМ, 1938, № 6, с. 180. Печ. по МВ, с. 197.

146. КрН, 1939, № 10-11, с. 79; П, с добавлением нескольких глав и вариантами; ЕТС. Печ. по МВ, с. 204. В 1936 г. в Сванетии состоялось примирение сванских враждующих родов. *Соседом ли за перевалом.* Балкарец не смел показываться в Сванетии, а сван в Балкарии.

147. НМ, 1939, № 4, с. 124. Печ. по МВ, с. 199.

* **148.** П, с. 60. *Бронзовые на бульваре пушки* — описание древнего вала в Чернигове над Десной. *Земфира* — героиня поэмы Пушкина «Цыгане»; здесь: цыганка.

149. «Огонек», 1939, № 9, с. 8. Печ. по МВ, с. 184. На авторском экземпляре П пометка Ушакова: «Осень. Ирпень. Вверху на тропинке. Утром нашли на веранде сбившихся в груду ласточек. Они старались отогреться, но две-три погибли».

150—151. П, с. 63.

152—155. О, 1939, № 1, с. 166. Печ. по П, с. 66—70 (№№ 1—3), и по МВ, с. 211 (№ 4). **4.** *С далекой льдины.* Имеется в виду первая советская дрейфующая станция «Северный полюс-1», работавшая в 1937—1938 гг. под руководством И. Д. Папанина. Дрейф продолжался 274 дня.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Эта книга вышла под редакцией П. Г. Антокольского. В архиве поэта хранится корректура СС, датированная 1946 г. и значительно отличающаяся от вышедшего год спустя сб-ка. В наст. изд. почти полностью восстановлен первоначальный состав СС в соответствии с проектом неосуществленного четырехтомного собрания сочинений.

156. «30 дней», № 7, с. 48, под загл. «Накануне», с дополн. последней строкой: «Европа существует — все на месте». Печ. по МВ, с. 212.

* **157.** НМ, 1946, № 1-2, с. 81. Печ. по МВ, с. 218.

158—159. КрН, 1935, № 7, с. 85 (№ 1, «Что горестней марта. . .»); Зн, 1945, № 7, с. 53 (№ 2, «Во сне я видел снег кисельный. . .»). **2.** *Вдоль укреплений Мажино.* Система французских укреплений на границах с Бельгией, Люксембургом и Германией, построена в 1929—1934 гг. и названа по имени военного министра Франции А. Мажино (1877—1932). Во время второй мировой войны немцы обошли линию Мажино с севера через Бельгию.

* **160.** ВиЗ, с. 19. Печ. по МВ, с. 215. В одном из рукописных сб-ков Ушакова есть первоначальный вариант ст-ния, датированный 18 февраля 1936 г. Ст-ние входило в «Морской цикл», состоящий из трех интонационно связанных ст-ний.

161. СС, с. 14. Печ. по МВ, с. 220. Речь идет о майских событиях 1940 г. во Франции, когда через *Дюнкерк* шла лихорадочная эвакуация английских войск, потерпевших поражение от немцев в боях за Сев. Францию.

162. «Сов. Украина», 1960, № 11, с. 81. Печ. по МВ, с. 221. В рукописном сб-ке имело загл. «Бегство (Франция. 1940)», в корректуре СС — с подзаг. «Апокриф». Написано в Ташкенте. Автографы — с разночтениями.

163. СС, с. 19. Печ. по МВ, с. 216. *Дафнис* и *Хлоя* — герои так называемого пастушеского романа древнегреческого писателя Лонга (II—III в.) «Дафнис и Хлоя».

164. НП, с. 41. *Польская княжна в гареме* — отзвук поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан». *Нереида* — в данном случае — герои-

ня легенды, прекрасная Арзы-Хыз, которая была похищена пиратами, попала в гарем к султану, покончила с собой, бросившись в Босфор; превратившись в русалку-нереиду, она ежегодно в день своего похищения приплывает к берегам Мисхора.

165. ВиЗ, с. 18. Печ. по МВ, с. 222. Написано под впечатлением от высадки немецких парашютистов на о. Крите в мае 1941 г.

166. Зн, 1945, № 7, с. 54, под загл. «Крестовые походы». Печ. по МВ, с. 225. *Фридрих* I Барбаросса (1123—1190) — германский император.

167. СС, с. 10. Печ. по МВ, с. 223.

168. Лет, с. 35, без загл. Печ. по МВ, с. 227.

169. ПрД, с. 10, под загл. «Уходящим на фронт»; СС. Печ. по МВ, с. 228. *Золотые древние ворота* — остатки древних ворот, архитектурный памятник Киева XI в.

170. «Фрунзовец» (Ташкент), 1943, 27 марта. Печ. по МВ, с. 231.

171. Зн, 1945, № 7, с. 54. Печ. по СС, с. 20. *Госпром* — здание Госпроекта в Харькове.

172. СС, с. 21, без последней части. Печ. по МВ, с. 232.

173. «Коммунист» (Саратов), 1941, 29 октября; ПрД, с добавлением строфы; СС. Печ. по МВ, с. 234.

174. Лет, с. 31. Печ. по МВ, с. 242.

175. ЛГ, 1947, 21 июня; СС, как часть 3 поэмы «Земля стойких» (вариант). Печ. по МВ, с. 29.

176. СС, с. 41.

177. СС, с. 43. Печ. по МВ, с. 235.

178. Лет, с. 20. Печ. по МВ, с. 236. *«Иже еси на небеси»* — начало православной молитвы «Отче наш».

179. НП, с. 22.

180. ПрД, с. 34. Печ. по СС, с. 47.

* **181.** Зн, 1945, № 7, с. 55. Печ. по МВ, с. 360. В корректуре сб-ка СС — под загл. «Юнкерсы».

182. Зн, 1945, № 7, с. 55, под загл. «Шестая армия». Печ по СС, с. 48. *Паулюс* Ф. (1890—1957) — немецкий генерал-фельдмаршал; 31 января 1943 г. с частью своей армии сдался в плен под Сталин-

градом. *Он фельдмаршал — уже три дня.* Паулюс получил это звание в то время, когда его армия попала в безвыходное положение. *Если кто позабыл Полтаву* и т. д. Имеется в виду сражение под Полтавой 27 июля 1709 г., в котором русские войска под предводительством Петра I разгромили шведскую армию.

183. СС, с. 49. Печ. по МВ, с. 238. В архиве Ушакова запись: «В годы недавней войны привлекла мое внимание сводка английского командования о том, что в Киренаике — в Африке — зима, и разбитые итальянские части скитаются по заснеженным пескам. Неожиданный контраст (Африка — зима) и внезапно вставшая перед глазами картина: одинокий военный шофер у мертвой машины — побудили меня написать «Песню „Киренаика"».

184. Зн, 1945, № 7, с. 56. Печ. по Лир, с. 269. *Станция головная* — так во время войны называлась передовая станция, занятая советскими частями. *Полоса отчужденья* — земля, отведенная под железную или автодорогу со всеми сооружениями и зданиями, шириной не менее 40 м.

* **185.** «Фрунзовец» (Ташкент), 1943, 19 февраля; СС, с дополн. строфой между строф 2 и 3. Печ. по МВ, с. 244.

186. ВиЗ, с. 10. Печ. по СС, с. 60.

187. Зн, 1945, № 7, с. 57. Печ. по СС, с. 64. Эпиграф — из ст-ния Ф. И. Тютчева «Последняя любовь».

188. Зн, 1945, № 7, с. 57, под загл. «День победы. Сорок пятый год». Печ. по «И новый день, и век иной», с. 105.

189. СС, с. 65.

190. НМ, 1946, № 1-2, с. 81, под загл. «Еще весна». Печ. по МВ, с. 267. *Над сказками Кота Мурлыки.* Книга русского зоолога и писателя Н. П. Вагнера (1829—1907) «Сказки Кота Мурлыки» (1872) была очень популярна в течение нескольких десятилетий и выдержала множество изданий.

191. СС, с. 70. Печ. по МВ, с. 250. *Мой отец* — Николай Яковлевич Ушаков (ум. 1929), участник русско-японской и первой мировой войн, артиллерийский офицер. *С ленточкой оранжевой и черной.* Орден «Георгиевский крест» носился на оранжевой и черной ленте.

192. Р, 1972, № 3, с. 57, под загл. «Лейли и Меджнун (Подражание)». Печ. по МВ, с. 175. В корректуре СС — под загл. «Канатоходцы» (в цикле «Лейли и Меджнун»). *Лейли* — см. прим. 212.

193. «Памир», 1970, № 4, с. 38. Печ. по МВ, с. 174. *Урда* — старый район в Ташкенте, прилегающий к одноименной речке.

194. НМ, 1946, № 1-2, с. 82; «Я рифмы. . .». Печ. по МВ, с. 420. По-видимому, посвящено памяти известной украинской певицы О. А. Петрусенко (1900—1940).

195. НМ, 1946, № 1-2, с. 82.

196. «Мос. комсомолец», 1970, 12 июня. Печ. по МВ, с. 396. В корректуре сб. СС — под загл. «Поэзия».

197. НМ, 1946, № 1-2, с. 81, под загл. «Смотрите, что за синева (Фауст)». Печ. по СС, с. 75.

198—199. НМ, 1946, № 1-2, с. 82. Печ. по СС, с. 76, 77. Латинский эпиграф — из оды Горация, начинающейся этими словами.

НОВЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

В сб-ке МВ Ушаков объединил книги П и НП в общий раздел. Наст. раздел следует структуре рукописного четырехтомного собр. соч. поэта.

200. «Сов. литература», 1934, № 5-6, с. 33; НП. Печ. по МВ, с. 336.

201. «Сталинское племя», 1948, 14 февраля; НП, без строк 22—34; Ед. Печ. по МВ, с. 265.

202. «Огонек», 1947, № 21, с. 18. Печ. по НП, с. 33.

203. НП, с. 39, под загл. «Бот „Муромец" идет на помощь к папанинцам». Печ. по МВ, с. 195. 21 мая 1937 г. советские полярники И. Д. Папанин, Э. Т. Кренкель, П. П. Ширшов и Е. К. Федоров были высажены самолетом на дрейфующую льдину около Северного полюса. Станция была снята ледоколами 19 февраля 1938 г.

204—205. «Огонек», 1947, № 21, с. 18. Печ. по НП, с. 43, 44.

206—*209. «Смена», 1941, № 6, с. 10 (№ 1 без строфы 3). Печ. по НП, с. 54—57, № 1 — по МВ, с. 196. 3. *Только башни.* В Сванетии, где долго сохранялся родовой быт, люди жили в замках с башнями. *Тамара* — см. прим. 144.

210—211. НП, с. 61, 67.

212. «Огонек», 1947, № 37, с. 24; НП; Лир. Печ. по МВ, с. 172. *Меджнун* — герой арабской легенды о Лейли и Меджнуне; не получив руки *Лейли*, юноша Меджнун впал в безумие и убежал в пустыню, где стал проводить дни и ночи в стенаньях и горьких слезах; трагическая любовь Лейли и Меджнуна воспета многими поэтами Востока.

213. «Огонек», 1947, № 37, с. 24. Печ. по МВ, с. 202.

214. «Огонек», 1947, № 37, с. 24. Печ. по НП, с. 72. *Летчики гатчинской школы.* Единственная до революции летная школа в России находилась в Гатчине (под Петроградом).

215. Зн, 1945, № 7, с. 56, с подзаг. «Ташкент»; «Мы будем жить», под загл. «Ташкент». Печ. по МВ, с. 203. *Алмазар* — улица в Ташкенте, где жил во время войны Ушаков. *Ровно полночь — заводы гудят.* В дневниках Ушакова военного времени имеется запись: «1 января 1943 г. Встречали Новый год вдвоем... и так как у нас не было часов с боем, то желание я задумывал, пока пели двенадцатичасовые гудки».

216. «Огонек», 1947, № 37, с. 28. Печ. по НП, с. 76. В НП, с. 94, поэт так прокомментировал ст-ние: «Об этой крупнейшей в Узбекистане стройке «Правда» писала 2.XI.46 г.: «Основным сооружением Фархадстроя является плотина. Ее бетон слился с вековым диким камнем легендарной скалы, носящей имя героя узбекского народа Фархада. На этом месте огромные щиты остановят течение древней реки и поднимут ее уровень на несколько метров... Деривационный канал — второе послушное русло Сырдарьи — пересечет Ширин-Сайскую долину». *Досталась дурному царю* — иранскому царю Хосрову II Парвизу (ум. 628 г.) из династии Сасанидов.

217. Зн, 1945, № 7, с. 100. Печ. по НП, с. 83. Ст-ние, по признанию автора, навеяно картиной художника В. Уфимцева «Солнечный Узбекистан», где изображены узбекские всадники, идущие в метель в атаку на немцев.

СВЕЖИЙ ВЕЧЕР

В книгу вошли стихи, написанные в период с 1950 по 1955 г.

*218. Зв, 1955, № 8, с. 55; ГзГ. Печ. по МВ, с. 279. В 1952 г. Ушаков совершил поездку по Волге и Волго-Донскому каналу, был в Волгограде, Ростове-на-Дону, Керчи. Впечатления от этих поездок легли в основу многих стихов сб-ка СВ.

219. «Огонек», 1955, № 4, с. 27. Печ. по МВ, с. 258. *Амурские волны* — популярный вальс, сочиненный в 900-е гг. капельмейстером Восточно-Сибирского полка М. А. Кюссом (1877—1942).

220. Зн, 1955, № 8, с. 57. Печ. по МВ, с. 255.

221. ДН, 1955, № 6, с. 4. Печ. по МВ, с. 260. Эпиграф — неточная цитата из книги Арсеньева «По Уссурийской тайге». *Арсеньев* В. К. (1872—1930) — этнограф, предпринял ряд экспедиций с целью изучения Дальнего Востока, автор широко известных книг «По Уссурийскому краю», «Дерсу Узала», «В горах Сихотэ-Алиня». В ст-нии описан один из эпизодов экспедиции Арсеньева осенью 1906 г. *Волна Дуная* — вальс Иоганна Штрауса «На волнах прекрасного голубого Дуная».

222. ДН, 1955, № 6, с. 3; СВ. Печ. по МВ, с. 263. *Беспощадный* П. Г. (псевдоним Иванова, 1895—1968) — советский поэт, основной темой его творчества был старый и новый Донбасс, жизнь и труд шахтеров. *Комаров* П. С. (1911—1949) — поэт, писал об освоении дальневосточной тайги.

223. «Сов. Украина», 1955, № 8, с. 70. Печ. по МВ, с. 256.

224. СВ, с. 23. Печ. по МВ, с. 272. *Ринулись к Волге потоки.* В 1952 г. был открыт Волго-Донской канал имени В. И. Ленина.

225. «Сталинское племя», 1955, 19 марта. Печ. по СВ, с. 25.

226. Зв, 1955, № 8, с. 56. Печ. по МВ, с. 270. *Рыбинское* и *Московское* — искусственные водохранилища.

227. НМ, 1953, № 3, с. 77. Печ. по МВ, с. 273.

228. Зв, 1954, № 12, с. 3. Печ. по МВ, с. 274.

229. Зв, 1954, № 12, с. 4. Печ. по МВ, с. 276.

230. «Огонек», 1955, № 4, с. 27. Печ. по МВ, с. 278. Керчь расположена у подножия *горы Митридат*, названной по имени царя Понта и Боспора Митридата (111—63 до н. э.).

* **231.** «Огонек», 1950, № 22, с. 26, с др. началом; СВ. Печ. по МВ, с. 253.

232. ВПН, с. 123. Печ. по МВ, с. 207. *Медресе... Кыз-биби* — высшее духовное училище при мечети Кыз-биби в Самарканде. *Лейли* — см. прим. 212. *Варахша* — городище в 40 км от Бухары, где велись археологические раскопки.

ВЕСНОДВОРЕЦ

233. Зв, 1960, № 3, с. 52. Печ. по МВ, с. 288. В архиве поэта имеется запись, относящаяся к этому ст-нию и книге в целом.

234. Зв, 1960, № 3, с. 51. Печ. по МВ, с. 17. Ст-ние открывало часть 1 романа Ушакова ВГА. *Англо-бурская* (1899—1902) и *русско-японская* (1904—1905) войны — первые войны эпохи империализма. *Теплый Спас* (или Третий Спас) — православный праздник 16 августа по ст. стилю. *Цирк Чинизелли.* В Петербурге и Варшаве работали стационарные цирки итальянской семьи Чинизелли, просуществовавшие до начала революции.

235. Зв, 1960, № 3, с. 51, под загл. «Империализм». Печ. по МВ, с. 293.

236. Зв, 1952, № 2, с. 109. Печ. по МВ. с. 292. Ст-нием открывается часть 2 романа ВГА. В архиве Ушакова запись: «Стихотво-

рению «Тысяча девятьсот пятнадцатый» предшествовало другое — «Последний бал». Неплохие, но необязательные для русского прапорщика и 1-й империалистической войны подробности («шагают битюги», «от пара Сенная площадь чуть видна», «стекло зимы на мостовой» и т. д.) нарушали целостность образной системы, и в окончательном варианте автор ими пожертвовал». *Под Луцком* — одно из решающих сражений первой мировой войны в районе Луцка в июне 1916 г.

237. «Сов. Украина», 1957, № 3, с. 6. Печ. по МВ, с. 294. *Хамза Хаким-заде Ниязи* (1889—1929) — основоположник узбекской советской литературы, поэт, драматург, общественный деятель. В своем выступлении по радио в декабре 1959 г. Ушаков говорил о посещении им селения *Шахимардан*, «где на скале в мавзолее покоится прах Хамзы, павшего от руки изуверов и басмачей» (архив Ушакова).

238. «Наш современник», 1960, № 1, с. 137. Печ. по МВ, с. 298.

239. «Сев. рабочий» (Ярославль), 1960, 1 января. Печ. по МВ, с. 300.

240. Ю, 1961, № 4, с. 15. Печ. по МВ, с. 302. В архиве поэта запись: «В июле этого ⟨1955⟩ года великолепный теплоход, совершающий рейсы между Красноярском и устьем Енисея, привез меня в Таймырскую тундру. Житель юга не сможет себе представить, как ярки и крупны цветы в тундре, как трогательна точная, но миниатюрная копия нашей березы, здешняя карликовая березка, так сказать, в тени высокого густо-синего колокольчика... В стихотворении «На далекой параллели» говорится и о речном теплоходе, пробирающемся Северным морским путем от европейских наших берегов в Сибирь — на Лену. В прошлое лето теплоход не успел проскочить к месту назначения, провел зиму в Игарке и ныне продолжает плавание».

241. «Литература и жизнь», 1961, 8 октября. Печ. по МВ, с. 304.

242. «Литература и жизнь», 1958, 17 декабря. Печ. по МВ, с. 309.

243. «День поэзии», М., 1962, с. 146, в цикле «Родимые пятна» (вместе со ст-ниями «Гололед» и «Жадность»). Печ. по МВ, с. 310.

244. О, 1959, № 12, с. 109. Печ. по МВ, с. 314. Написано после поездки в Литву.

245. ЛГ, 1961, 7 октября. Печ. по Веснодв., с. 62.

246. ДН, 1961, № 9, с. 172. Печ. по МВ, с. 315. В авторский экземпляр сб-ка Веснодв. вклеена вырезка из газеты «Правда» от 2 мая 1961 г. со ст-нием Ярослава Смелякова «Разговор о поэзии», откуда и взят эпиграф.

247—248. Веснодв., с. 66, только № 2. Печ. по МВ, с. 316.

249. «Литература и жизнь», 1959, 20 февраля. Печ. по МВ, с. 317.

250. ЛГ, 1962, 5 апреля. Печ. по Веснодв., с. 71.

251. Веснодв., с. 73. Печ. по МВ, с. 307.

252—253. ЛГ, 1961, 13 апреля («Космонавт-1»), и ДН, 1961, № 9, с. 75 («Космонавт-2»). Печ. по Веснодв., с. 76. **1.** *Космонавт-1* — Ю. А. Гагарин. **2.** *Космонавт-2* — Г. А. Титов.

254. Зв, 1962, № 5, с. 112. Печ. по Веснодв., с. 78. В автографе с посвящением Каминской Нине Яковлевне (1908—1974), киевской актрисе, близкому другу Ушаковых. *Cogito ergo sum* — латинский афоризм: «Я мыслю, следовательно, существую».

255—256. Веснодв., с. 80, 81. Печ. по МВ, с. 328, 329. *«Еще весну переживешь!»* — цитата из ст-ния А. А. Фета «Весна на дворе».

257. «Нева», 1959, № 4, с. 134. Печ. по МВ, с. 319.

258. МГ, 1961, № 10, с. 28, под загл. «Павлу Григорьевичу Тычине». Печ. по Веснодв., с. 87. *Тычина* — см. прим. на с. 701.

259. Веснодв., с. 89. Печ. по МВ, с. 321. *«Суровый Дант не презирал сонета»* — строка из ст-ния Пушкина «Сонет». *Рыльский* — см. прим. на с. 701. *Китаев* — Китаевский монастырь на окраине Киева.

260. Веснодв., с. 91. *Терещенко* Микола Иванович (1898—1966) — украинский поэт и переводчик, близкий друг Ушакова. *Политехнический, Шулявка, Демиевка и «Арсенал»* — названия районов Киева. *Цень Цань* — герой одноименной поэмы Терещенко, рабочий-арсеналец.

261. Веснодв., с. 93. *Уйгун* — псевдоним узбекского советского поэта и драматурга Рахматуллы Атакузиева, в доме которого в Ташкенте Ушаков жил в годы Великой Отечественной войны.

262. МГ, 1961, № 1, с. 31. Печ. по МВ, с. 326. *Костров* Тарас — псевдоним критика и публициста А. С. Мартыновского (1901—1930), был редактором киевской ПрП, затем главным редактором КП. *Уткин* И. П. (1903—1944) — советский поэт. *Багрицкий* Э. Г. (1895—1934) — советский поэт. *Черкасский Малый* — переулок в Москве. *Никольская* — улица в Москве (ныне ул. 25-го октября). *Светловская «Гренада»* — ст-ние М. А. Светлова (см. прим. 283). *Дементьевская «Мать»* — поэма Н. И. Дементьева (1907—1935) «Мать».

263. Веснодв., с. 98. Ст-нием открывается роман Ушакова ВГА. *Нашей ранней ирпенской весне.* Ушаков начинал работу над романом в Ирпенском доме творчества под Киевом. *Маша* — героиня романа.

264. Веснодв., с. 105. *«Яблочко»* — танец; речь идет о балете Р. Глиэра «Красный мак», шедшем в 40—50-х гг. в Большом театре.

265. ДН, 1959, № 5, с. 4. Печ. по Веснодв., с. 107. *Чехи-учителя* — педагоги 1-й Киевской гимназии, где учился Ушаков: бывший пражский архитектор, ставший учителем гимнастики, А. Ф. *Коваржик* и А. И. *Поспишиль*, преподаватель латинского языка.

266. О, 1959, № 12, с. 108. Печ. по МВ, с. 322. *Сэнгээ* Дашзэвэгийн (1916—1959) — монгольский поэт и переводчик.

267. МГ, 1958, № 12, с. 61. Печ. по МВ, с. 324.

268. МГ, 1958, № 12, с. 62. Печ. по Веснодв., с. 118.

269. МГ, 1962, № 5, с. 22. Печ. по МВ, с. 330.

270. ДН, 1959, № 5, с. 3. Печ. по Веснодв., с. 127. Запись в архиве Ушакова свидетельствует о том, что в ст-нии отразились реальные впечатления поэта во время посещения им ташкентской чайханы. *Ярославская моя соломка.* Ушаков был уроженцем Ярославской губернии. *Ружейный залп в Париже* — взятие Бастилии в марте 1871 г.

ТЕОДОЛИТ

271. ЛГ, 1964, 21 апреля. Печ. по МВ, с. 331. *Седан* — см. прим. 40. *Цусима* — см. прим. 133. *Ленский впереди расстрел* — кровавая расправа царского правительства над рабочими золотых приисков в Бодайбо (район реки Лены) 4 апреля 1912 г. *Над Волгой городок старинный* — Симбирск, где 22 апреля 1870 г. родился В. И. Ленин.

272. Зв, № 4, с. 181. Печ. по МВ, с. 5. *Цусима* — см. прим. 133.

273. Зв, 1967, № 4, с. 181. Печ. по МВ, с. 333. *Русский гений из дому бежит.* 27 октября 1910 г. Л. Н. Толстой ушел из Ясной Поляны; в дороге он заболел и умер 7 (20) ноября на станции Астапово (ныне «Лев Толстой»).

* **274.** Зв, 1967, № 4, с. 181. Печ. по МВ, с. 335. В одном из рукописных сб-ков Ушакова помещен первоначальный вариант ст-ния с подзаг. «1899». Там же пометка автора: «14—16 января 1944 года. Ташкент. Мокрые церкви Рязани, которые проезжал осенью 1943 г.» На авторском экземпляре Т отмечены, как лучшие, строки 3—4 с пометкой «очищение от красивости». Поэт видел в ст-нии продолжение темы «Тройки» Некрасова и «Железной дороги» Блока.

275. Р, 1966, № 11, с. 3. Печ. по МВ, с. 337.

276. Зв, 1967, № 4, с. 182. Печ. по МВ, с. 339.

277. О, 1966, № 1, с. 106. Печ. по МВ, с. 16. *Аэлита* — героиня романа А. Н. Толстого «Аэлита».

278. М, 1966, № 7, с. 148. Печ. по МВ, с. 341.

279. ЕТС, с. 369. Печ. по МВ, с. 343. В автографе пометка Ушакова: «Мне кажется, что стихи эти на том пределе, когда мысль и образ освобождены от привычки».

280. Зв, 1966, № 1, с. 7, под загл. «Искусство поэзии». Печ. по МВ, с. 345.

281. «Лит. Россия», 1965, 26 ноября. Печ. по МВ, с. 347. Эпиграф — из «Дневников» французского писателя Ж. *Ренара* (1864—1910).

282. Т, с. 27. Печ. по МВ, с. 349. *Грачи... и не саврасовские.* Имеется в виду картина А. К. Саврасова (1830—1897) «Грачи прилетели».

283. ЛГ, 1964, 5 декабря. Печ. по МВ, с. 350. *Светлов* Михаил Аркадьевич (1903—1964) — советский поэт.

284. М, 1966, № 4, с. 35. Печ. по МВ, с. 351.

285. Зв, 1966, № 1, с. 8, под загл. «Деревья ночью». Печ. по МВ, с. 352.

286. «Наука и жизнь», 1964, № 7, с. 21. Печ. по МВ, с. 353. Запись на полях сб-ка Т, относящаяся к № 286 и 287: «Очищение от литературы».

287. М, 1966, № 7, с. 148, под загл. «Похвала краткости». Печ. по МВ, с. 354.

288. Т, с. 36. Печ. по МВ, с. 355. Запись на полях Т: «Желательный вариант эпилога «Вот вы и встретились под ивой после войны» — „Стихи с редифом“». Первый вариант романа был написан 25 декабря 1940 г. и назывался «Коктебель». Отличается от окончательного текста тем, что рассказ ведется от первого лица, а также отсутствием шестой части и некоторыми разночтениями в четвертой и пятой частях. *Фермопилы* — Фермопильское ущелье в Греции; в 480 г. до н. э. героически защищалось тремястами спартанцами, приостановившими вторжение в страну огромной персидской армии.

289. «Літературна газета» (Киев), 1965, 5 сентября. Печ. по МВ, с. 361. В ст-нии описывается Киев после взятия его нашими войсками 6 ноября 1944 г.

290. О, 1966, № 1, с. 103. Печ. по МВ, с. 362. Здесь названы населенные пункты на Украине, через которые происходило сначала отступление, а потом наступление частей Советской Армии.

291. Т, с. 47.

292. М, 1966, № 7, с. 148, без загл. Печ. по МВ, с. 363. См. прим. 293.

293. Т, с. 50. На полях сб-ка Т запись: «Переделывалось множество раз, но в основном 27.I.55». Ст-ние имеет несколько вариантов, первый из которых датирован 1918 г.

294. «День поэзии в Крыму», Симферополь, 1964, с. 96. Печ. по Т, с. 54. На авторском экземпляре Т помечена дата: 25 апреля 1963.

295. Т, с. 56. Печ. по МВ, с. 366. Имеется в виду г. Навои (см. прим. 297), где Ушаков побывал в 1965 г.

296. ЛГ, 1964, 19 декабря. Печ. по МВ, с. 368.

297. О, 1966, № 1, с. 105, под загл. «Городу пять лет». Печ. по МВ, с. 369. *Городу всего пять лет* — имеется в виду новый город Навои, выросший на берегу Амударьи. Ушаков побывал там в 1965 г.

298. «Труд», 1965, 28 августа. Печ. по МВ, с. 370.

299. Т, с. 62. Печ. по МВ, с. 371.

300. Т, с. 64.

301. ЛГ, 1965, 10 июля. Печ. по МВ, с. 373.

302. «Труд», 1965, 28 августа. Печ. по Т, с. 67. В автографе подзаг.: «26 июня 1965 года».

303. ЛГ, 1963, 21 декабря. Печ. по Т, с. 70.

304—305. Т, с. 71, 73. Печ. по МВ, с. 374, 375.

306. Р, 1966, № 4, с. 23. Печ. по Т, с. 77. *Беатриче* — дочь флорентийского купца, умершая молодой, которую Данте любил и воспевал всю свою жизнь.

307. «Правда», 1968, 3 января. Печ. по МВ, с. 378.

308. Р, 1966, № 4, с. 23. Печ. по Т, с. 81.

309. Р, 1966, № 1, на обложке. Печ. по МВ, с. 379.

310. Т, с. 83. Печ. по МВ, с. 380.

311. ЛГ, 1965, 10 июля. Печ. по МВ, с. 381.

Я РИФМЫ НЕ БОЮСЬ ГЛАГОЛЬНОЙ

Названием сб-ка послужила строка из поэмы Пушкина «Домик в Коломне». Раздел «Вне книг», сформированный автором, не претендует на строго хронологическую последовательность в расположении ст-ний.

312. ДН, 1967, № 9, с. 3. Печ. по МВ, с. 382. В архиве Ушакова запись: «Гора и сад, губернаторский дом и типично киевский чугунный фонтан из стихотворения «1917» — это Липки и Печерск — конкретные, зримые для автора районы Киева. Я мог бы назвать подругу солдата Галей или другим именем, характерным для Украины, но блоковская Катя («Двенадцать») для меня подчеркивала связь петроградских и киевских событий в начальную пору сотворения нового мира». *Цветочек копорский* — кипрей, иван-чай. *Последний решительный бой* — слова из «Интернационала».

313. ДН, 1967, № 9, с. 4. Печ. по МВ, с. 385.

314. «Я рифмы. . .», с. 10. Печ. по МВ, с. 387. *Печерск* — район Киева, где находится завод *«Арсенал»*. В борьбе за установление Советской власти на Украине завод «Арсенал» сыграл выдающуюся роль (январское восстание 1918 г.). *Келью тронул.* Недалеко от «Арсенала» находится Киево-Печерская лавра.

315. «День поэзии», М., 1968, с. 120. Печ. по МВ, с. 12.

316. Зв, 1968, № 8, с. 56. Печ. по МВ, с. 389. *Т. Н.* — Татьяна Николаевна Ушакова-Белогорская. *«Тройка»* — пьеса П. И. Чайковского «На тройке» (из цикла «Времена года»). *Рихтер* С. Т. — советский пианист.

317. Зв, 1968, № 8, с. 56, под загл. «Бах», с первой строкой: «Его люблю я. . .» Печ. по МВ, с. 391. На авторском экземпляре сб-ка Т пометка Ушакова: «Почти экспромт. На Б⟨ольшой⟩ Житомирской, пока Н. Я. готовила чай». Ст-ние было написано на бумажной салфетке в доме знакомой поэта Н. Я. Каминской во время слушания пластинки с записью музыки Баха.

318. Зв, 1968, № 8, с. 56, под загл. «Еще тройка». Печ. по «Я рифмы. . .», с. 16.

319. Зв, 1968, № 8, с. 57. Печ. по МВ, с. 393. *От Пролеткульта и от ЛЕФ'а в тот мир ушел я с головой.* В архиве Ушакова хранятся наброски статьи о литературных программах и направлениях, где, между прочим, сказано: «Мне были чужды космизм «кузнецов» — эпигонов символизма — и всяческая архаичность «перевальцев», но я любил по-новому увиденные и направленные в новое вещи. . . Я искал современности и живое ее выражение у лефовцев, конструктивистов, поэтов «Октября». . . Мне был близок ЛЕФ, и после его распада я сблизился с конструктивистами. . . Но вообще, где кончался ЛЕФ и начинался конструктивизм, было трудно решить. . . Конечно, в раннюю пору я не иронизировал над программами, но искал в них зерна истины, но истинное оказывалось в практике, оно говорило о живом, выраженном живым, и вопреки программе создавались такие шедевры Сельвинского — как «Лебединое озеро», «Севастополь» и другие стихотворения военных лет. Хотелось бы написать об этом вопреки — о движущих поэзию антишколах. . . Эта перманентная антишкола для меня всегда путь от школьного упражнения к образам жизни, от риторического орнамента — к точности един-

ственно необходимых для темы реалий, от р о м а н т и з м а — как от буйства чувств — к тонкому такту р е а л и з м а».

320. О, 1969, № 3, с. 92. Печ. по «Я рифмы. . .», с. 19. В автографе — под загл. «Казак-казаченко».

321. Зв, 1969, № 11, с. 149, под загл. «Бубен». Печ. по «Я рифмы. . .», с. 22. В архиве Ушакова — набросок статьи, где автор сам анализирует свое ст-ние: «Поэт написал свое «Соло на бубне». Первоначальный хаос пустыни — барханы, саксаул, ящерица — впрочем, имеется адрес: Кызылкумы, 40 км от Бухары, развалины феодального замка, открытый зал, панно — принц на слоне предается забавам охоты. Вот и все для глаза, строящего образ. И вот для уха едва намечается звук:

Бежит песчинка по н е г р о м к о й коже.
Ч у т ь с л ы ш е н ящерицы т о п о т о к.
П о с т у к и в а ю т сучья саксаула —

все как бы в беспорядке, конечных созвучий нет, строфа отсутствует, но есть организующая правильность ямба — метр строг, как удары в бубен, и появляется строфа и с ней конечные созвучия, хотя и приблизительные:

И вдруг взлетает полная *Лун*а.
В пустыне всё и холодно и ясно,
передвиженье лунного *Лу*ча
послушно ритму, но своеобразно.

Звук бубна гипнотизирует. Да, это музыка, не баховская, не бетховенская, но гармония. Беспорядок под умелыми пальцами бубениста стал порядком, и игра теней в лунную ночь способствовала игре воображения:

И ты идешь при голубой ЛУНЕ,
по светло-синим, густо-черным ГРЯДАМ,
и тень твоя с тобою едет РЯДОМ
на медленно шагающем СЛОНЕ.

Так объясняет это стихотворение критик, поэт же написал его неожиданно для самого себя».

322. «Нева», 1968, № 3, с. 73. Печ. по МВ, с. 392. Ст-ние навеяно «Прощальной симфонией» И. Гайдна.

323. Зв, 1970, № 7, с. 159. Печ. по МВ, с. 394.

324. «Я рифмы. . .», с. 28.

325. ДН, 1967, № 9, с. 5, без загл. Печ. по МВ, с. 397.

326. «День поэзии», М., 1968, с. 119. Печ. по МВ, с. 399.

327. Зв, 1968, № 8, с. 57. Печ. по МВ, с. 400.

328—329. «Лит. Россия», 1967, 2 июня, только № 1, и «Я рифмы. . .», с. 36, № 2. Печ. по МВ, с. 402.

330. «Я рифмы. . », с. 40. Печ. по МВ, с. 405.

331. Зв, 1969, № 11, с. 149. Печ. по МВ, с. 406. *«Верую»* — православная молитва.

332—333. «Неман», 1967, № 6, с. 14, под загл. «Порой экзаменов». Печ. по МВ, с. 408. *Эвклид* (III в. до н. э.) — древнегреческий математик. Открытие Н. И. Лобачевским неэвклидовой геометрии, допускающей, в частности, пересечение параллельных линий, расширило остававшиеся неизменными со времен Эвклида представления о геометрии пространства.

334. Р, 1967, № 11, с. 3. Печ. по МВ, с. 412.

335. «Нева», 1969, № 1, с. 105. Печ. по «Я рифмы. . .», с. 51.

336. «Я рифмы. . .», с. 52. Печ. по МВ, с. 414.

337. «Нева», 1969, № 1, с. 104. Печ. по МВ, с. 413.

338. ВК, 1927, 31 июля. Печ. по «Я рифмы. . .», с. 54.

339. «Нева», 1969, № 1, с. 104. Печ. по «Я рифмы. . .», с. 56. *Греческая* — улица в Одессе.

340. «Я рифмы. . .», с. 58. Печ. по МВ, с. 415.

341. «Лит. Донбасс», 1935, № 4, с. 50. Печ. по МВ, с. 416.

* 342. Р, 1969, № 6, с. 85. Печ. по «Я рифмы. . .», с. 62.

343—344. «Я рифмы. . .», с. 65, 66.

345. «Я рифмы. . .», с. 69. В автографе имело загл. «К бюсту Шота Руставели» и авторскую помету «XII. 37. Тбилиси. На юбилейном пленуме — январь 1938. Киев».

346—* 347. «Я рифмы. . .», с. 70. В автографе — под загл. «Миф». Первоначальный вариант относится к осени 1937 г. 2. *Царевна... на своем быке* — дочь финикийского царя Европа (греч. миф.), похищенная Зевсом, обратившимся в быка и увезшим ее на остров Крит.

* 348. «Я рифмы. . .», с. 74. Печ. по МВ, с. 419.

* 349. «Я рифмы. . .», с. 75. под загл. «Алмазар». Печ. по МВ, с. 230. В автографе — с подзаг. «Апрель». *Хаби* Атакузиев — брат поэта Уйгуна (см. прим. 261), молодой врач, погибший во время Великой

Отечественной войны. *Из страны Навои и Бабура* — из Узбекистана. Навои — см. прим. на с. 703. Бабур (1483—1530) — узбекский писатель, государственный деятель, полководец. *Лейли* и *Меджнун* — см. прим. 212.

350. «Известия», 1967, 16 апреля. Печ. по «Я рифмы. . .», с. 77.

351. «Я рифмы. . .», с. 79. Печ. по МВ, с. 421.

352. О, 1969, № 3, с. 91. Печ. по «Я рифмы. . .», с. 82.

353. Р, 1969, № 6, с. 85. Печ. по «Я рифмы. . .», с. 83.

354—355. Ю, 1967, № 7, с. 78, № 354 под загл. «Арфистка». Печ. по «Я рифмы. . .», с. 84, 86.

356. «Я рифмы. . .», с. 94.

357. «Труд», 1967, 1 января, под загл. «Расставание». Печ. по «Я рифмы. . .», с. 95.

358. Альм. «Поэзия», 1968, № 1, с. 11. Печ. по МВ, с. 429.

359. «Робітнича газета», 1968, 31 марта. Печ. по «Я рифмы. . .», с. 98.

360. «День поэзии», Л., 1967, с. 61. Печ. по МВ, с. 427.

361. «Я рифмы. . .», с. 106. Гамзатов *Расул* (р. 1923) — аварский советский поэт. Кулиев *Кайсын* (р. 1917) — балкарский советский поэт.

362. «Мос. комсомолец», 1970, 12 июня. Печ. по МВ, с. 431.

МОИ ГЛАЗА

Эпиграфом к сб-ку «Мои глаза» Ушаков взял свои собственные стихи:

Мои глаза на всё живут,
они всегда,
повсюду с вами,
запечатленное годами
мои глаза вам назовут.

363. «Лит. Россия», 1971, 9 апреля. Печ. по «Мои глаза», с. 19. Ле *Корбюзье* (1887—1965) — французский архитектор.

364—368. №№ 1, 3, 5 — «Нева», 1971, № 1, с. 77—78; №№ 2, 4 — «Мои глаза», с. 24, 27. Печ. по МВ, с. 442—445. Цикл стихов «Сентябрь 1969» связан с небольшим латвийским городком *Сигулда*, где Ушаков жил в августе — сентябре 1969 г. **1.** *Т. Н.* — Татьяна Николаевна Ушакова-Белогорская.

369—373. М, 1971, № 4, с. 134—135. Печ. по «Мои глаза», с. 30 (№ 1), и МВ, с. 446, 426, 447, 448 (№№ 2—5). 5. *Роден* О. (1840—1917) — французский скульптор.

374—375. Р, 1972, № 3, с. 58—59. Печ. по «Мои глаза», с. 42, 46. В автографе № 1 — под загл. «Купец».

376. М, 1972, № 4, с. 106. Печ. по МВ, с. 432.

* 377. М, 1972, № 4, с. 107. Печ. по МВ, с. 435.

* 378. М, 1972, № 4, с. 107. Печ. по «Мои глаза», с. 64. В один из рукописных сб-ков Ушаков включил в виде цикла три наброска ст-ния с датами: 1937 и 1945. Первоначальное загл. цикла — «Крымская тетрадь».

379. М, 1972, № 4, с. 107, под загл. «Ягоды шиповника». Печ. по МВ, с. 438. В архиве поэта — наброски поэмы «Дом», куда должен был войти, как отдельная глава, и «Куст шиповника». Поэма писалась в середине 30-х гг. и была посвящена теме искусства в социалистическом обществе. Герой ее — художник. «Куст шиповника» — название его картины. Описанию ее предшествует монолог художника:

Я своей доли не измерял,
Она перед вами, хотите — измерьте.
Вот мой строительный материал —
Тонкие краски и холст на мольберте.

Природа упряма, скупа, крепка:
Каждое облачко над тобою,
Даже пыльцу на тычинках цветка
Приходится брать, словно Зимний, — с бою,

Зелень пятидесяти родов,
Запахи листьев и бархатку мяты,
Шорохи солнца добыть я готов
В полную собственность пролетариата.

На, мол, гляди, прикасайся, дыши,
Пробуй на зуб и внимательно слушай,
Если и нет у природы души —
Мы в нее вложим хорошую душу.

Выйду и красками мир обойму,
И разольются мои фанфары:
Вот моя доля — «Шиповник в Крыму»,
Вот мое золото — «Буря и фары».

* 380. М, 1972, № 4, с. 108. Печ. по МВ, с. 440.

381. «Сов. Украина», 1960, № 1, с. 80, под загл. «Стихи о Державине». Печ. по «Мои глаза», с. 71. *Зал лицея.* Речь идет об экзамене

в Царскосельском лицее. *Старик Державин нас заметил* и т. д. — цитата из «Евгения Онегина» (гл. 8).

382. «Памир», 1970, № 4, с. 39. Печ. по МВ, с. 320. О ст-нии «Вино» см. прим. 33.

383. «Мои глаза», с. 79. *Тычина* — см. прим. на с. 701.

384. «Памир», 1970, № 4, с. 39. Печ. по «Мои глаза», с. 84.

385. «Лит. Киргизстан», 1971, № 3, с. 85. Печ. по МВ, с. 457. Написано по просьбе редакции журнала «Лит. Киргизстан». Ушаков был в Киргизии в июле 1962 г. Сопровождавший его в этой поездке русский поэт С. А. Фиксин, живший во Фрунзе, писал: «За несколько дорожных дней Николай Николаевич узнал о Киргизии гораздо больше, чем другой за десятки лет спокойного присутствия в этом благодатном крае» (сб. «О Николае Ушакове», Киев, 1977, с. 161).

386. «Лит. Россия», 1971, 9 апреля. Печ. по МВ, с. 460.

ЯКОРЯ ЗЕМЛИ

Сб-к ЯЗ вышел через год после смерти автора и был последней книгой, которую он успел сам подготовить к печати. Стихи, вошедшие в книгу, написаны между 1969 и 1973 гг.

387. О, 1970, № 4, с. 38. Печ. по МВ, с. 468. Вынужденный скрываться от ареста, Ленин в июле — августе 1917 г. переехал на станцию *Разлив* (под Петроградом) к рабочему Н. А. Емельянову и поселился возле озера в шалаше. Другое ст-ние Ушакова о пребывании Ленина в Разливе — «Покосы» — см.: «Факел», 1925, № 7.

388. Зв, 1970, № 7, с. 159. Печ. по МВ, с. 461.

389. «Дон», 1973, № 1, с. 4. Печ. по ЯЗ, с. 11.

390. «Нева», 1972, № 8, с. 63. Печ. по ЯЗ, с. 15. *Я на алтайском раздорожье.* Летом 1938 г. Ушаков вместе с группой украинских писателей совершил пешком и на лошадях путешествие по Алтаю (см.: Евгений Адельгейм, Остаются стихи, М., 1979, с. 18).

391. «Дон», 1973, № 1, с. 4. Печ. по ЯЗ, с. 18.

392. Зв, 1970, № 11, с. 111, под загл. «Цикламен». Печ. по ЯЗ, с. 19.

393. «Нева», 1972, № 8, с. 63. Печ. по ЯЗ, с. 21.

394—395. Зв, 1970, № 11, с. 111. Печ. по ЯЗ, с. 23. Ушаков был в Армении в 1969 г. и в 1972 г., за год до смерти. В архиве поэта имеется запись о впечатлениях, послуживших толчком к созданию ст-ния.

396. НМ, 1972, № 3, с. 104. Печ. по ЯЗ, с. 28.

397. ЛГ, 1974, 12 июля. Печ. по ЯЗ. *Ушаков* Георгий Алексеевич (1901—1963) — полярный исследователь. «Однофамильцы» — цикл, задуманный Ушаковым. Кроме ст-ния «Остров Ушакова», в него должны были войти стихи о Симоне Ушакове (см. прим. 473).

398. М, 1972, № 12, с. 145. Печ. по ЯЗ, с. 32. В архиве Ушакова сохранилась заметка: «Воспоминания.., Арбат. Кривоарбатский, 3, кв. 25, где автору-провинциалу предназначался ночлег на сундуке. Здесь же пузырное стекло в красно-кирпичном брандмауэре. Трамвай № 4, — Мясницкая, Кривоколенный пер... «Красная новь», А. К. Воронский, В. В. Казин, В. И. Казанский — корректор. Я спутал Воронского с Вронским, но лечу на крыльях признанья. Потом «Комсомольская правда», «Молодая гвардия», ЛЕФ. Случайная встреча с Маяковским на Кузнецком, где банк и сберкасса. Спустя сорок лет, но мгновенно выливается стихотворение „Ты в Москве"». *В Кривоарбатском переулке* — там проживали родственники Ушакова, у которых он часто останавливался. *Казин* В. В. (р. 1898) — советский поэт. *Воронский* А. К. (1884—1943) — литературный критик, главный редактор «Красной нови». *«Транжирочка»* — ст-ние Ушакова «Московская транжирочка», напечатанное в КрН. *ЛЕФ* — Левый фронт искусства, литературная группа (1922—1929), во главе которой был Маяковский и в которую входили Н. Н. Асеев, В. В. Каменский, С. М. Третьяков, Б. Л. Пастернак и др. Здесь Ушаков обыгрывает свою близость к идеям ЛЕФ'а и близость расстояния от Кривоарбатского переулка до Лубянского проезда, где помещалась редакция «Нового ЛЕФ'а». См. об этом: Н. Ушаков, Седьмое поле. Воспоминания и заметки (Р, 1974, № 7, с. 128).

399. Зв, 1972, № 1, с. 35. Печ. по ЯЗ, с. 35.

400. ЛГ, 1970, 1 января. Печ. по ЯЗ, с. 37.

401. «Мои глаза», с. 8. Печ. по ЯЗ, с. 40.

402. Ю, 1972, № 2, с. 9. Печ. по ЯЗ, с. 43.

403—404. ЯЗ, с. 43, 44. *В небе яблоко висит.* Существует легенда, согласно которой толчком к открытию И. *Ньютоном* (1643—1727) закона всемирного тяготения послужило яблоко, упавшее с дерева.

405—406. ЯЗ, с. 46, 47. *Глагол времен! металла звон!* и т. д. — цитата из ст-ния Державина «Ода на смерть князя Мещерского».

407. «Комсомольська Іскра» (Одесса), 1973, 2 июня. Печ. по ЯЗ, с. 49. *Дорожные жалобы* — ст-ние Пушкина. *Он висеть бы тоже мог.* Имеется в виду рисунок самого Пушкина, где под изображением виселицы с повешенными декабристами он написал: «И я бы мог». *На Черной речке* — место дуэли Пушкина.

408. ЯЗ, с. 51. *Толстая Маргарита* — название одной из крепостных башен Таллина. *Длинный Герман* — замок XIII—XIV вв. с одно-

именной башней «Длинный Герман». *Томас* — флюгер на башне ратуши XVI в. *Дом палача*. Рядом с кафе «У старого Томаса» находился дом палача.

409—412. «Неделя», 1973, 1 января. Печ. по ЯЗ, с. 55. **1.** *Нет им путей окольных — все в их утиный Рим* — перифраз поговорки: «Все дороги в Рим ведут».

413. «День поэзии», М., 1973, с. 9. Печ. по ЯЗ, с. 59.

414—415. НМ, 1973, № 9, с. 68, и 1972, № 3, с. 104. Печ. по ЯЗ, с. 61 и 62.

416. ЯЗ, с. 70.

417. «Лит. Россия», 1971, 9 апреля. Печ. по ЯЗ, с. 71.

418—421. Ю, 1973, № 2, с. 61. Печ. по ЯЗ, с. 72. В письмах к критику А. А. Урбану Ушаков писал: «Увлекла меня дискуссия о верлибре, и я набросал три своих, хотя и не очень в них уверен» (от 7 апреля 1972 г.). «Поэтическое истолкование верлибра — стихотворение «Верлибры», позже напечатанное в журнале „Юность“» (от 17 июня 1972 г.). «Теория верлибра, как и раньше, в тумане, но практически задача решена и мои решения начинают застывать, превращаясь в привычку. На острове (остров Аэгна) «вышагал» и «наговорил» несколько дольников и ямбов. Верлибр же не «вышагаешь» и не «наговоришь». По крайней мере для меня он требует проверки чуть ли не на чертежной доске. Отсюда и некоторая скованность. С другой стороны, хотелось бы преодолеть и знаменитые ямбические ходы и ритмы дольника — и «тяжелозвонкое скаканье», и „неожиданный аквилон“» (от 28 августа 1972 г.). «Продолжаю заниматься верлибром — как стихом на границе прозы, как возможной новой энергией увядающего стиха» (от 17 октября 1973 г., за месяц до смерти). **2.** *«Сальве»*. В архиве поэта сохранился написанный им в 1920 г. в Одессе верлибр «Salve», который является как бы «прототипом» верлибра «Мои герои». **3.** *Семен Прохорович* Чиж — киевский полотер. *Айседора Дункан* (1878—1927) — американская танцовщица, создательница так называемого свободного танца. *Петипа* М. И. (1822—1910) — балетмейстер и педагог, работал в Мариинском театре в Петербурге сначала танцовщиком, затем балетмейстером. **4.** *Шагреневая кожа*. В одноименном романе Бальзака — символ человеческой жизни, которая неминуемо сокращается с исполнением каждого желания.

422. Зв, 1973, № 12, с. 134. Печ. по ЯЗ, с. 81. В ст-нии использован мотив сказки Ш. Перро «Спящая красавица».

423. ЯЗ, с. 83. *«Волны Дуная»* — вальс И. Штрауса «На волнах прекрасного голубого Дуная». *Тихие сопки* — вальс «На сопках Маньчжурии». *«Сон осенний»* — вальс «Осенний сон».

424. НМ, 1972, № 3, с. 104. Печ. по ЯЗ, с. 86. *Самсонов* А. В. (1859—1914) — генерал, во время первой мировой войны командир 2-й армии, разбитой немцами 30 августа 1914 г. на территории Восточной Пруссии.

425. НМ, 1972, № 3, с. 105. Печ. по ЯЗ, с. 89.

426. ЯЗ, с. 91.

427—428. ЯЗ, с. 93. *На флейте водосточных труб* — строка из юношеского ст-ния Маяковского «А вы могли бы?».

429. О, 1971, № 3, с. 137. Печ. по ЯЗ, с. 100.

Из сборников разных лет

Раздел составлен самим Ушаковым в сб-ке МВ, где он приравнен по своему композиционному значению к разделам, представляющим книги стихов. Расположение ст-ний допускает некоторые отступления от строгой хронологии.

430. «Киев», с. 70. Печ. по МВ, с. 135.

431. «Повести», с. 5. Печ. по МВ, с. 105. Входило в роман «Он едет по железной дороге» (см. прим. 72).

432. «30 дней», 1933, № 6, с. 20, под загл. «Интернационал». Печ. по МВ, с. 112.

433. ЛГ, 1934, 30 апреля. Печ. по МВ, с. 134.

434. «Повести», с. 25; Избр. 1. Печ. по МВ, с. 103. *Времен Самсона*, т. е. легендарных времен (по имени библейского богатыря Самсона).

435. «Киев», с. 41.

436. «Повести», с. 13. Печ. по «Киев», с. 47. *Наводницкий, Железнодорожный* и *Цепной* — мосты Киева, взорванные во время гражданской войны.

437. «Повести», с. 15. Печ. по «Киев», с. 44. Входило в роман «Он едет по железной дороге» (см. прим. 72).

438. «Сов. Украина», 1960, № 11, с. 82. Печ. по МВ, с. 182. Входило в незавершенную поэму «Дом» (см. прим. 379).

* **439.** «Лит. современник», 1937, № 8, с. 173. Печ. по МВ, с. 180.

440. «Правда Украины», 1945, 24 апреля. Печ. по МВ, с. 246. *В Берлине уже мы бывали.* Берлин был взят русскими войсками в 1760 г. во время Семилетней войны.

441. «Мы будем жить», с. 33; Избр. 2; Ед; ГзГ. Печ. по МВ, с. 248.

442. «Сов. Украина», 1960, № 11, с. 80, с подзаг. «XVII век»; Лир. Печ. по МВ, с. 176.

443. Лир, с. 258. Печ. по МВ, с. 239.

444. ГзГ, с. 287. Печ. по МВ, с 213. *Сентябрь 1939 года* — начало второй мировой войны. *К западной сестре единокровной* — в сентябре 1939 г. произошло воссоединение Западной Украины с УССР.

445. ГзГ, с. 316. Печ. по МВ, с. 268. Загл. повторяет название ст-ния Пушкина.

446. Ю, 1972, № 2, с. 9. Печ. по МВ, с. 452. *Эдисона я не обвиняю.* На самом деле телефон был изобретен в 1876 г. американцем Г. Беллом, Эдисон же усовершенствовал этот аппарат.

447. Николай Ушаков, «75». Стихи, М., 1971, с. 170. Печ. по МВ, с. 444.

448. Зв, 1972, № 1, с. 35. Печ. по МВ, с. 450.

ИЗ НЕСОБРАННОГО И НЕИЗДАННОГО

449. ПП, 1923, 21 октября.

450. «Красноармеец», 1924, № 62, с. 26.

451—452. КрА, 1923, 18 ноября и 9 декабря.

453. ПП, 1923, 16 декабря, с подзаг. «Брюсову», снятому или пропущенному в машинописи Собрания сочинений Ушакова.

454. КрА, 1924, 13 января.

455. ПП, 1924, 29 апреля.

456. «Красноармеец», 1926, № 86, с. 5.

457. КрА, 1923, 2 декабря.

458. КрЗ, 1927, 10 июля.

459. Печ. впервые.

460. ВК, 1929, 20 июля.

461. Печ. впервые.

462. «Курортная газета» (Ялта), 1961, 19 августа.

463. ЛГ, 1962, 19 августа.

464. Печ. впервые.

465. Р, 1974, № 4, с. 154.

466—467. Печ. впервые.

468—469. Зв, 1973, № 12, с. 134.

470. Печ. впервые.

471. Р, 1974, № 4, с. 156. *Хунты отвратительные лики.* Отклик на контрреволюционный переворот в Чили в 1973 г., совершенный реакционной хунтой Пиночета, убившей президента республики С. Альенде.

472. «Робітнича газета», 1974, 5 июня. Судя по автографу, где подзаг. «Верлибр V», ст-ние должно было входить в цикл «Верлибры». Запись в архиве поэта: «„Верлибр V" — стихотворение определилось, так сказать, на месте действия. Шторм в Таллинском заливе. Катерок «Моряк». Бортовая, килевая, дикая качка. А старая эстонка спокойно вяжет все 50 минут пути. Слежу за ее пальцами, за ее спицами, за клубком у нее на коленях. Наметилась и форма — медлительная монотонность строки». *Три старухи вяжут.* Подразумеваются парки (римск. миф.) — три богини судьбы; первая свивает, вторая пропускает, третья обрезает нить жизни. В архиве поэта имеется юношеское ст-ние о парках.

473. Р, 1974, № 4, с. 155. Ст-ние должно было входить в цикл «Однофамильцы» (см. прим. 397). *Симон Ушаков* (1626—1686) — русский живописец и гравер, в творчестве которого заметен переход от иконописи к светской реалистической живописи.

474. Р, 1974, № 4, с. 155. *Иуда... повис на ней.* По народной легенде, Иуда повесился на осине.

475—476. Р, 1974, № 4, с. 153, 152, с опечаткой в № 475: Толгалла (надо: Валгалла).

477—478. ЛГ, 1974, 12 июня.

479. Альм. «Поэзия», 1974, № 13, с. 166. *Санчо* — персонаж романа Сервантеса «Дон-Кихот».

ПЕРЕВОДЫ

С УКРАИНСКОГО

Григорий Сковорода

Григорий Саввич Сковорода (1722—1794) — украинский просветитель-гуманист, поэт и философ.

480. «Сов. Украина», 1955, № 3, с. 125. Печ. по «Три книги», с. 117. Перевод ст-ния «Ой ти, птичко жовтобоко. . .».

Тарас Шевченко

481. Т. Шевченко, Стихи и поэмы, М., 1948, с. 23. Печ. по ШЛ, с. 62. Перевод ст-ния «Минають дні, минають ночі. . .».

482. «Кобзарь», с. 297. Печ. по ШЛ, с. 76. Перевод ст-ния «Чого ти ходиш на могилу? . .». Написано в Петербурге, в каземате III Отделения, куда в ожидании приговора по делу тайного общества Кирилло-Мефодиевского братства в марте 1847 г. был заточен Шевченко. *Калину на могиле.* Образ калины на могиле связан в украинском фольклоре со слезами.

483. «Кобзарь», с. 301. Печ. по «Три книги», с. 119. Перевод ст-ния «Садок вишневий коло хати. . .».

484. Т. Шевченко, Избранное, М., 1952, с. 261. Печ. по ШЛ, с. 107. Перевод ст-ния «Самому чудно. А де ж дітись? . .». *В цепях.* В 1847 г. (см. прим. 482) Шевченко был сослан в Орскую крепость (южный Урал), а затем в Новопетровское укрепление.

485. «Кобзарь», с. 384. Печ. по ШЛ, с. 128. Перевод ст-ния «Мов за подушне оступили. . .». В 1848 г. Шевченко был прикомандирован к находившейся в Кос-Арале экспедиции А. И. Бутакова.

486. «Кобзарь», с. 404. Печ. по ШЛ, с. 138. Перевод ст-ния «І небо невмите, і заспані хвилі. . .». *В моей незапертой тюрьме* — см. прим. 485. *Этим морем* — Аральским.

487. «Кобзарь», с. 423. Печ. по ШЛ, с. 161. Перевод ст-ния «У тієї Катерини. . .».

488. ЛГ, 1939, 9 января. Печ. по ШЛ, с. 180. Перевод ст-ния «І знов мені не привезла. . .».

489. «Кобзарь», с. 497. Печ. по ШЛ, с. 222. Перевод ст-ния «Лічу в неволі дні и ночі. . .». Ст-ние Шевченко имеет два варианта; второй (1858 г.) перевел Ушаков.

490. Т. Шевченко, Стихи и поэмы, М., 1948, с. 120. Печ. по ШЛ, с. 251. Перевод ст-ния «Я не нездужаю, нівроку. . .». *Царь Никола* — Николай I (1796—1855).

Иван Франко

Иван Яковлевич Франко (1856—1916) — украинский писатель, ученый, общественный деятель.

491—493. Иван Франко, Соб. соч. в 10-ти тт., т. 7, М., 1958, с. 112, 411, 926. Печ. по «Три книги», с. 138, 133, 134. Перевод ст-ний «Сонети — се раби. . .», «Semper tiro», «Трагедія артистки».

Леся Украинка

Леся Украинка — литературный псевдоним Ларисы Петровны Косач (1871—1913), украинской поэтессы.

494—497. Леся Украинка, Лирика, М., 1963, с. 177, 178, 179, 182. Печ. по «Три книги», с. 144, 145, 147. Перевод ст-ний из цикла «Весна в Египті» («Хамсін», «Дихання пустині», «Афра», «Таємний дар»). Цикл (из 7-и ст-ний) был написан во время первого пребывания Леси Украинки в Египте зимой 1910 г., куда она выезжала по настоянию врачей трижды.

Павло Тычина

Павло Григорьевич Тычина (1891—1967) — украинский советский поэт. Ушакова связывали с ним многолетние дружеские отношения.

498—499. ПСУ-36, с. 141, 142. № 498 печ. по «Три книги», с. 150. Перевод ст-ний: «На майдані», «Кожум'яка». *Кожемяка* — герой русской летописной и фольклорной легенды.

Максим Рыльский

Максим Фадеевич Рыльский (1895—1964) — украинский советский поэт. Ушакова связывали с Рыльским годы совместной работы по подготовке русского издания поэзии Шевченко.

500. ПСУ-41, с. 62. Перевод ст-ния «Як Одиссей, натомлений блуканням. . .». *Одиссей* (греч. миф.) — герой поэмы Гомера «Одиссея», участник осады Трои греками, прославившийся своими подвигами и чудесными странствиями. *Навзикая* (греч. миф.) — дочь царя Алкиноя, оказала помощь потерпевшему кораблекрушение Одиссею.

501. ПСУ-41, с. 66. Перевод ст-ния «Китаїв». *Китаев* — Китаев монастырь (см. прим. 259), в котором бывал Г. Сковорода. *Евстафий Плакида* — христианский святой. *Андрей* — апостол, проповедовавший, по легенде, учение Христа в местах, где возникла Киевская Русь. В его честь в Киеве была построена церковь.

502. ПСУ-41, с. 65. Печ. по Максим Рыльский, Стихотворения и поэмы, «Б-ка поэта», Б. с., Л., 1969, с. 80. Перевод ст-ния «У теплі дні збирання винограду. . .».

Владимир Сосюра

Владимир Николаевич Сосюра (1898—1965) — украинский советский поэт.

503. ПСУ-36, с. 118. Печ. по В. Сосюра, Стихи, М., 1971, с. 52. Перевод ст-ния «Осінь».

504. «Поэты Сов. Украины», Киев, 1939, с. 117. Печ. по «Три книги», с. 162. Перевод ст-ния «О, не даремно! ..».

Михайль Семенко

Михаил Васильевич Семенко (1899—1937) — украинский советский поэт.

505. ПСУ-36, с. 109. В оригинале отразились впечатления от поездки автора в Германию в 1929 г. Было переведено Ушаковым в 1930 г., вместе с двумя другими («Кавказ» и «Война войне») для неосуществленного издания М. Семенко на русском языке (корректура сб-ка — в ЦГАЛИ). Об отношении Ушакова к М. Семенко см.: «Поэзия. 1970. 2», Киев, 1970, с. 79—82.

Микола Бажан

Микола Платонович Бажан — современный украинский советский поэт.

506. ПСУ-36, с. 11. Печ. по «Три книги», с. 169. Перевод ст-ния «Папороть».

507. «Три книги», с. 169. Перевод ст-ния «Хлопчик з Чуфут-Кале».

508. «Звезда» (Днепропетровск), 1936, 9 сентября. Печ. по ПСУ-41, с. 20. Перевод ст-ния «Над труною Важа Пшавела». *Важа Пшавела* (наст. имя: Лука Павлович Разикашвили, 1861—1915) — грузинский писатель. Его прах в 1935 г. был перенесен с Дидубийского кладбища в Тбилиси в пантеон писателей на гору Мтацминда.

Леонид Первомайский

Леонид Соломонович Первомайский (1908—1973) — украинский советский поэт.

509. «Поэты Сов. Украины», Киев, 1946, с. 71. Перевод ст-ния «Земля». *Пепел Клааса* — слова героя романа Шарля де Костера «Легенда об Уленшпигеле», ставшие клятвой возмездия врагу.

510. «Лит. Россия», 1969, 23 мая. Печ. по «Три книги», с. 76. Перевод ст-ния «Душа поезії — не рима...».

511. «Наш современник», 1969, № 12, с. 6. Печ. по «Три книги», с. 180. Перевод ст-ния «Старість».

Евгений Фомин

Евгений Павлович Фомин (1910—1942) — украинский советский поэт.

512—513. «На суше и на море», 1941, № 1, с. 13. Перевод из цикла сонетов «Алтайська дорога»: «Елекмонар», «Караколи». Летом 1938 г. Ушаков и Фомин были участниками путешествия по Алтаю (см. об этом: Е. Адельгейм, Остаются стихи, М., 1979, с. 18—19).

Андрей Малышко

Андрей Самойлович Малышко (1912—1970) — украинский советский поэт.

514. ПСУ-41, с. 40. Печ. по Андрей Малышко, Лирика, М., 1946, с. 7. Перевод ст-ния «Ворон». *Остраница* (Остряница) Я. (ум. 1641) — руководитель крестьянско-казацкого восстания 1638 г. на Украине против польско-шляхетского гнета. *Хмель* — Богдан Хмельницкий (1595—1657). *Полтавская битва* — см. прим. 182.

515. Сб-к «Ветер Украины», Ташкент, 1943, с. 124. Перевод ст-ния «Україно моя». *Микула* — герой былины о Вольге и Микуле Селяниновиче.

С ГРУЗИНСКОГО

Тициан Табидзе

Тициан Юстинович Табидзе (1895—1937) — грузинский советский поэт.

516. «Три книги», с. 109.

С УЗБЕКСКОГО

Алишер Навои

Алишер Навои (1441—1501) — поэт, мыслитель, родоначальник национальной литературы Узбекистана.

517—520. Алишер Навои, Собр. соч. в 10-ти тт., т. 11, Ташкент, с. 136, 146, 152, 175.

Мукими

Мухаммад-Амин-ходжа Мукими (1850 или 1851—1903) — узбекский поэт.

521—524. Мукими, Лирика и сатира, Ташкент, 1943, с. 11, 15, 27. Печ. по Мукими. Фуркат, Избранное, «Б-ка поэта», Б. с., Л., 1972, с. 144, 122, 139, 158. 521. *В горы уходи* — традиционный мотив отречения от мира в поэзии среднеазиатских народов.

С НЕМЕЦКОГО

Генрих Гейне

525—527. «Три книги», с. 102—103. Перевод ст-ний: «Ich weis nicht, was soll es bedeuten...», «Teurer Freund, du bist verliebt...», «Es blasen die blauen Husaren...». *Лорелея* — образ немецкой народной легенды, русалка, заманивавшая корабельщиков и рыбаков своим чарующим пением к опасным скалам на Рейне.

Николаус Ленау

Николаус Ленау — литературный псевдоним немецкого поэта Франца фон Штреленау (1802—1850).

528. «Три книги», с. 104. Перевод ст-ния «Auf dem Teich, dem regungslosen...». Один из самых ранних переводов Ушакова, в архиве которого есть вариант, датированный 1918 г.

С ПОЛЬСКОГО

Адам Мицкевич

529. Адам Мицкевич, Избранное, М., 1946, с. 126. Печ. по «Три книги», с. 106. Перевод ст-ния «Grób Potockiej» из цикла «Крымские сонеты». Имеется прим. самого Мицкевича, которым Ушаков снабдил свой перевод в рукописи и в котором польский поэт говорит о пленнице крымского хана Керим-Гирея, происходившей из рода Потоцких. Считая это предание заслуживающим доверия, Мицкевич также указывает, что «на основании народного предания о бахчисарайской гробнице русский поэт Александр Пушкин написал со свойственным ему талантом поэму „Бахчисарайский фонтан“». В 1825 г. Мицкевич совершил двухмесячную поездку по Крыму, итогом которой были «Крымские сонеты».

СЛОВАРЬ

Августов — город в Польше; в 1914—1915 гг. под ним шли ожесточенные бои.

Ай-Тодор — мыс на Южном берегу Крыма с маяком на 85-метровой скале.

Акрóполь (греч.) — возвышенная и укрепленная часть города.

Алебарда — старинное оружие, топор в виде секиры на длинной рукоятке.

Альпеншток — длинная палка с заостренным железным наконечником, употребляется альпинистами при восхождении на горы.

Аналой — высокий столик с покатым верхом для книг и икон; перед аналоем совершается обряд венчания.

Антонов огонь — народное название гангрены.

Анюй — приток реки Амур.

Арал — Аральское море, а также остров Кос-Арал в этом море.

Арбели — специальные вагоны технического назначения.

Аруз — метр стиха в тюркоязычной классической поэзии, а также в арабской и персидской поэзии.

Аэгна — остров в Балтийском море (Эстония), где Ушаков проводил летние месяцы в последние годы своей жизни.

Аю-Даг — гора на Южном берегу Крыма.

Бакал — город в Челябинской обл., где добывается железная руда.

Бакан — багряная краска.

Банджо — струнный щипковый джазовый инструмент наподобие гитары.

Банка — морская отмель.

Барда — отстой при перегонке самогона, содержащийся в специальной кадке.

Бахмач — железнодорожная станция Черниговской области, во время гражданской войны — место ожесточенных боев.

Бек — феодал-помещик у тюркских народов.

Бек (англ.) — игрок футбольной команды, защитник.

Беляна — сплавное судно.

Березина — река в Смоленской обл., при переправе через Березину в ноябре 1812 г. отступающая армия Наполеона понесла серьезный урон.

Бирзула — железнодорожная станция на линии Одесса — Киев (ныне г. Котовск).

Благовест — звон в один (средний) колокол, извещающий о начале церковной службы.

Блюз — песенно-танцевальная форма негритянской музыки в медленном темпе.

Боши — у французов презрительная кличка немцев.

Брандвахта — судно на рейде для наблюдения за входящими и выходящими кораблями.

Брандмауэр — противопожарная стена.

Будяк — сорная трава чертополох.

Вакации — каникулы.

Валгалла (сканд. миф.) — волшебный дворец, обиталище бога Одина и душ павших героев.

Валькирии (сканд. миф.) — богини-воительницы, дарующие победу в битвах и переносящие души павших героев в Валгаллу (см.).

Вербная неделя — шестая неделя великого поста.

Верлибр (франц.) — свободный стих.

Вертута — рулет с маком.

Веснянки — народные обрядовые весенние песни.

Вестингауз — система тормозов железнодорожных вагонов, названная именем изобретателя.

Вешки — колья для просушки сетей, неводов.

ВИК — волостной исполнительный комитет.

«Виккерс» — марка английского крупнокалиберного пулемета.

Вини — см.: крести.

Винница — винокуренный завод.

Виола (итал.) — старинный смычковый инструмент.

Волочиск — населенный пункт в теперешней Хмельницкой обл., бывшая пограничная станция.

Гать — искусственная насыпь, укрепляющая берег.

Гиндукуш — одна из высочайших горных систем Азии.

Грейдер — дорожная машина.

Гризетки (франц.) — молодые девушки, обычно швеи или хористки, не слишком строгих правил.

Гудрон — дорожное покрытие из отходов нефтепродуктов.

Дансинг (англ.) — зал или площадка для танцев, чаще всего при ресторане или кафе.

Дека — часть корпуса струнных инструментов, делается обычно из резонансной древесины — ели или пихты.

Деррик — подъемный кран, иногда дерриком называют буровую вышку.

Дехкане — крестьяне в Средней Азии.

Джусалы — город в Казахстане.

Диктовый — из фанеры, обработанной особым способом.

Добродий (укр.) — господин; сударь.

Дредноут — крупный бронированный корабль с мощной дальнобойной артиллерией, несущий сторожевую службу.

Дувал — у тюркских народов глиняная стена возле дома.

Духан — сельский кабачок или лавочка с продажей вина на Кавказе.
Дюнкерк — правильнее: Денкерк, французский город на берегу пролива Па-де-Кале.

Елохи — ольшаник.

Жерлица — рыболовная снасть.
Жуляны — пригород Киева; через него в город шли петлюровские части в годы гражданской войны.

ЗАГЭС — гидроэлектростанции в Грузии, которые по плану второй пятилетки должны были соединиться к 1935 г. линиями высоковольтной передачи в единую систему ЗАГЭС.
Зеленые — кулацко-националистические банды Зеленого, действовавшие в некоторых районах Киевщины в годы гражданской войны. Зелеными называли и банды, бесчинствовавшие в те же годы на территории центральной России.
Зеравшан — река в Средней Азии.
Золотое руно — см.: Язон.
Зуавы — французские колониальные войска, сформированные из туземных жителей Сев. Африки и проживавших там же добровольцев-французов.
Зурна — тип свирели, распространенный на Ближнем Востоке.

Икарийские игры — цирковой номер, вид партерной акробатики.
Ингур — река в Сванетии (см.).
Индиго — синяя краска, получаемая из ряда растений или искусственно.
Интеры — тракторы марки «Интернационал».
Ипр — город в Бельгии, где в 1915 г. произошло одно из самых кровопролитных сражений первой мировой войны и где немцы впервые применили химическое оружие.
Ирий (вирий) — в украинском фольклоре теплые края, сказочные земли.
Ирпень — приток Днепра, на берегу его находится одноименный дачный поселок.

Кадуй — железнодорожная станция в Вологодской области.
Камерун — бывшая германская колония в Экваториальной Африке, откуда немцы в феврале 1916 г. были вытеснены англо-французскими войсками.
Канапе (франц.) — диван.
Каноник — член коллегии духовных лиц, состоящих при епископской кафедре в католической и англиканской церкви.
Капельмейстер — дирижер хора и оркестра.
Каплица (укр.) — часовня.
Карабаш — город и железнодорожный узел в Челябинской области.
Караколы — озеро в горах Алтая.
Каракурт — паук, укусы которого смертельно опасны для животных и человека.
Карат — мера веса драгоценных камней и содержания золота в сплавах.
Карбид — легко воспламеняющиеся соединения с углеродом.

Карборунд — кристаллическое вещество очень большой прочности.
Кармин — ярко-красная краска, добываемая из насекомого кошенили.
Кемь — город и река в Карелии.
Кентавр (греч. миф.) — фантастическое существо, получеловек-полулошадь.
Кетмень — заступ.
Киприда (греч. миф.) — одно из имен Афродиты, особенно почитавшейся на острове Кипре.
Клинкер — дорожное покрытие из кирпича высокой прочности.
Клуня — хозяйственная постройка для молотьбы и хранения зерна.
Кнехты — батраки в Германии и Австрии.
Кнур (укр.) — кабан, хряк.
Ковентри — город в Англии, подвергавшийся сильнейшей бомбежке немцев во время второй мировой войны.
Когорта — в Древнем Риме подразделение легиона, насчитывавшее от 360 до 600 воинов.
Козлов — старое название Евпатории (от татарского Гезлеф).
Кола — станция Мурманской железной дороги.
Комбатанты (франц.) — бойцы, их командиры, а также те, кто руководит боевыми операциями.
Конвалярия майалис (лат.) — майский ландыш.
Конка — городская железная дорога на конной тяге, предшественница трамвая.
Контракты — весенние междугородные ярмарки в Киеве, действовавшие в годы нэпа.
Контуш — кунтуш, верхняя мужская одежда на меху с откидными рукавами; польский военный мундир.
Концертино — музыкальный инструмент, имеющий вид шестигранной гармоники.
Кореиз — бывшая татарская деревня на Южном берегу Крыма.
Копанье — яма, вырытая для скопления воды.
Корневая рифма — некоторые виды неточных рифм, в которых совпадают лишь ударный гласный и опорные согласные.
Котильон — старинный французский танец.
Краснотал — лозняк, заросли вербы.
Кременчуг — город Полтавской области, где во время гражданской войны шли бои.
Крести и *вини* — обиходное наименование карточных мастей: трефы и червы.
Крин — полевая лилия.
Криница (укр.) — колодец, родник.
Кровник — у кавказских народов человек, находящийся в отношениях кровной мести с другим человеком, семьей, родом.
Куга — заросли осоки или трубчатого тростника.
Курцшлюс (нем.) — короткое замыкание в электрической сети.

Лабрадор — минерал темно-серого цвета.
Лаванда — кустарник, из цветков которого добывается душистое масло.
Ландвер — первоначально вид народного ополчения в Германии, потом военнообязанные, остающиеся после службы в резерве армии.
Ландо — четырехместная карета с раскрывающимся верхом.
Ландштурм — запас военнообязанных третьей очереди в Германии.

Ласточкино гнездо — живописная скала на Южном берегу Крыма, увенчанная строением замкового типа.

Латали — селение в Сванетии (см.).

Левада — часть усадьбы с сенокосом, огородом, плодовыми деревьями.

Левантийцы — левантинцы, уроженцы стран восточного Средиземноморья, жители смешанного происхождения преимущественно портовых городов.

Левиафан — морское чудовище, упоминаемое в Библии.

Левретка — порода мелких комнатных собак.

Лекпом — помощник лекаря.

Лёсс — горная порода желтого цвета.

Лимитроф — общее наименование буржуазных государств Литвы, Латвии, Польши и Финляндии, образованных империалистическими державами Антанты и США после Октябрьской революции с целью создания антисоветского «санитарного кордона».

Лихтер — грузовое судно баржевого типа.

Луцк — город на Волыни (УССР).

Лыбедь — приток Днепра, протекает через Киев.

Ляоян — город в северо-восточной части Китая, в районе которого в августе 1904 г. произошло одно из крупнейших сражений русско-японской войны.

Магнето — компактная динамо-машина или генератор электрического тока.

Мажара — большая длинная телега, рассчитанная на пару быков или лошадей.

Мамисонский перевал — перевал в центральной части Главного Кавказского хребта на Военно-Осетинской дороге.

Марна — река на севере Франции, место ожесточенных боев во время первой мировой войны.

Мартын — чайка.

Матчиш — танец.

Местия — центр Сванетии (см.).

Мéшки — старое название кусков, обрезков звериных шкур. В тексте намек на Зверинец, бывший местом охоты киевских князей.

Мешхед — город в Иране.

Миасс — железнодорожный узел в Челябинской области.

Миро — благовонная смола.

Митенки — женские перчатки без пальцев.

Млин — водяная мельница.

Морена — скопление обломков горных пород, перемещаемых ледниками и оседаемых при их таянии.

Моряна — ветер с моря.

Мукден — город в северо-восточной части Китая, в районе которого в феврале 1905 г. произошло последнее сухопутное сражение русско-японской войны.

Мурсия — испанская провинция, в 1937—1938 гг. была республиканской.

Мыс Желанья — северо-восточная оконечность Новой земли.

Наваха — испанский длинный складной нож, использующийся в качестве оружия.

Нарпит — система общественных столовых.
Нахичевань-на-Дону — прежде отдельный город, а теперь часть Ростова-на-Дону.
Нашастует — натолчет, просеет.
Наяды (греч. миф.) — нимфы вод: рек, ручьев и т. д.
Нереиды (греч. миф.) — пятьдесят дочерей морского божества Нерея, помогающие морякам в опасном положении.
Нетопырь — летучая мышь.
Никита — мыс на Южном берегу Крыма, в районе которого расположен Никитский ботанический сад.
Нобель — крупнейшая в дореволюционной России нефтефирма «Товарищество бр. Нобель».
Норд-ост (нем.) — северо-восточный ветер.
Ночное — ночной выгон лошадей на пастбище в жаркую пору лета.
«Ньюпор» — марка самолета, который использовался в первую мировую войну.

Оболонь — предместье Киева, теперь район города.
Олевск — поселок в Житомирской области УССР.
Олеонафт — смазочное масло, получаемое из нефти.
Опара — тесто, заправленное дрожжами или закваской, а также сама закваска.
Орион — созвездие, хорошо видимое осенью и зимой.
Осот — сорняк.
Ост (нем.) — восточный ветер.
Офеня — коробейник, странствующий торговец.
Ошеек — складки жира на шее у животного.

Падь — глубокий овраг.
«Пантера» — марка немецкого танка.
Пендинка — пендинская язва, передающаяся укусом москитов; была распространена в Средней Азии.
Пехлеви — среднеперсидский язык Ирана эпохи династии Сасанидов (III—VII вв.).
Пилав — плов.
Пилигрим — странник.
Пироксилин — взрывчатое вещество.
Плахта (укр.) — род юбки, сшитой из двух кусков клетчатой ткани; здесь: клетчатое покрывало.
Погост — сельское кладбище возле церкви.
Подушный — подушная подать, налог на крепостных крестьян.
Познань — город в западной Польше, захваченный Германией в первую мировую войну и воссоединенный с образовавшимся в 1918 г. Польским государством.
Пончо — плащ в виде четырехугольного куска ткани с вырезом для головы у индейцев Центральной и Южной Америки.
Потсдам — город неподалеку от Берлина, где находился императорский дворец.
Пролеткульт — пролетарская литературно-художественная и культурно-просветительская организация (1917—1932).
Променад (франц.) — прогулка.
Просфора — хлебец в виде небольшой толстой лепешки, употребляемый для совершения различных христианских обрядов.

Псковá — река в Псковской области, на берегах Псковы и Великой расположен город Псков.
Пуалю (франц.) — молодец, храбрец; так в первую мировую войну называли солдат-фронтовиков.
Пфенниг — мелкая германская монета.
Пшава — народность Грузии.

Рава Русская — город на Львовщине, место боев во время первой мировой войны.
Ракитино — село в Киевской области.
Рантье (франц.) — лицо, живущее на доходы с капитала.
Ранчо — хутор, усадьба; на Западе США — скотоводческая ферма.
Редиф — в восточной классической поэзии повторяемое слово в конце стихотворной строки, перед которым стоит рифма.
Римские свечи — разновидность фейерверка; здесь: электрические разряды.
Риони — река в Грузии.
Ровчак — канава.
Рядно — грубый деревенский, домотканый холст.

«С» — марка паровоза, выпускавшаяся Сормовским паровозостроительным заводом.
Саксаул — дерево пустынь с корявым стволом без листьев.
Салоп (франц.) — верхняя женская одежда.
Сарбазы (тюркск.) — солдаты.
Сарны — город в Ровенской области УССР.
Сарпинка — полосатая или клетчатая бумажная ткань.
Сван — житель Сванетии (см.).
Сванетия — историческая область в северо-западной Грузии.
Светр — свитер.
Секретка — закрытое, сложенное особым образом письмо без конверта.
Сен-Кантен — французский город, место жестоких боев на западном фронте во время первой мировой войны.
Сердюки — казаки наемных пехотных полков в Левобережной Украине, восстановленных в 1918 г. во время власти гетмана; в годы гражданской войны отличались исключительной жестокостью.
Сим-река — река на Урале в Челябинской обл. и Башкирской АССР.
Сирены (греч. миф.) — полудевы-полуптицы, завлекающие моряков своим чарующим пением и губящие их.
Сквицы Ошанской округи — очевидно, село Малосковицы Ленинградской области.
Скрыня (укр.) — сундук.
Сомма — река на севере Франции, места ожесточенных боев во время первой мировой войны.
Сочельник — канун Рождества.
Стожар — шест, втыкаемый в землю посреди стога.
Стожары — группа звезд в созвездии Тельца, а также созвездия Большой и Малой Медведиц вместе с Полярной звездой, являющейся как бы «стожаром» (см.), вокруг которого вращаются остальные звезды.

Таксомотор — такси.
Татарский пролив — между материковой Азией и островом Сахалин.
Теодолит — угломерный инструмент.
Терриконы — отработанная порода, сваленная в груды конической формы.
Тетнульд — гора в Сванетии (см.).
«Тигр» — марка немецкого танка.
Тони — сети, невода.
Трот (англ.) — быстрая походка; здесь: название танца.
Тустеп (англ.) — двойной шаг; здесь: название танца.
Тырса (укр.) — ковыль.

УЗУ — Украинское земельное управление.
Улусы — селения кочевников.
Ультрамарин — синяя (минеральная или искусственная) краска.
Ундервуд — марка пишущих машинок.
Ундина — сказочный образ женщины, обитающей в воде и увлекающей путешественников своим чарующим пением в подводную глубь.
Униатка — последовательница церковной унии 1596 г., установившей на территории тогдашней Польши объединение католической и православной церквей.
Унтергрунден (нем.) — подземная железная дорога, метро.

Фастов — железнодорожная станция Киевской области, место боев во время гражданской войны.
Фендрик — вольноопределяющийся.
«Фиат» — марка автомобиля.
Фирн — крупнозернистый слежавшийся снег; постепенно уплотняясь, превращается в лед.
Флексатон — ударный музыкальный инструмент, состоящий из гибкой пластинки и двух шариков на гибких ножках.
Фольварк (польск.) — небольшая усадьба, хутор.
Форвард (англ.) — нападающий игрок в футбольной команде.
«Фордзон» — марка трактора, выпускавшегося заводом «Красный путиловец»; к 1930 г. тракторы «Фордзон-Путиловец» считались уже устаревшими.
Фуляр (франц.) — шейный платок из особо тонкой ткани.

Хавбек (англ.) — игрок футбольной команды, полузащитник.
Хаиши — торговое село на шоссе, ведущем в Мингрелию; от Сванетии (см.) его отделяет одинокая сторожевая башня.
Халхин-Гол — река в Монголии, в районе которой советско-монгольские войска в 1939 г. разгромили японскую армию.
Хамадан — город в Иране.
Ханум (тюркск.) — дама, госпожа.
Хауз (узбекск.) — водоем с питьевой водой.
Хванчкара — марка грузинского вина.
Хиавата — то же, что тустеп (см.).
Хинган Большой и Малый — горные хребты в Китае.
Ходжа — духовное лицо у мусульман; учитель, почтительное обращение к образованному человеку.

Хорунжий — первый офицерский чин в дореволюционных казачьих войсках.

Цитра — струнный щипковый музыкальный инструмент.
Цусима — группа островов в Корейском заливе (между Японией и Кореей); о Цусимском сражении см. прим. 133.
ЦЧО — Центральная Черноземная область.

Чаргали — грузинское селение, родина поэта Важа Пшавела.
Чебак — карп или лещ.
Черкез — вид кустарника в Средней Азии.
Чикчиры (чакчиры) — вид обуви, род коротких сапожек.
Чинар, чинара — восточный платан.
ЧОН — отряды особого назначения.
Чоп — город в Закарпатской области у границы с Венгрией и Чехословакией.
Чугуев — город и железнодорожная станция вблизи Харькова.

Шамиль — чеченский танец.
Шимоза (япон.) — взрывчатое вещество, которым начинялись гранаты; здесь: снаряды.
Шняка — на Севере морские парусные лодки с веслами.
Шпрее — река, на берегах которой расположен Берлин.
Штандарт — полковое знамя.
Шуцман (нем.) — полицейский в Германии.

«Щ» — марка паровоза, выпускавшегося по проекту Н. Л. Щукина (1848—1924).

Экстемпорале — письменные упражнения в старой гимназии, перевод русского текста на латинский или греческий языки.
Эликманар — река на Алтае.
Эльзас — историческая провинция на востоке Франции. После франко-прусской войны 1870 г. была присоединена к Германии. Возвращена Франции по Версальскому мирному договору 1919 г.
Эмир — титул военачальника и правителя в странах мусульманского Востока.
Эмпирей (греч. миф.) — самая удаленная от земли небесная сфера, где обитают боги.

Юзовка — старое название города Донецка.
«Юпитер» — электрическая дуговая лампа, применяемая при киносъемке.

Язон (греч. миф.) — предводитель аргонавтов, совершивших путешествие на корабле Арго в далекую Колхиду за Золотым руном — волшебной шкурой барана.
Яйла — безлесное горное плато на Южном берегу Крыма.
Ясиноватая — город на Донетчине, крупный железнодорожный узел.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис*. С фотографии 60-х гг.

2—3. *Между с. 144 и 145*. Ушаков-гимназист с отцом Николаем Яковлевичем. С фотографии 1914 г.
На обороте: С фотографии 1934 г.

4—5. *Между с. 176 и 177*. С фотографии 30-х гг.
На обороте: С фотографии 1959 г.

6. *С. 313*. Автограф ст-ния «Романс».
7—8. *Между с. 336 и 337*. С фотографии начала 60-х гг.
На обороте: Обложки девяти книг Ушакова.

9—10. *Между с. 368 и 369*. Ушаков с женой Татьяной Николаевной и каракалпакским поэтом И. Юсуповым. С фотографии 1965 г.
На обороте: Ушаков в Ялте с писателями К. Г. Паустовским (в центре) и И. Д. Василенко (справа). С фотографии 1965 г.

11—12. *С. 528—529*. Ранние редакции ст-ния «Сумасшедший запах медуницы. . .». Машинопись с авторской правкой.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ [1]

---

[1] В алфавитный указатель не включены переводы Н. Ушакова (с. 581—620).

СОДЕРЖАНИЕ[1]

---

[1] Звездочкой отмечены стихотворения, впервые публикуемые в настоящем издании.

III

ФРУКТОВАЯ ВЕСНА ПРЕДМЕСТИЙ

РАЗРЯДЫ

ФРАГМЕНТЫ

ВИНО

ТРИДЦАТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

I

Сказанье старых времен

II

У гробового входа

Молодая жизнь

III

И «равнодушная» природа

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ

ОПЯТЬ НА РОДИНЕ

СЧЕТ

КАЛЕНДАРЬ

I

II

III

IV

МИР ДЛЯ НАС

I

II

III

IV

V

VI

ПУТЕШЕСТВИЯ

ВЕЛИКАЯ РАВНИНА

ВЫХОД К МОРЮ

ДОРОГА В ГОРАХ

ПЕТУНИИ — ЦВЕТЫ КОММУНОТДЕЛОВ

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

I

II

III

НОВЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

ВЕЛИКАЯ РАВНИНА

ВЫХОД К МОРЮ

КНИГА ПЕСКОВ

СВЕЖИЙ ВЕЧЕР

ВЕСНОДВОРЕЦ

ТЕОДОЛИТ

I. РУСЬ КЕРОСИННАЯ

II. И НОВЫЙ ДЕНЬ, И ВЕК ИНОЙ

III. ИСКУССТВО ПОЭЗИИ

IV. ЦВЕТА ЛИРИКИ

V. ВОЕННЫЙ ЦИКЛ

VI. БОЛЬШОЙ ВАЛЬС

VII. ГОРОДУ ПЯТЬ ЛЕТ

VIII. ВСЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

IX. ВСЕ НАДЕЖДЫ

Я РИФМЫ НЕ БОЮСЬ ГЛАГОЛЬНОЙ

БАЛЛАДЫ С ИНТЕРМЕДИЯМИ

11

12

ВНЕ КНИГ

МОИ ГЛАЗА

КАНИКУЛЫ

ИЗ СБОРНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТ

ПЕРЕВОДЫ

С УКРАИНСКОГО

Григорий Сковорода

Тарас Шевченко

Иван Франко

Леся Украинка

Павло Тычина

Максим Рыльский

Владимир Сосюра

Михайль Семенко

Микола Бажан

Леонид Первомайский

Евгений Фомин

Андрей Малышко

С ГРУЗИНСКОГО

Тициан Табидзе

С УЗБЕКСКОГО

Алишер Навои

Мукими

С НЕМЕЦКОГО

Генрих Гейне

Николаус Ленау

С ПОЛЬСКОГО

Адам Мицкевич

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
62	3 св.	1970 году	1969 году
361	1 сн.	Freulein	Fräulein
568	15 св.	Мы	мы

Ушаков
Николай Николаевич

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1980, 752 стр. План выпуска 1980 г. № 442
Редактор *В. С. Киселев*
Художник *И. С. Серов*
Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*
Техн. редактор *М. А. Ульянова*
Корректор *Е. А. Омельяненко*

ИБ № 2272

Сдано в набор 7.02.80. Подписано к печати 5.05.80. М 35658. Бумага тип. № 1. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 40,01. Уч.-изд. л. 36,47. Тираж 40 000 экз. Заказ № 1375. Цена 3 р. 50 к.
Изд-во «Советский писатель», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28.
Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3